ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

10 1997

ОКТЯБРЬ 10 1997

ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

10

1997

ОКТЯБРЬ

Общественный совет: **Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.**

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анатолий АНАНЬЕВ.
Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Книга вторая. Историческое повествование .. **3**

Алексей ПУРИН.
Золоченое выцвело слово... Стихи **69**

Максим ГУРЕЕВ.
Калугадва. Повесть **73**

Татьяна РИЗДВЕНКО.
Четыре стихотворения **105**

Дневник писателя

Олег ПАВЛОВ.
Из нелитературной коллекции **107**

Искусство перевода

Исаак Башевис ЗИНГЕР.
Два рассказа. Вступление и перевод с английского Л. Володарской **114**

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Валерий ПИСИГИН.
Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург **125**

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Борис ХАЗАНОВ.
Апология нечитабельности. Заметки о романе и романах 159

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ.
Хождение по жанрам 171

Алексей ВЕРНИКОВ.
Тихий дон. Почему Карлос Кастанеда не лауреат Нобелевской премии в области литературы 177

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Готовь сани летом, а телегу каждый день 184

Валерий ШАЛАБИН.
Как художник Игорь Орлов самурайским клинком бандитскую машину порубал 186

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ.
Писатель и его собака 188

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ 191

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать
по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,
по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.
Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —
по факсу: (095) 238-46-34,
по телефону: (095) 238-49-67,
по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ**.

И. Н. БАРМЕТОВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (зав. отделом прозы),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (зав. отделом критики),

И. А. БРЯНСКАЯ (публицистика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина**.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 28.08.97. Подписано к печати 22.09.97. Формат 70x108 1/16.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 9600 экз. Заказ № 2219. Цена 15 500 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 1792 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместитель гл. редактора — 214-63-64, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-63-64, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.
E-Mail oktybr@orc.ru

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
© «Октябрь». 1997. Электронная версия журнала в: Русский клуб http: // russia. agama. com.
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Анатолий АНАНЬЕВ

Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России

КНИГА ВТОРАЯ

Историческое повествование

I

В середине шестого столетия от Рождества Христова, то есть спустя всего лишь полвека после смерти Аттилы и распада Гуннии, на земли восточных славян обрушивается новое тяжкое испытание, вошедшее в историю как аварское нашествие и последовавшее за ним почти трехвековое аварское иго. Чтобы глубже уяснить причину этой пережитой нашими пращурами трагедии, следует хотя бы вкратце напомнить, в каком состоянии находилась тогда Русь (да, тут нет оговорки, ибо Восточная Готия, созданная пришлыми готскими князьями на базе славянских племен — антов, венедов — и уничтоженная затем гуннами, с полным правом могла именоваться Русью, как это и вытекает из приведенных мною в первой книге исторических источников), были ли у восточных славян силы и возможности противостоять толпам азиатских варваров, и правомерно ли теперь, спустя полтора тысячелетия, упрекать предков за безволие и покорство, что не сплотились перед грозной опасностью и не дали сколько-нибудь значительного сражения обидчикам жизни, которое, войдя в историю, могло бы совсем с иной стороны высветить ратное достоинство славян. Но такого сражения не было; не было потому, что некому и не с кем было выступить против нахлынувших полчищ, тогда как если бы оно все-таки состоялось, то авары (еще вчера турки-огары, которых могущественный правитель Алтая хан Дизавул изгнал из родных мест и которые, в испуге добежав до Волги и слившись с кочевавшими там аварскими племенами, назвались их «гордым и грозным» именем) — авары, то есть турки-огары, побитые Дизавулом и не оправившиеся еще от пережитого потрясения, вряд ли (если верить тогдашним арабским толкователям истории) смогли бы одолеть восточных славян и волной насилия разлиться по их землям, а скорее всего потерпели бы поражение, и наша история, история будущего Государства Российского, получила бы совсем иное продолжение, то есть пошла бы по иному пути развития, чем этот, по которому, страдая от чужеземных притеснений и не в состоянии избавиться от них, мы все еще и сегодня вынуждены идти. Да, такого сражения не было, потому что, повторю, некому и не с кем было выйти навстречу вражеским ордам, страна лежала в развалинах, и лишь жалкие остатки некогда многолюдных славянских племен (что засвидетельствовано как арабскими, так и греческими летописцами) бродили по берегам рек, ища пристанища и не находя его на родной земле, полной притаившихся угроз и зловещих предзнаменований. Люди были настолько растеряны и так запуганы, что при одном лишь возникновении слухов о приближении азиатских варваров разбегались по лесам или уходили в бо-

лотистые места, где можно было бы отсидеться и переждать беду, бросали жилища, скот, посевы, то есть все, что составляло цель и смысл их бытия, не вполне, может быть, сознавая, что, сохранив себя, они тем самым сохраняли нацию для будущих исторических свершений. И хотя вместо свершений русским людям, по сути, досталась лишь судьба рабов, но это уже вопрос всей истории, а не толкования отдельно взятого, хотя и судьбоносного события, каким изначально для нас явилось нашествие гуннов, сопровождавшееся особенно бессмысленной беспощадностью и жестокостью. Предпринятое явно с целью захвата мирового господства, оно, кроме этой ханской заданности и заданности тершихся возле его трона вельмож, несло в себе некую исполненную даже вроде бы благородства экологическую (примитивно-экологическую) идею, идею очищения земных просторов от «живых могильников», то есть от всякого рода обжитого жилья, от изб, дворцов, храмов, язвенно осквернявших своей деревенской и городской скученностью святое пристанище человечества. Назвав себя и свое воинство «бичом небесным», Аттила с достойной гения краткостью сумел, с одной стороны, придать своим будущим кровавым деяниям смысл «великого очищения» от облепившей землю «скверны», что прозвучало как призыв к благородному делу, на который как раз и откликнулись массы простолюдинов, а с другой — этим же двусловием (поскольку «бич» да еще и «небесный») открыл массам путь к безнаказанным грабежам, разбоям, убийствам, насилию. С точки зрения абстрактной истории и несмотря на тиранство, совершенное предводителем гуннов, его вполне можно было бы признать незаурядным правителем — подобно тому, как поступают современные «ревнители объективности» с личностью Гитлера, находя в его деяниях некий уникальный организаторский талант, в то время как сей «фюрер нации» только и сделал, что свой человеконенавистнический замысел истребления евреев и славян, не дававших будто бы ему воссесть на трон мирового господства, обратил в известную еще со времен Карла Великого идею Lebensraum, идею расширения жизненного пространства для германской расы, и на основе этого простейшего, балансировавшего на грани самоубийства нации обмана двинул вооруженные полчища соплеменников, да и не только их, на восток разорять, грабить, сравнивать с землей славянские города, деревни, поселения и возводить на месте этих очагов жизни концентрационные лагеря смерти с газовыми камерами и крематориями для сжигания трупов; весь этот тщательно спланированный беспредел мы сегодня уравнительно называем второй мировой войной, которая, впрочем, разразилась не в век варварства, но в век великого, или высокого, «просвещения», а если ближе к истине — на наших глазах и с нашим участием, так что нет ничего удивительного в том, что трупный смог от сожженных людских тел, нависавший в годы тотального человекоистребления над Европой, продолжает и сегодня тяжелым напоминанием нависать над ней. Сказанное, думаю, вряд ли нужно чем-либо пояснять или дополнять, ибо все, все пережитое — и на слуху, и в памяти; но время неумолимо, и точно так же, как нашествие гуннов, отойдет в разряд событий далекой истории и фашистское нашествие, обозначившееся для нас «бичом» двадцатого столетия и уплотненное до размера летописной страницы, лишенное живости страданий, красок, живости восприятия, оно уже не будет так волновать новое поколение, как нас; зачинщики и полководцы-исполнители этой беспримерной в истории бойни народов останутся при именах и на пьедесталах, а миллионы павших в окопах и удушенных в газовых камерах сольются в один собирательный (и не лучший) образ борцов-мучеников, которые, тщась победить зло, сошлись в смертельной схватке отнюдь не со злом, нет, а только с его бренной плотью, тогда как дух сего бессмертного монстра насилия, от которого проистекали и продолжают проистекать все злодеяния, творимые против личностей, народов, государств, континентов,— дух зла, словно бы насмехаясь над тщетой прилагаемых человечеством усилий, только мужал, приумножаясь в своем державном могуществе. Я убежден, что, несмотря на всю нашу полную будто бы информированность о минувшей войне, мы, пожалуй, не знаем и трети того, что на самом деле происходило на ней, и можем только догадываться, исходя из своего исторического опыта, какие силы заставили Гитлера, овладевшего континентальной Европой и нацелившегося

было уже на Англию, развернуть свои железные дивизии на восток, то есть на нас, на славян, как не представляем и всего глубинного ущерба, какой был нанесен этой тотальной схваткой национальным интересам русского народа, его жизненному и духовному потенциалу; думаю, не в лучшем положении мы находимся сегодня и по отношению к гуннскому нашествию, то есть к тому событию полуторатысячелетней давности, о котором выпущено немало достоверных книг и опубликовано новых и новейших исследований, но роковые последствия которого, мне кажется, до сих пор остаются еще далеко и далеко не изученными, и мы, отделенные пятнадцатью столетиями от живых страданий, красок, живого восприятия глубины и масштабности разразившейся трагедии, в большинстве случаев лишь пролистываем эту страницу нашей истории, не отдавая себе отчета в том, что все, что с нами творится сегодня, жестко связано с прошлым и вытекает из него и что одним из самых значительных (изначально значительных) шрамов на изрубцованной трагедиями нашей душе является шрам гуннской трагедии.

II

Если после второй мировой войны все огромное пространство от Волги до Рейна на две трети лежало в развалинах, причем львиная доля этих разрушений падала на СССР, Россию, то после гуннского пятнадцативековой давности нашествия это же пространство между Волгой и Рейном, занятое в большинстве своем славянскими племенами, представляло собой единое пепелище, о чем мы как-то стесняемся или не хотим вспоминать (по странной на первый взгляд, но если присмотреться, то и не очень-то странной, а вполне объяснимой — объяснимой чужеродностью наших поводырей — причине), но что, однако, важно не только помнить как факт истории, на столетия прервавший, приостановивший или затормозивший самобытное развитие славянских народов, их национальных культур и цивилизаций, но еще важнее усвоить во всех ужасающих аспектах преподанный нам в свое время этот кровавейший урок. Гунны, благословенные своим предводителем на очищение земли от «живых могильников», то есть на уничтожение городов, деревень, любых встречавшихся на пути поселений, мало того что убивали, грабили, отбирали скот и угоняли людей в рабство, но всюду, где объявлялись их воинствующие толпы, а они объявлялись везде, не убывая, а разрастаясь численностью, часто за счет принужденных служить им славян, угров, болгар,— они оставляли после себя не просто развалины, а пепелища, да, именно пепелища, дабы отвратить покоряемые народы от самой мысли о возможности оседлого бытия. Давайте попытаемся хоть на минуту оживить перед глазами картину тех страшных деяний в их неохватной, от горизонта до горизонта, масштабности и проникнуться живыми страданиями, живым восприятием людей, наших пращуров, которые, просчитавшись в своей надежде на верховенство добрых начал бытия, вдруг, как снег на голову, столкнулись лицом к лицу не просто с неким проявлением зла, а, по сути, со звериной, не знающей границ жестокостью, с какой одни люди, гунны (узкоглазые, в черных одеяниях и на низкорослых мохнатых лошаденках, прибывшие будто бы исполнить волю небес), творили беспредел над другими, антами, венедами («венеды», «венеты» — в переводе с греческого «славные», что идентично понятию «славный народ»), умевшими ловчее работать на земле, чем держать меч, и принужденными теперь не просто жизнями, но исторической судьбой народа расплачиваться по счетам своего тогда уже несовместимого с миром хищничества добронравия, миролюбия, доверчивости; мы и сегодня, так с тех пор и не научившись осознавать себя не в замкнутом пространстве своего бытия (дескать, если мы не поднимаем ни на кого меч, то и на нас не подымут), а в среде взаимодействующих (противоборствующих) между собой народов и государств, где высшим правом давно уже узаконено право захватывать и порабощать,— мы и сегодня ведем себя далеко и далеко неадекватно тем складывающимся вокруг нас, вокруг России, обстоятельствам, в которых явно просматривается посягательство на наши жизненные интересы, просматривается новая и новейшая угроза порабощения, и не только не принимаем каких-либо мер к защите, но с

известным нам чувством шапкозакидательства делаем вид, будто ничего не происходит, да и хватит у нас народу и лихости, чтобы отстоять достоинство нации. Но, как показывает история, ни народу, ни лихости не хватило ни на гуннов, чтобы остановить их, ни на аваров, явившихся вслед за гуннами, ни на хазаров, в течение почти двух столетий взымавших с нас дань только за то, что мы жили и трудились на своей земле, ни на варягов, пришедших рэкетирски «столбить» (словно золотоносные пласты или участки) славянские племена для удвоенной и утроенной против хазарских поборов дани, ни на печенегов, ни на половцев, десятилетиями разорявших нашу землю и уводивших жен и детей в рабство, ни на орды Чингисхана и Батыя, чье нашествие завершилось для нас трехсотлетним игом, ни на все те захватнические походы с Запада, от которых мы вроде бы и отбивались, но только один Бог да народ ведают, какой ценой доставались нам эти, в сущности, пирровы (по результатам их для общего благополучия) победы, ни на нараставшие в веках экономические и духовные экспансии (как теперь, к примеру, когда мы без единого выстрела подведены к полной и безоговорочной капитуляции), которые еще губительнее, чем любые азиатские и европейские нашествия, подрубают основы нашего бытия. Кому-то покажется антипатриотичным такое высказывание, дескать, были в нашей истории не только черные времена, то есть не только поражения, но и победы, да еще какие, о которых не то чтобы грешно не помнить, а которыми грешно не гордиться; однако я и не восстаю против них, да, были победы, причем великие, но патриотизм — это не дворцовый фасад, разукрашенный государственной символикой, флагами и стягами, за которым простираются скрытые от глаз нищенские задворки, и он не может вечно держаться на обмане; да, победы были, русский народ не раз в критические моменты истории проявлял мужество и героизм, но итог ратных усилий всегда оставался печальным, и в этом плане он в чем-то сродни первому и самому трагическому поражению от гуннов, когда жилища наши были превращены в пепел, а мы обращены в рабов. Мы принуждены были именоваться гуннами, носить черные одеяния, служить в войсках Аттилы и биться и погибать за интересы созданной им на славянских и неславянских землях империи; странно, но факт — славянские полки, находившиеся в подчинении гуннских предводителей, одерживали верх и над греческими фалангами, и над хваленными римскими легионами, но лавры этих побед не принесли собственно славянам ничего, кроме усиления кабалы и бесправия, да еще порочно-исторической славы азиатски-агрессивного, азиатски-воинственного и азиатски-жестокого народа. Одним словом, гунны, каковыми хотя и негласно, но все еще до сих пор на Западе предпочитают именовать нас, не считаясь ни с фактами истории, прямо говорящими о чужеземном насилии над нами, ни с явной предвзятостью в толковании этих исторических фактов в угоду правящим в Европе элитам, которые, раз напугавшись (на заре становления) славянского многолюдства (хотя сказка о славянской жестокости была развенчана еще Геродотом и Тацитом), продолжают в русле этого испуга вооружаться и фарисействовать против нас. В век просвещения, согласитесь, странно говорить и писать об этом; но еще более странным представляется мне само фарисейство, когда за приоритетом провозглашенных «прав человека» беспардонно повсюду попираются права народов и государств и когда иерархи от исторических знаний, явно и тайно кормящиеся у тронов, заняты не поиском исторической истины, которая, как никогда, сегодня обнажена и очевидна, а сооружением «научно»-риторического тупика, куда для сокрытия можно было бы загнать ее, причем надолго и основательно. Что дала русским людям Полтавская битва? Исторический престиж? И только, ибо русская земля, за которую они столь отчаянно складывали головы, как была, так и осталась во владении царя, князей и дворян и объявленная Петром цель достижения «общего блага» (прямо-таки по-аристотелевски) — цель эта обернулась лишь процветанием все тех же обитателей дворцов и храмов, в то время как коренной люд страны был доведен до крайнего истощения. Мы вышли вроде бы защититься от чужеземного ига, тогда как давно и необратимо господствовало у нас свое «святопрестольное» чужеземство, так что какая разница, при ком и что происходило — при Петре ли, при Аттиле ли, или, вернее, начиная с Аттилы, усили-

ями которого как раз и явилось на свет это по-своему уникальное славянское «бескорыстие», да, при Петре ли, при Аттиле ли, при других ли «призванных» и «непризванных» владеть и править нами чужеродцах мы ходили умирать отнюдь не за свои национальные и государственные интересы. Примером может служить и наполеоновское нашествие. Да, было Бородино, да, изгнали французов — всей Москвой, всей Россией, если перефразировать автора «Войны и мира», но дала ли хоть какое-либо послабление эта победа крепостному крестьянству? Нет, поскольку мы, взявшись защитить свою землю от вражеского порабощения, защитили, по сути, лишь собственность царского двора да княжеские и дворянские поместья, и в благодарность за это ратное усердие Александр I (император-победитель, император-либерал, как склонна нарекать его историческая молва) соизволил лишь предоставить конституцию Польше и освободить от крепостной зависимости польских крестьян, но не соизволил сделать это же у себя в отечестве. Печальным итогом обернулась для нас и победа во второй мировой войне — Отечественной войне 1941—1945 годов. Сломав (жертвою двадцати миллионов только солдатских жизней) хребет гитлеровской военной машине, мы не предприняли ничего, чтобы добиться у себя в стране послабления и улучшения жизни, то есть не решились ни на один сколько-нибудь серьезный поступок, чтобы защитить национальные интересы от засевших в Кремле своих чужеродцев (в конце концов ведь наш «вождь и учитель», наш «отец народов» роднился с коренным славянским людом лишь через понятие «Россия», которое сам же и пытался вытравить с карты Европы, а потому и безжалостно сгонял нас в годы пятилеток на государственную барщину и столь же безжалостно во время войны посылал на огнедышащие стволы пушек и пулеметов); так что, да, победив врага внешнего, мы смиренно, словно блюдя некую завещанную пращурами традицию, вернулись под длань «родных», доморощенно-чужеземных поводырей тянуть рабство, и если бы подобное явление на самом деле было присуще только нашему народу, его с полным правом можно было бы назвать славянским синдромом. Но это не славянский синдром, и его истоки следует искать не в характере и поведении, вернее, не в неком генетическом ротозействе одной нации (ведь с основ миролюбия и добронравия начинали самобытное развитие многие народы), а в напластованиях господствующей ныне хищнической цивилизации, в которой более способны к выживанию не многочисленные и добронравные народы, а малые, сплоченные и коварные, сумевшие настолько овладеть методом духовного поработительства (особенно если судить по нынешним временам) и так хамелеонно научившиеся прикрывать свои национальные интересы тогами национальных интересов других народов, что приходится только диву даваться, с одной стороны, этой их ловкости, а с другой — ротозейству народа, чью национальную тогу они напяливают на себя. Так что нет, ротозейство — это не славянский синдром (хотя и не следует умалять здесь своей доли вины и ответственности), а широко распространенный по миру синдром «внедренного чужеродства», который для нас, начавшись с нашествия гуннов, превратился в непреходящую болезнь кабалы, нищеты, бесправия.

III

В предыдущей книге этого исторического повествования я попытался в максимальных подробностях рассказать о том, как под ударами гуннов пала наша начальная государственность — Русь Первая,— о мужественном поступке ее основателя, столетнего царя Германариха (Эрманариха), кинувшегося было в доспехах и с мечом защитить свое детище; о спешных его похоронах и надругательстве Аттилы над его могилой, о смертной схватке готских и славянских дружин с наседавшими гуннскими полчищами, о казнях бояр и простолюдинов на площади, куда несчастные были согнаны для расправы, о повальном мародерстве, коему подверглись кварталы стольного града (с участием женщин и детей, буквально вместе с войском — в своих крытых двухосных кибитках — въехавших в город); после того как люди были перебиты, а дома их разграблены, Аттила распорядился с четырех сторон поджечь город, и зарево от охва-

ченных пламенем деревянных строений словно бы символическим кровавым факелом долго еще освещало путь устремившемуся к центру Европы сонму пеших и конных воинских толп, кочевых кибиток, следовавших за этими толпами, угоняемых животных и рабов, для надежности скрепленных — шея к шее — жесткими волосяными арканами. Есть трагизм минуты, трагизм времени, трагизм веков, так что картина гуннского нашествия, которую я в очередной раз (для себя, но, думаю, не только для себя) пытаюсь воспроизвести в воображении,— это не просто один из многочисленных драматических эпизодов истории, но живая страница или, вернее, веха нашей страдальной славянской судьбы, тот, если хотите, перевал жизни, от которого историческая дорога славянства, как ни прискорбно сознавать это (и каким бы неприятием ни сопровождалась в душах людей сия оголенная истина), круто пошла вниз, под уклон, оставляя за собой (или наслаивая) эпохи чужеземных владычеств над униженным, порабощенным, загнанным в рабство славянским людом: гунны (Аттила), авары (хан Боян по прозвищу «Свирепый»), хазары (Хазарский Каганат), варяги (Рюрик с братьями и «со всей Русью»), татаро-монголы (Чингисхан, хан Батый), первое и второе онемечивание Руси (Романовы, Ленин и Троцкий с компанией), и теперь третья и невиданная еще по масштабам разграбления экспансия, проводимая с согласия или даже под диктат (некой будто неуловимой, но все той же чужеродной силой) всех или почти всех ведущих держав западного мира; и ни одного просвета между нашествиями, между этими политическими, экономическими, духовными экспансиями, ни одной, по сути, передышки на восстановление национального потенциала, национальных самобытных начал, национальных корней, соками от которых только и может подпитываться жизнеспособность и жезнестойкость любого народа. Да, ни одного просвета на обустройство, когда бы не по признакам парадно-дворцовых перемен, а по состоянию народной жизни, жизни коренного славянского люда, можно было бы говорить о социальном и нравственном возрождении нации. Мне иногда кажется, что кровавое зарево пожарищ, сопровождавшее от Волги до Рейна гуннское воинство, не столько освещало путь Аттиле, шедшему карать народы лишь за то, что они позволили себе строить жизнь не так, как он хотел бы, чтобы они строили, сколько являло собой пророческое предзнаменование, всполохом грядущих войн, раздоров и потрясений вставшее над девственными тогда еще просторами славянской земли. Именно в тот страшный год, год первого в европейской истории азиатского нашествия, начался для нас отсчет полуторатысячелетнего чужеземного верховенства, которое, наслаиваясь в столетиях, только сильнее с каждым разом придавливало нас плитой нескончаемого рабства, так что истоки наших нынешних бед, когда в очередном навязанном мироустройстве (на канонах будто бы демократических прав и свобод) русский народ, да, прежде всего русский народ, оказался поставленным в условия жесточайшего геноцида, условия тихого, бескровного вымирания от нищеты, невежества, болезней, голода, от беззащитности, бесправия и постоянного или, вернее, планомерного, удар за ударом, национального унижения,— истоки этих достаточно уже закоренелых бед и лишений кроются не столько в текущих обстоятельствах жизни, сколько в неистребимом чужеземстве, в этой губительной для нас закономерности, которая очевидна, но которую, несмотря на всю ее очевидность, мы либо не умеем или не хотим понять, либо боимся признать, что она существует, действует и угнетает нас. Ключ к разгадке синдрома всеохватного чужеродного верховенства следует искать в закодированных громадах египетских пирамид, то есть в «веке Богов», если пользоваться терминологией древнеегипетских оракулов, но ключ к разгадке постигшего нас синдрома чужеродного верховенства лежит гораздо ближе — в преддверии и итогах гуннского нашествия, потому-то я вновь и вновь столь настойчиво возвращаюсь к этому переломному, или вернее, поворотному, в нашей судьбе событию, которое, впрочем, хотя и не игнорируется нашей исторической наукой (во всех официальных работах по древней истории есть абзацы, посвященные этому нашествию), но и не исследуется в той должной степени, в какой это трагическое явление наложило отпечаток на всю нашу как личную, так и общественную жизнь. Аттиловский выброс воинствующих (разбойных) азиатских орд, если обратиться к его разрушительно-убийственной сути, особенно отчетливо сегодня предстает

в трех равнопоучительных для нас исторических уроках: в уроке ротозейства правителей, уроке доверчивости и ротозейства народа и уроке поработительской жестокости. Но, к сожалению, ни один из этих уроков, как, впрочем, и вообще уроков истории, ничему (и это не случайно) не научил и не учит нас, правители наши как благодушествовали на престоле, так благодушествуют и ныне, полагая, что в критический для себя момент откупятся либо казной, золотым (по византийскому образцу) запасом, либо политическими, экономическими, а то и территориальными уступками, либо кровью простолюдинов, подняв их на «защиту отечества» (тут-то уж «мы за ценой не постоим», как едко заметил поэт, ибо не своя кровь, не жалко), а законопослушный люд, привыкший (по своему тысячелетнему бесправию) видеть в правителях не только притеснителей, но и защитников,— законопослушный простой люд как страдал, так и продолжает страдать, то есть расплачиваться жизнями за свою безоглядную, по существу, доверчивость, рождаясь и сходя в могилу с верой в божественную неизменность установившегося, а если с позиций реализма — силой навязанного ему мироустройства. Теперь вроде бы трудно судить, насколько был повинен и насколько был неповинен первый самодержец нашей Первой Руси (Восточной Готии) царь Германарих, не сумевший ни подготовиться к гуннскому нашествию, ни отразить его, выйдя со славянским ополчением (и готской дружиной, разумеется, бывшей при дворе) к Дону; сослаться на некое полное неведение тут, пожалуй, нельзя, поскольку слух о движении азиатских полчищ с годичным, если не больше, опережением бежал впереди них, да к тому же, достигнув Волги, Аттила стал лагерем на ее берегах, и эта далеко не кратковременная его стоянка перед вторжением на славянские земли, естественно, не могла, если бы даже «бич небесный» и захотел этого, долго удерживаться в тайне; люди, бежавшие от его насилий, докатываясь до готской столицы (столицы Руси Первой, располагавшейся в районе нынешнего Киева), доносили до нее и всю зловещую информацию о надвигавшейся азиатской угрозе, что должно было не только насторожить, но и призвать к действию Германариха. Не исключено даже, что не одну осень и зиму Аттила простоял на Волге, готовясь к броску в Европу, ибо, как гласит народная молва, старинное название этой великой реки — Итиль — связано с пребыванием на ней гуннского предводителя (Аттила — Атиль — Итиль), как, впрочем, и наименование столицы Хазарского Каганата — город Итиль,— возведенной на месте стоянки будущего основателя Гуннской империи. Как видим, гуннское нашествие не было уж столь неожиданным, как историки, особенно позднейшие, склонны изображать его, вольно ли, невольно ли этим своим смещенным восприятием не столько даже искажая историческую достоверность, сколько оправдывая подобным толкованием самое тотально-катастрофическое из всех известных в древнейшей и новейшей истории поражение славян. У Германариха было время подготовиться к решительной схватке с Аттилой и дать ему бой еще в междуречье Дона и Волги, а славянские племена — анты, венеды,— являвшиеся доминирующей основой созданного им царства,— славянские племена, стоило только бросить клич, могли бы выставить достаточно внушительное ополчение, но самодержец Первой Руси не воспользовался этим дававшимся ему историей шансом; не воспользовался, во-первых, потому, что был уже стар и лишен живости ума (более семи десятков лет восседал только на царском троне), и, во-вторых, потому, что управлял чуждым ему, порабощенным народом и не испытывал к нему того родственного чувства, той щемящей боли, которая в преддверии бед, да, особенно в преддверии бед, сплачивает единокровных людей в единый национальный монолит и подчиняет единой национальной воле; престольное многолетие и чужеземство — Господи, как же все это знакомо нам по нашей новой и новейшей истории, когда заложником безрассудного (по чужеземству) властолюбия оказывался простой, безвинный и бесправный (крепостной) российский люд.

IV

Греческие (византийские) и арабские летописные источники, донесшие до нас сведения о Восточной Готии — Первой Руси,— с традиционным для тех

эпох царепоклонством представляют Германариха смелым, умным, незаурядным воином и столь же умным и незаурядным правителем, сумевшим будто бы без особых усилий подчинить себе живших в бассейне Днепра и в районе Новгорода антов, венедов, чудь, мери, веси, мордву и благословенно, без излишних притеснений, без казней и разных прочих карательных мер править ими; летописи не раскрывают его ратных деяний, а только славят как полководца, не проигравшего ни одного сражения (что, впрочем, в той же степени относится и к его государственным свершениям), и в качестве примера, подтверждающего патриотизм и доблесть этого дожившего до глубокой старости первого нашего самодержца, ссылаются на его предсмертный поступок, который у древних летописцев, естественно, не мог не вызывать восторга и умиления: дескать, не диво ли, когда столетний царь поднимает меч, чтобы схватиться с осадившими город гуннами! Сила духа, возвысившись над немощью плоти, придала царской смерти величие подвига; но «подвиг» (я не случайно беру это слово в кавычки), предстающий и перед нами явлением далеко незаурядным, был, в сущности, поступком отчаявшегося человека, а не поступком государственного мужа, то есть не тем тронно продуманным деянием, какого ждали от него люди, готовые объединиться для решительного противостояния. Полагая, видимо, как многие правители полагают и сегодня, что государство — это они, Германарих если к чему-то и готовился, то лишь к защите стольного града и царского дворца в нем; не знавший толком, какие силы надвигаются на него, и более чем упоенный былой удачливостью (он обычно сам водил в сечи дружину), былыми победами, принесшими ему славу полководца и трон, он поставил себя, а вместе с собой и народ, в заведомо проигрышное положение, и эта его старческая самонадеянность и беспечность привели не просто к падению династии и развалу империи (что обозначилось бы в истории рядовым событием), но обернулись для славян столь неохватным в веках трагизмом, суть и значение которого мы до сих пор так и не можем до конца постичь. Анты и венеды, составлявшие основное население империи, были, если беспредвзято смотреть на факты, преданы своим столетним «отцом нации»; после того как стольный град пал, защитники его перебиты, жители казнены, а строения превращены в прах, иначе говоря, после того, как надежда и символ империи рухнули, то есть рухнуло организующее начало общественной жизни, ни о каком сопротивлении гуннам нечего было и думать; до самого Рейна Аттила шел походным (карательным) маршем, разоряя, грабя и сжигая возникавшие перед ним города и селения, свирепствуя в казнях и пополняя (под страхом смерти) редевшие полки славянскими юношами, и если бы не пришло ему в голову двинуться от подножия Карпат двумя колоннами, двумя направлениями — западным и южным,— он без труда форсировал бы со своими полчищами Рейн, Сену и вышел бы к Атлантике, а затем, усилившись за счет юношей западноевропейских племен, которых, как и славянских, под страхом смерти принудил бы служить себе, смог бы до беспредела раздвинуть сферу своих кровавых деяний; но произошло лишь то, что произошло, и азиатский варвар, как и Германарих, тоже оказался не безгрешным в замыслах и свершениях, правое крыло его победоносно-фронтального шествия по славянским землям было остановлено у Рейна, а левое, столкнувшись с греческими и римскими легионерами, вынуждено было осесть в Дакии, где и оборвалась дорога кровавого азиатского полководца. В придунайских курганах, заросших виноградниками, под двухсотметровой толщей земли покоится не найденный и доныне прах этого, может быть, и в самом деле незаурядного человека, которому суждено было, подняв толпы своих соплеменников на бессмысленную и безрассудную бойню и устелив их костями европейский простор, устлать его и костями безвинных славян; явление Аттилы для нас есть явление роковое, явление переломное, ибо с нашествием гуннов был не просто прерван, но полностью оттеснен от нас эволюционный путь развития, и мы вступили в фазу революционного чужеземства; нас, как порченую девку, передавали из рук в руки чужеземцы, силой и коварством занимавшие наш престол, и этот унижающий славянство образ, если в нас осталось еще хоть что-то от человеческого достоинства, от объединявших нас когда-то миролюбивых национальных славянских святынь,— унижающий образ этот (оттого и привожу его и

ссылаюсь на него) должен наконец помочь нам увидеть то истинное положение, в каком мы, пребывая в течение веков, пребываем и сегодня, понять глубинный смысл происходившего и происходящего и, сплотившись, пока еще не поздно, снять с себя ярмо чужеземства и восстановить в соответствии со своими традициями национальный уклад жизни. Не знаю, доживу ли я до этого светлого пробуждения, настанет ли оно вообще или нам так и суждено будет сгинуть под пятой чужеземного ига,— не знаю, не знаю; тут мало что зависит от отдельно взятого человека, но все упирается в состояние народной воли, которая либо еще сохранилась в нас, живет и может служить основой всеславянского сплочения, либо ее нет, и тогда нам больше не на что уповать; мы должны (каждый из нас) ощутить (осознать) во всей полноте нашу не до конца еще растраченную славянскую общность, которой, имея, впрочем, ярко выраженную свою, так опасаются ныне не столько западноевропейские народы, сколько правители (политики), сумевшие при всеславянском добронравии, всеславянском миролюбии, всеславянской доверчивости узурпировать для себя за века трон мирового господства, и это ничем, в сущности, не обоснованное опасение (кроме разве что всеземным притязанием на богатство, славу и власть) как раз и выливается в политику раздробления (разобщения), угнетения и порабощения (прежде всего в нравственной сфере, поскольку дух есть выражение свободы) славян. Да, мы должны наконец посмотреть правде в глаза и, не отыскивая врагов там, где их нет, в самобытной жизни других народов, не меньше нас, впрочем, страдающих от собственных вненациональных правителей, обратиться к историческим и текущим проблемам своего бытия, которые, представляясь неразрешимыми, на самом деле (стоит лишь приложить усилия) вполне могут быть простейшим образом разрешены. Такой узкообособленный подход, разумеется, не исключает и расширенного изучения вопроса, ибо ни Аттила, ни его нашествие не возникли сами собой из ничего; их появление связано с определенной закономерностью, в согласии с которой и в наши дни происходят подобные авантюры и творятся чудовищные преступления; однако я все же позволю себе отступить от всеохватности, когда исследования судьбоповоротных явлений отечественной истории подменяются (смешиваются и топятся в этом смешении) исследованиями побочных, хотя и важных для познания развития человечества процессов, ибо есть афро-европейское начало хищничества, базирующееся на стержне господства и рабства, и оно восходит истоками ко временам древнеегипетских пирамид, и есть начало у азиатского абсолютизма, возросшего все на той же стержневой основе, уходящей корнями куда глубже в толщу веков (но это уже история азиатских народов, она требует своего осмысления), так что, втянувшись в уяснение этих двух основополагающих вроде бы начал жизни, мы, во-первых, невольно перенесли бы центр внимания со своих национальных проблем на проблемы общего порядка (и что можно было бы признать оправданным и правомерным, если бы славянское мировосприятие и миротолкование не противоречили хищничеству, то есть не были бы альтернативны ему, и если бы одной из главнейших наших проблем значилась проблема появления из славянских общин александров македонских, аттил, цезарей, карлов великих и карлов двенадцатых, чингисханов, тамерланов, наполеонов, гитлеров, готовых за трон мирового господства бросить хоть половину человечества под топор), и, во-вторых, постигнув истоки тиранства, ничего общего не имеющего с истоками славянской самобытности, обошли бы исток беззащитности, принявший для нас характер национального бедствия, и исток престольного чужеземства, не избавившись от которого, мы никогда не сможем снять с себя ярмо кабалы, нищеты и бесправия. Я глубоко убежден, что славянам просто-напросто не приходило и не приходит в голову силой навязывать свой образ жизни и свою духовность другим народам, ибо подобное навязывание есть прежде всего выражение господства; мы всегда были далеки от мысли вторгаться в чужие земли и создавать там, на базе чужих народов, славянскую империю (я имею в виду коренной люд, устремления собственно славян, а не вставших над ними пришлых правителей, чьи алчные аппетиты на богатство, славу и власть ни с какой стороны не приложимы к народу), но, как показывает ход исторического развития, односторонней порядочности далеко не доста-

точно, чтобы то или иное людское сообщество могло мирно, в согласии со своими представлениями о жизни, развиваться в захлестнувших мир условиях хищничества; народы буквально втискивались в «цивилизацию», древнеегипетское и центральноазиатское единородство которой вряд ли можно поставить под сомнение, и славянство со своими от Днепра до Рейна землями, оказавшись словно бы в тисках этих наседавших с двух сторон, с востока и с запада, монстров поработительства, не сумело вовремя подготовиться к такому повороту истории, и все мы, по существу, стали заложниками своего простодушия и своей порядочности. Ведь если говорить языком жесткого реализма, мы, словно неким неизлечимым недугом, поражены национальной беззащитностью, хотя и не хотим (или боимся, или не можем) признать это; не хотим ни на уровне личностей, ни на уровне народа, стыдясь, видимо, обнажить очевидную и унижающую нас правду, что, в свою очередь, делает нас еще более беззащитными как перед другими народами, коими усиленно (и не без дальнего умысла) разбавляют или насыщают славянский мир, так и перед собственным престольным чужеродством. Дело доходит до того, что не только западный мир, которому выгодно распространять о нас самое дурное мнение как о людях второго сорта, не умеющих достойно обустроить свою жизнь, но и мы сами начинаем верить в эту придуманную для нас сказку о некоей природной будто бы нашей никчемности, не удосуживаясь при этом не верхоглядно, а с углубленным пристрастием вникнуть в суть нашего текущего и исторического бытия со всеми его ступенчато, нашествие за нашествием, возраставшими силовыми порабощениями и «доморощенным» (как следствие или итог поработительств) престольным чужеродством; но ведь болезнь, если известны ее причины, поддается лечению, как, впрочем, и синдром нашей пресловутой беззащитности (разобщенности), уходящий корнями к триста семьдесят седьмому году, к тем не воспринятым, к сожалению, нами трем урокам истории, какие были преподнесены славянству гуннским нашествием и последовавшим за ним семидесятилетним гуннским игом.

V

Древность скупа на освещение славянской истории. О том, с чем это связано, подробно уже рассказывалось в главах, предваривших историческое повествование. Однако, несмотря на скупость, некоторые источники все же дошли до нас, и они, на мой взгляд, достаточно полно характеризуют быт и нравы славян. Чтобы не быть голословным, я позволю себе привести свидетельство ученых древности Помпония Мелы, Плиния, Солина, которые, совершив путешествие в земли, лежавшие к северу от Фракии,— к «славным Гипербореям» (венедам, венетам, если вспомнить греческое значение этого слова),— поведали тогдашнему миру, что «Земля у них плодородная, воздух чистый и благорастворенный. Они живут долее и счастливее всех иных людей, ибо не знают ни болезней, ни злобы, ни войны и проводят дни свои в невинной, беспечной веселости и гордом спокойствии. Жилища их суть прекрасные леса и дубравы, а плоды древесные служат им пищею; они умирают равнодушно и единственно тогда, когда жизнь их уже теряет для них все прелести; дают пир друзьям и родственникам; украшают венками свою голову и бросаются в волны морские». Совершенно очевидно, что речь здесь идет о славянских племенах, занимавших пространство от Фракии, которая, кстати, тоже считается исконно славянской территорией, до берегов Балтийского моря, а с востока на запад — от Днепра до Рейна, и если у древнегреческих ученых, коих трудно заподозрить в излишней эмоциональности, сложилось столь восторженное впечатление о жизни «славных Гипербореев», то из этого можно сделать лишь тот вывод, что славяне жили совсем иной жизнью, то есть по иным законам (законам добронравия и миролюбия), чем народы и государства центрального и восточного Присредиземноморья с навязанным им первородно-египетским (хищническим: фараоны и рабы, господство и рабство) устройством бытия, и что эти иные законы, иная, славянская, самобытность покорили их той естественностью и простотой человеческих отношений и отношений человека с природой, о каких

даже греки, уже тогда почитавшие себя образцом человечества (свободные, то есть богатые, власть предержащие греки, следует уточнить), могли говорить лишь в рамках возможных предположений, красивых легенд и благосочиненных сказок. Но факт остается фактом: Помпоний Мела, Плиний и Солин сказали лишь то, что сказали, и если мы не пытаемся опровергать другие подобные источники, то почему должны опровергать сведения о славянах, оставленные историками, предпринявшими героический, да, по тем временам истинно героический исследовательский поход в столь далекие от их родных мест северные земли? Из системы господства и рабства, укорененной среди присредиземноморских народов и государств, то есть из городов, кипевших невольничьими рынками, от дворцов их, кроваво переходивших от властителей к властителям, и площадей с помостами, лобными местами, где не было дня, чтобы кого-то не казнили или не распяли на кресте, то есть из всей этой античной драматической повседневности, от которой остались теперь только полуразвалившиеся памятники некой «великой» будто бы культуры и «великой» цивилизации, коими со всех пропагандистских и просветительских трибун словно бы упрекают нас, ставя в образец или, вернее, подавая их как идеал демократических отношений в демократическом устройстве жизни,— из всей этой драматической повседневности, до неузнаваемости перелицованной ныне в гармонию достижений античного бытия, Помпоний Мела, Плиний и Солин, едва отдалившись от пределов Фракии, попали в мир совершенно иных общественных отношений, мир без войн, как они пишут, мир «беспечной веселости» и «гордого спокойствия», в котором господствовали совершенно иные человеческие ценности, и мир этот, разительно контрастировавший с тем, какой они покинули, не мог, естественно, не потрясти их. Чем глубже они проникали в этот мир славянской самобытности, тем острее чувствовали не тронутую еще развратом хищничества девственную красоту этого мира — мира не столько даже непривычных для них людских отношений, но мира природы, находящегося в гармонии с миром человеческого бытия; от их взгляда не ускользнуло, что «земля у них плодородная» (в отличие от истощенных, скалистых, пустынных пейзажей Греции, Египта, Палестины, в которые словно бы вкраплены долины с бурно плодоносящей зеленью), «воздух чистый и благорастворенный» (в отличие от присредиземноморской жары и то удушающей влажности, то удушающей сухости), и эти словно бы мазки к некой величественной картине, перед которой оказались древнегреческие историки, предпринявшие поход в северные земли,— мазки эти могли наложить только люди, непосредственно видевшие и вдохнувшие величие и красоту северной природы, ее спокойную (в гармонии с человеком) одухотворенность и монументальность, не раздерганную еще и не растасканную по царским сусекам и дворцовым и церковным хранилищам. Можно, конечно, предположить, что в характеристике славянского быта, данной греческими историками, есть определенная доля преувеличения; может даже показаться, что восторг от увиденного захлестнул (замутил, затуманил) их разум; но если и так, то из этого следует, что в действительности картина жизни славян могла быть еще более разительной в сравнении с рабовладельческим, погрязшим в коварстве и войнах миром Присредиземноморья, и восторженный тон историков как раз и служит в данном случае лучшим подтверждением их немногословного, но для нас весьма и весьма важного свидетельства о нравах и быте наших далеких пращуров. Тут следует, наверное, прервать повествование и обратиться к спорам, которые разгорелись вокруг характеристики «славных Гипербореев», когда она спустя несколько десятков столетий была обнаружена новейшими историками и оглашена ими. Шведские ученые тотчас заявили, что речь идет о шведском народе, норвежцы — что это о них написали древние греки, русские — что о них; каждая из сторон искала свои доводы, ибо лестно было прослыть потомками «славных Гипербореев», и хотя ни у шведов, ни у норвежцев не было оснований на подобное признание, поскольку венедами, венетами, то есть славными (славный народ), именовались только славянские племена и поскольку в работах Помпония Мелы, Плиния и Солина нет и намека на то, что они пересекали Балтийское море и высаживались на варяжском берегу, однако отступили в споре не шведские, не норвежские, а российские ученые, что наводит на

странные и весьма тягостные размышления. Кому-то в отечестве не хотелось (или не нужно было), чтобы нищий, закрепощенный, загнанный в невежество русский люд узнал хоть что-либо о своих исконных исторических корнях; с одной стороны, престольное чужеродство, а с другой — норманнское засилие в академических и просветительских кругах, совокупленное с церковным (теологическим) державством, и свидетельство древнегреческих историков о мире славянской самобытности было предано гробовому забвению. Российская история как ограничивалась деяниями великих князей, царей и православных первосвятителей, так ограничивается и сегодня, и мы, славяне, оказались, по сути, дважды обобранными: первый раз гуннами, когда мечом и огнем была разрушена самобытность нашего бытия, и второй, когда престольным чужеродством и норманнским засилием в академических и просветительских кругах были духовно отторжены от своего достойного прошлого. Говорят, что жизнь — не идиллия, а жесточайшая реальность и что исторический процесс надо воспринимать таким, каков он есть, а не таким, каким тем или иным народам или правителям хотелось бы видеть его. Что ж, процесс становления человечества есть процесс подавления одной «цивилизацией», хищнической, всех остальных, альтернативных ей; но как во всемирной истории, так и в национальных историях народов (и прежде всего в истории славянства) он представлен некой благотворящей неизбежностью, неким идиллическим верховенством общечеловеческих (древнеегипетского, фараоновского первородства) ценностей над ценностями варварского (языческого) бытия; на самом же деле сей страшный поворот истории совершался в условиях ужасающего насилия, так что не только славянство, но и многие другие народы оказались как бы вырванными из привычной им социальной и нравственной среды обитания, а всякое желание восстановить утраченную истину (истину борьбы и порабощения) наталкивается на жесткий, аксиоматично составленный и тронноутвержденный запрет, дескать, что есть, то и было, а чего нет, того и не было, и не с народным представлением о мироустройстве соваться в святилище исторических знаний. Есть догмы церковные, по которым человек является всего лишь рабом Божьим и не более того, и есть догмы светского порядка, продиктованные единой (хищнической) системой мироустройства, поименованной «цивилизацией», и хотя церковное и светское объяснения мира (религиозные учения, всемирная и отечественная истории) рознятся между собой в методах и подходах к освещению как прошлых, так и текущих деяний, в то же время, если внимательнее присмотреться, они имеют один источник — власть и равно работают на одну цель — на стагнацию установившегося миропорядка, при котором всегда будет обеспечено равнобессмертие господству и рабству как богоположенной основе общественных отношений в устройстве человеческого бытия. Цивилизация, возвысившаяся за счет уничтожения других цивилизаций, то есть на насилии, может главенствовать среди народов, только постоянно подпитываясь подавлением и насилием; как и власть, она не терпит конкурентов, история ее — это история разрушенных ею больших и малых карфагенов, это цепь схваченных кольцами насилия веков, разорвать которую можно только силой познания истинной сути творившихся и творящихся дел.

VI

Можно соглашаться, можно не соглашаться с утверждением, что искусство, литература куда с большей зеркальностью, то есть куда четче и приближеннее к истине, чем историческая наука, отражали и отражают жизнь; в этих основополагающих столпах духовности, ныне во многом подмененных учениями религиозного — стагнационного — державства, трудно отыскать даты тех или иных судьбоносных событий, которыми, как мы знаем теперь, определялся ход исторического развития людских сообществ, как нельзя обнаружить и ясного разграничения, вернее, той «научной» периодизации эпох, периодизации сменявших друг друга социальных (при неизменности стержня господства и рабства) формаций, дающих будто бы представление о целеустремленном движении человечества к прогрессу и процветанию; но недостаточность собственно исто-

рической (перечислительной, событийной) конкретики отнюдь не обедняет оба вышеназванных жанра и не выносит их за рамки реалистического познания минувшей и текущей действительности, ибо искусство и литература открывают нам мир духовных катаклизмов, духовных потрясений личностей и народов, которые нельзя зафиксировать в материальных издержках и разрушениях, но шрамами от которых испещрены наши мятущиеся в поисках истины и справедливости души. Шрамы эти, как нарезки мук, перенесенных человечеством, именно через произведения литературы, искусства оживают в нас иногда странным, почти необъяснимым, но большей частью ностальгическим проявлением чувств по тем ушедшим в небытие временам, когда жизнь, если придерживаться нынешних суждений о ней, была вроде бы несравнимо тяжелее и неприютнее (с точки зрения бытовых удобств и добывания хлеба насущного), чем теперь, но в то же время она предоставляла человеку свободу действий (свободу в созидании своего бытия и проявления воли), которая, в свою очередь, приносила духовное удовлетворение и являлась главным и, может быть, единственным мерилом не столько даже отдельно взятой людской жизни, сколько жизни вообще на лоне и в окружении столь же девственной и столь же незамутненной и неразвращенной в своих проявлениях природы. В искусстве, в литературе это выразилось в создании идиллических, пасторальных картин деревенской, пастушеской жизни в противовес будто бы, как утверждали и утверждают теперь считающие себя прогрессистами критики, могучему поступательному движению человечества. Но, мне думается, дело тут вовсе не в поступательном движении, то есть не в противостоянии двух сложившихся и укоренившихся за века в искусстве и литературе направлений, а в противоборстве тех социальных систем, тех представлений о мироустройстве, когда древнеегипетская (фараоновская) государственность, древнеегипетская (фараоновская) культура, древнеегипетская (фараоновская) цивилизация, выплеснувшись на обетованные земли, принялись кроваво насаждать, подавляя самобытность народов, свой хищнический миропорядок; своим успехом они, по существу, обеспечили и верховенство так называемой литературы жесткого реализма, задвинув на второй план идиллическое изображение жизни; идиллические, пасторальные творения в лучшем случае вызывали лишь снисходительное сочувствие к их творцам, как столь же снисходительное сочувствие вызывают и сегодня у многих, ибо не случайно же подавляющее большинство полотен, заполонивших большие и малые музеи мира (как, впрочем, и книжные хранилища), представляют собой сцены заговоров, убийств, казней и войн. Мир двигался не от варварства к прогрессу, а от прогресса к варварству и разврату, и если с точки зрения исторической науки, давно и прочно поставленной в услужение тронам, утверждение это представляется не то чтобы спорным, но в корне неприемлемым (ведь мир созидался царями и полководцами, и разве смогут они когда-нибудь признать, во что превращено ими человеческое бытие?), то по линии духовного становления, линии литературы, искусства, то есть по диаграмме нравственного падения человечество не просто затоптало в грязь свое идиллическое прошлое, являвшееся, может быть, самой великой ценностью его естественного бытия, но в течение тысячелетий усиленно вырабатывало (с подачи многоголосого хора трононрислужников, в том числе и прислужников от искусства и литературы) столь негативное отношение к самому этому понятию, что нам уже кажется, что никогда не было и не могло быть такой жизни, в какой люди не представали бы волками, готовыми даже за обглоданную кость перегрызть горло друг другу, а проводили бы дни, годы подобно «славным Гипербореям» в «невинной, беспечной веселости и в гордом спокойствии». Но такая жизнь была, она господствовала среди многих народов, и доказательством тому служат наши ностальгические (несмотря на эпохальную обработку хищничеством) воспоминания о ней; по тому, как ностальгическими сюжетами наполнялись и истощались произведения искусства, литературы, можно безошибочно судить о социально-нравственной атмосфере минувших веков, об эпохах притеснений и послаблений, эпохах поработительских войн и духовных экспансий, когда единственным прибежищем для простолюдина оставался лишь замкнутый в самом себе мир воспоминаний и грез. Еще недавно мне казалось, что все народы, все люди на Земле,

кто явно, кто скрытно, испытывают ностальгию по тихой, мечтательной, добронравной сельской жизни, что — у кого не дрогнет сердце (от наплыва безотчетно-радостных чувств) при виде скошенного луга со сметанными на нем стожками, дышащими крестьянской заботливостью, при виде пасущегося у березняка стада с извечными при нем пастухом и подпаском, при виде хлебного клина по взгорью и деревенских изб за ним, приземистых, словно припуганных неисчислимо кативши мися над ними невзгодами; да, мне казалось, что только через сельскую жизнь пролегает связь эпох, связь поколений и что если и существует эликсир духовности, которым подпитывается человечество (должно подпитываться, то есть не может не подпитываться), то воспроизводится он крестьянским трудом, в крестьянских семьях, в русле негромкой, ненавязчивой крестьянской нравственности. Но жизнь как школа жестокости и история, как документ движения человечества от миролюбивых начал ко всеохватному насаждению хищничества, к торжеству фараоновской системы господства и рабства, заставила по-иному посмотреть на все, что творилось и творится с нами; мир не целостен, нет; есть народы, и их большинство, которые подвержены ностальгии по прошлому, ибо в памяти этих народов еще сохранились воспоминания (хотя и смутные) о тех временах, когда идиллическая жизнь была для них не утопической мечтой, а повседневной реальностью, и славяне, кто бы и как бы ни осуждал нас сегодня, относятся к этому крылу человечества, и есть народы, которые готовы посмеяться над этой нашей славянской ностальгией, их не то чтобы не трогает сельский пейзаж, но, привыкшие жить разбоем, жить в паутине коварства, заговоров, захватов и перезахватов власти, они стараются внедрить свой образ жизни в чужие народы и на волне поднятых неурядиц и смут обогащаться за счет этих народов и править ими. Чтобы понять это, не нужно даже вникать в историю, а достаточно обратиться только к двадцатому столетию, на протяжении которого дважды навязывали, или, вернее, старались навязать, русскому народу совершенно несвойственные ему по его мировосприятию и миротолкованию социальные и нравственные условия бытия — рабство коммунистическое, изготовленное иноземным умом и привнесенное иноземными, ряженными под славянских доброжелателей доброхотами, и еще более унизительное (на завершение века) порабощение от промышленных и банковских воротил, отштампованное все на том же «просвещенном» (просвещенном в пользу своих интересов) Западе, и если какие-то корни до этого соединяли еще нас с нашей неординарной (по крайней мере для нас) историей, то после этого последнего — на завершение века — иноземного «благотворительства» (иноземного и будто бы ненасильственного поучительства) мы вскоре окажемся окончательно отсеченными от наших национальных традиций, национальной самобытности, национального достоинства. Дело разорения славянства, начатое гуннами и последовательно продолженное аварами, хазарами, варягами, печенегами, половцами, ордами Чингисхана и хана Батыя, онемеченным престолом, шведами, французами, немцами,— дело это наконец будет доведено до логического конца; но изничтожение славянства — что это даст народам, вольно или невольно втягивающимся в сию грязную эпохальную кампанию? Ведь стержень господства и рабства ненасытен, он вынужден будет искать другую (новую, очередную) жертву, ибо без интриг, войн, захватов и перезахватов власти он не может существовать; идиллия сельской жизни, идиллия естественной жизни вообще — это не удел народов, привыкших интриговать, грабить, порабощать и убивать; их стихия — стихия развращающей человеческую душу «культуры», их живопись — извращенное представление о мире человеческих ценностей, их музыка — отупляющие, доводящие до экстаза сумасшествия ритмы, толкающие простолюдинов на преступления, их литература — героизация убийц и сексоманьяков, и весь этот набор разврата и озверения подается как образец жесткого реализма жизни, как идеал современного (прогрессивного) мироустройства и миротолкования в противовес высмеивающимся картинам тихой, спокойной, полной достоинства идиллической крестьянской жизни. Ностальгия народа по прошлым (догунновским, да, я имею в виду прежде всего догунновским) временам осмеивается и оплевывается, а выразители этой душевной неудовлетворенности объявляются замшелыми (квасными) утопистами,

престольное и непрестольное иноземство торжествует, и дело зашло уже так далеко, что трудно даже представить, каким образом русский люд сможет противостоять этому духовному поработительству. Произносимые время от времени с трибун призывы к благопристойности ничего, по сути, не меняют; они не находят почву, чтобы прорасти миролюбием и добронравием, ибо почва отравлена, настолько отравлена за тысячелетия ядом хищничества (и продолжает, и продолжает получать все новые и новые порции этого духовного ядохимиката), что спокойная, благодетельная жизнь предстает в общественном сознании уже не жизнью, а неким застойным болотом, некой первобытной замшелостью, до которой опускаются лишь народы недоразвитые, отсталые, неспособные сообразоваться с реалиями «нового бытия», к каковым, впрочем (в ряду множества других), иногда гласно, но большей частью негласно, в чем Запад достаточно поднаторел за века, относят славян. Делается это беззастенчиво, как беззастенчиво делалось и делается все, что способствует историческому обездоливанию, угнетению и порабощению народов, отнесенных (кем и для чего, можно только догадываться) к разряду «обладателей плоти», то есть рабов, если принять аристотелеву классификацию, тогда как «носители духа», узурпировавшие для себя право (бессмертное будто бы право) господствовать, повелевать,— «носители духа» точно так же, как они отменили в свое время славянскую культуру и цивилизацию (с помощью меча и креста), отменят, и я не удивлюсь этому, свидетельство древнегреческих историков о «славных Гипербореях». Не было таковых — и все, а значит, и не было великой (добронравной) славянской самобытности. Однако историю не раз уже принимались исправлять и перекраивать, но сей сизифов труд, надо сказать, еще никому не приносил успеха; «цивилизация», возведенная на крови и лжи, не может стоять вечно; подмытая потоками ею же пролитой человеческой крови и отягченная наслоениями лжи, она рухнет, как некогда рухнула вавилонская башня, оповестив мир о новом отсчете бытия.

VII

История — это беспрерывная (нарастающая) цепь взаимосвязанных, вытекающих одно из другого событий, и чтобы установить (пусть даже с приблизительной точностью), каким образом и когда начала проникать хищническая идеология на земли «славных Гипербореев» (венедов, венетов — славных, славного народа, славян), следует прежде всего обратиться к эпохе возникновения и разгула пиратства на Варяжском (Балтийском) море. Кстати, уже само это пиратство не позволяет ни норвежцам, ни шведам считать себя потомками «славных Гипербореев». Первые сведения о морских разбоях на Балтике восходят ко временам расцвета Римской империи, к предцезаревским и цезаревским временам присоединения Западной Европы к Риму. Из откалывавшихся (по разным причинам) от римских когорт отрядов легионеров, жаждавших самостоятельности и знавших только одно ремесло — нападать, грабить, убивать и захватывать,— начали сколачиваться пиратские шайки по образцу средиземноморских, имевших к тому периоду уже более чем тысячелетний опыт, и действовать на балтийских морских просторах, втягивая и обучая своему «делу» податливые на разбой норманнские и варяжские племена; пиратство на море сопровождалось и опустошительными налетами на прибрежных мирных славян и варягов, что, с одной стороны, нарушало их налаженный (идиллический) быт, а с другой — побуждало к ответной воинственности. К исходу последнего столетия до нашей эры размах морского разбоя на Балтике достиг таких размеров, что пиратские шайки начали сливаться в достаточно крупные воинские формирования, Варяжское (Балтийское) море становилось для них тесным, да и с прибрежных народов мало уже что можно было взять, и в этих условиях — условиях естественного ограничения — главари разбойных дружин вынуждены были искать выход; у многих еще на слуху и в памяти были рассказы о богатствах южных присредиземноморских стран (главным образом рассказы о сказочном богатстве Константинополя, к тому же не столь защищенного и более доступного для разграбления, чем неприступный и властный Рим), о солнечных

днях и теплых водах, о легкой добыче и о множестве других (с точки зрения безнаказанности разбоя) преимуществах, и эти рассказы, легенды, поветрия подталкивали варяжских главарей к поискам выхода на морские просторы благодатного юга. Никто не может сказать, сколько было предпринято попыток прорваться к Средиземноморью через центральную Европу, но известно лишь, что все они заканчивались неудачей, потому что у пределов Рима и Греции их встречали могущественные когорты имперских войск, и тогда-то и был найден обходной, то есть тот знаменитый «торговый», как трактует его наша официальная историография, дабы оттенить благородство пришедших к нам с мечом править Рюриковичей, а по сути — разбойный путь «из варяг в греки»; частью по рекам, частью волоком, минуя неусыпных римских стражей, пираты с Балтики беспрепятственно через днепровские пороги выходили прямо к Понтийскому (Черному) морю, к набитому золотом и драгоценностями Константинополю и, угрожающе осадив православную столицу, брали с ее императоров и патриархов дань (откуп) и тем же разбойным — уже «из греков в варяги» — путем возвращались к стылым берегам своего северного, Варяжского моря. Разумеется, подобная пиратская «прогулка» от моря к морю не всем приносила успех, многие малочисленные воровские шайки не выдерживали трудностей подобного перехода, гибли от болезней, истощения, стужи и голода, когда ранние морозы заставали смельчаков на обратном пути, реки схватывались льдом, а густые и болотистые леса устилались почти метровым слоем снега; иногда таким шайкам не только не удавалось достичь Константинополя, но и вообще пробиться к понтийским берегам, они в схватках с кочевыми племенами (главным образом с угрскими и болгарскими) гибли в припонтийских степях. Греческие (византийские) и арабские летописцы, современники и очевидцы всех тех удачных и неудачных варяжских разбойных набегов, во время которых опустошалось как южное побережье Понтийского моря, так и многие прибрежные районы Каспия, то есть владения персов, оставили достаточно подробные свидетельства о тех кровавых деяниях, когда страдавшая от них Византия (да и персы) вынуждена была отгораживаться крепостными стенами (на ближнем и дальнем подступах к Константинополю) и выдвигать к северным пределам своей державы форпосты (гарнизоны, если по-современному) для раннего оповещения и арьергардных схваток с появившимися варяжскими (пиратскими) шайками. Не одно, не два, а более шести столетий продолжалась эта пиратская вакханалия, эстафету которой затем подхватили наши достославные Рюриковичи — Олег, Игорь, Святослав, Владимир,— а в греческих и арабских источниках понятие «варяги» заменилось словом «русичи», хотя основу киевских дружин составляли, как и прежде, варяги, и этот этап нашей истории, этап шестивековых «прогулок» варяжских шаек через земли «славных Гипербореев», мне хотелось бы выделить как некий рассекающий сабельный удар по единой, целостной — от Дона, Днепра до Рейна — славянской самобытности. Тогда-то и полилась первая кровь из этой рассеченной раны, раны на теле идиллической жизни, и, возможно, как раз с тех пращурных времен началось разделение единокровных славянских племен на западных и восточных славян: анты, венеды — на востоке, белые хорваты, сербы — на западе. Пиратские шайки, направлявшиеся «из варяг в греки», разоряли и грабили по пути славянские селения (ведь и наши пращуры, как и другие народы, расселялись в те давние времена большей частью по берегам рек); воровские налеты были для пиратов вроде разминок перед предстоявшими сражениями, они нападали играючи, ибо народ, живший без войн, без хищнических притязаний на богатство, славу и власть,— народ этот, славянство в целом не было готово к подобному повороту событий; чтобы защититься, пращуры наши уходили в леса, в неприступные болотистые места, освобождая простор для словно бы пробивавших «просеку» варяжских разбойных шаек, и по этой «просеке» — «великому водному (торговому) пути из варяг в греки», как без устали твердят и наша норманнизированная наука, и официальная историография — шесть в лишним столетий сряду, да, шесть сряду и без передышек уводили наших плененных мужчин, юношей, женщин, детей в рабство, гнали по ней отобранный скот, жгли селения, расширяя границы своего разбойного «проспекта», везли награбленное добро, которое, рассеива-

ясь по свету, уже переставало быть добром и богатством, и, отрытое затем через тысячелетия археологами, подается уже как вещественное доказательство неких существовавших когда-то торговых и культурных сношений народов. На «проспекте» было несколько мест, где варяжские дружины останавливались, чтобы передохнуть, обменяться новостями, товарами, вволю покутить, повеселиться; из таких бивуаков стали возникать некие маркитантские (я специально усиливаю восприятие современной стилистикой) центры с первыми (на подступах к азиатским и византийскому) работорговыми рынками, и одним из таких центров была избрана излучина Днепра вблизи сарматских могильников, где позднее первый самодержец Первой Руси царь Германарих возвел, как уже упоминалось здесь, свой стольный град, а затем, спустя столетия, вознеслись к небу церковные купола рюриковической державной столицы. Тут следовало бы добавить, что до самого появления Рюрика с братьями и «со всей русью» в пределах Новгорода, водный (торговый) путь «из варяг в греки» оставался разбойным, ибо, когда отколовшиеся от Рюрика варяжские дружинники Аскольд и Дир решили уйти в Византию, дорога привела их в Киев, где они встретили своих гулявших соплеменников, так что, согласно преданию, варяги-откольники даже воскликнули: «Ба, да тут все свои!» Такова правда истории, и ее уже не отсечь от славянской судьбы; «просека» «из варяг в греки», пробитая пиратскими шайками, была и остается нашей первой кроваво-страдальческой дорогой к вратам ныне так властно торжествующей в мире хищнической (древнеегипетского, фараоновского образца) цивилизации. Однако общая самобытная жизнь славян, отстоявшая на сотни верст от «просеки», во многом оставалась еще не нарушенной, она продолжала идти своим размеренным идиллическим шагом, уповая на верховенство миролюбивых и добронравных начал бытия, как уповаем и мы сегодня, готовые заглотнуть любую сказку об «общем благе», не умея или не желая взглянуть в суровый (хищнический) реализм окружающей нас действительности.

VIII

Этим же водным (разбойным) путем в третьем веке пришли на пространство будущей «святой Руси» готские князья со своей многочисленной дружиной («со всей русью», если прибегнуть к тогдашней терминологии). Они, как свидетельствует история, задались целью создать на месте Византии свою Готскую империю. Перед готскими князьями был наглядный пример Рима, пример присредиземноморских поработительных войн, захватов и перезахватов территорий и возникновений на них новых государственных образований, а если сказать шире и обобщеннее — готы если не в совершенстве, то, во всяком случае, имели достаточно ясное представление о хищническом устройстве бытия и, податливые на разбой, как уже говорилось выше (и что вытекает еще из Геродотовых и Тацитовых характеристик германских племен), торопились, почувствовав приближение дележа и перекраивание мира, то есть восприняв самою цель хищничества как идеал и меру жизни, отхватить и для себя кусок дармового пирога; они спустились к берегам Понтийского моря, поработили кочевавшие там племена, затем двинулись в Дакию, во Фракию и, вторгшись в пределы Византии, осадили разношерстным своим воинством Константинополь. В первой книге «Призвание Рюриковичей...» достаточно подробно описана история создания Восточной и Западной Готии: на землях антов, венедов — Восточная империя, или Русь Первая, на землях Дакии и Фракии — Западная, угрожавшая Афинам и Риму. Но, думаю, нелишним будет здесь вновь вернуться к событиям той важной для нас эпохи так называемого широкого приобщения славян к зловеще расползавшейся по свету хищнической (двухцентровой, азиатско-древнеегипетской) цивилизации, поскольку появились некоторые новые подтверждения и мысли, изложение которых поможет читателю глубже уяснить суть описываемых здесь свершений. Наверное, впервые тогда за всю короткую еще историю Византии над ней нависла угроза порабощения, и она могла бы прекратить свое существование и пасть, как пала под ударами войск Магомета II, если бы не Соломонова мудрость византийских императоров и патриарха, на-

шедших способ, во-первых, откупиться и, во-вторых, указать готам на антов и венедов, на этих «славных Гипербореев», миролюбивых, доверчивых, добронравных, которых при их идиллической жизни (о чем было хорошо известно византийским императорам и патриарху) можно без усилий поработить и на их основе создать обширную и великую державу. Следует, однако, заметить, что идея эта, или, вернее, возможность «проникновения» в Россию к добронравным, миролюбивым, терпеливым и доверчивым «славным Гипербореям» с их не исчерпанным еще до конца пристрастием к идиллической жизни (хотя мы уже не «славные» и не «гипербореи» в глазах нынешнего «просвещенного» мира, а всего лишь некий оболганный и затюканный «никчемный народец»),— идея «проникновения» и нового захвата наших немереных богатейших просторов до сих пор все еще будоражит умы западноевропейских, а теперь уже и заокеанских правителей и политиков, не насытившихся за века богатствами и притеснениями до нитки обобранного ими на всех, да, почти на всех, континентах мира. Но это уже вопрос современности, вопрос текущей эпохи, и он требует особого разбирательства; я же затронул его потому, что горечь истории и боль современности для меня были и остаются единой и неделимой славянской судьбой. Готские князья оказались восприимчивыми учениками. Германарих, будущий царь будущей Руси Первой, двинулся с дружиной на антов, венедов, покорил племена мери, веси, чудь, мордву и основал державу. Возможно, если бы не гунны, мы жили бы сегодня в той первой нашей государственности, созданной на более мягких, добронравных основах (в предположении этом, разумеется, я опираюсь на исторические источники), однако, к сожалению, восточных славян — антов, венедов, «славных Гипербореев» — ожидала совсем иная доля. Но, прежде чем продолжить историческое повествование, позволю себе упомянуть здесь еще об одном любопытном наблюдении. Когда явились к нам Рюриковичи «со всей русью» и начали обосновываться в Киеве, они, по сути, повторили, только в куда более наихудшем, более поработительском (крепостническом) варианте, все то, что за пять столетий до них предприняли готы: воссоздали Киевскую Русь (словно по карте) почти точно в границах Руси Первой, и вслед за этим была предпринята ими попытка разбиться на два государства, если вспомнить известные походы Святослава на Дунай и в Болгарию (соответственно в Дакию и Фракию), где он тщетно силился поставить свой трон. Что ж, история повторяется, она идет по кругу, и неудивительно, что Рюрик с братьями и «со всей русью» вступил на нашу землю через тот же порог, что и готские князья, и за этим вступлением последовало тысячелетнее (семьсот и триста) рюриковическо-романовское иго; оттуда же, только разве что через окно, прорубленное Петром I в Европу, привалило к нам и семидесятилетнее коммунистическое поработительство, а теперь оттуда же — олигархический переворот, прикрытый понятиями «демократия», «права человека», «свободные выборы», в то время как за фасадом этих понятий коренной российский люд вновь и, как видно, надолго и основательно оказался отторгнутым от возможности созидать жизнь в соответствии со своими социальными и духовными потребностями, своим видением, восприятием и толкованием человеческого бытия. Выборы свободные, но, чтобы быть избранным во власть, нужны миллиарды на избирательную кампанию. Где и откуда может взять такую сумму простой, рядовой (звучит как «крепостной», то есть во всем задавленный, с одной стороны, государственным чиновничеством, а с другой — произволом банковско-промышленных олигархических групп) гражданин страны? А ведь если «свобода выбора» заключена лишь в том, чтобы только из олигархов выбирать правителей, это не выборы, нет, а все тот же вековой, каким потчуют простолюдинов, обман, преподносимый в новых и новейших упаковках.

Однако вернемся непосредственно к изложению истории.

IX

Готы хотя и основали на базе восточных славян (антов, венедов) державу, но жизнь «славных Гипербореев» не претерпела тогда каких-либо существенных изменений. Царь, бояре при царском дворе, дружина готская, дружина сла-

вянская, наместники по разбросанным вдоль рек селениям — вот и все, что можно сказать о первой нашей государственности, о Руси Первой, память о которой так тщились, немало преуспев в этом, вытравить из сознания русских людей Рюриковичи, затем Романовы и вожди «победившего пролетариата». Что стояло и продолжает стоять за этим усечением истории, можно только догадываться; во всяком случае, делалось и делается это не из добрых побуждений, ибо, пока народ темен, пока он пребывает в неведении относительно своих корней, своих истоков, то есть истоков своего бытия, он всегда будет озираться на вожака (великого князя, царя, генсека, президента), не столько вроде бы отнимающего, как это происходит на самом деле, сколько будто бы дающего или способного дать благо людям спасителя, без соизволения которого ни ступить, ни слова молвить да и жизнь не в жизнь, вернее, не в радость, а лишь в одну сплошную озабоченность, так что, да, низведенный до исторического невежества народ всегда будет озираться на вожака (великого князя, царя, генсека, президента) и благоговеть перед ним. Есть еще причина, по которой каждые воцарявшиеся на российском престоле правители, будь то в отдаленном прошлом, в средние века или теперь,— каждые воцарявшиеся на российском престоле правители почитали первейшим своим долгом (по примеру Аттилы, но, возможно, и Рюриковичей, а если посмотреть глубже и обобщенней — по примеру фараоновского стержня господства и рабства, исходившего на обетованные земли) очернить и предать забвению все прошлое того народа, над которым брались властвовать, ибо новая кабала, привносимая ими, могла выглядеть совершенством лишь в том случае, когда национальное достоинство, национальные традиции, национальная самобытность порабощенного людского сообщества оказывались безоглядно опороченными, изничтоженными и выброшенными на свалку времен. Гуннам не нужна была ни идиллическая самобытность славянства, ни история Руси Первой, и они, разбив Германариха и надругавшись над ним, обратили в пепел самою память о первой нашей государственности; авары, явившиеся вслед за гуннами, были убеждены, что мир начинался с них, с их могущества, и они поименовали (для начала) все оседло жившие и кочевавшие на славянских землях племена аварами; не нужна была память о прошлом и Рюриковичам, они объявили себя собирателями земли русской, основателями славянской государственности, духовности, культуры и т. д. и т. п., и в течение семи столетий, положив эту землю своей родовой собственностью, бились между собой за обладание ею, приводя на Русь печенегов, половцев, торков, берендеев и, по сути, отдавая им на растерзание коренной славянский люд (ведь это грамотеями от великокняжеских и царских «академий» был назван один из старейших европейских народов — славянский — молодым, едва будто бы начавшим выходить на арену действий и ничем пока не проявившим себя народом, то есть народом без истории, без корней); династия Романовых не мыслила себе иного отсчета времени, как только от года помазания царя Михаила; подобно гуннам, аварам, Рюриковичам, Романовым поступили и вожди «победившего пролетариата», объявив узурпаторский захват власти «новой эрой человечества» и представив не только наше российское прошлое, но и прошлое всего мирового сообщества унизительным и преступным заблуждением (впрочем, они были недалеки от истины, если бы не тянулись к жезлу мирового господства); теперь мы вновь, но уже ради неких демократических начал безоглядно втаптываем в грязь всю прожитую нашим народом жизнь, наши исторические уроки, и если еще не огласили, то вот-вот огласим торжество «новой эры». Что это будет за «эра», нетрудно вычислить уже теперь; это будет эра полного и бесповоротного господства хищничества, эра торжества зла над добром, торжества того наводнившего нас сегодня иноземного люда, который в основу своей духовности, в основу жизни положил развратную силу «золотого тельца». Мне жаль человечество, будущее его ужасно; ужасно то, что под напором хищничества окончательно уйдут с исторической сцены добронравные и миролюбивые народы, к которым прежде всего следует отнести славянство (да ведь и многие коренные народы Европы оказались уже к пятнадцатому столетию стертыми с лика Земли, так и не осознав истинной причины своей гибели), и вместе с их уходом (обращением в прах, поскольку хищничество не успокоится,

пока не доведет дело «разрушения Карфагена» до конца) прервется и нынешнее противостояние добра и зла, противостояние, в котором нет злу равных (уже потому, что зло есть зло и в достижении цели оно не останавливается ни перед чем), и начнется еще более жестокое противостояние зла со злом; я не завидую тем, кто доживет до этих последних схваток, до этого предела, когда в людях не останется ничего человеческого, и если кому-то сегодня покажется несостоятельным такое предсказание, что ж — ослепленный смолоду (личность, народ или народы), слепым и умирает, ибо только слепец, продолжающий жить иллюзиями прозрения, неспособен видеть, куда нынешние поводыри мира ведут человечество, поделив его на перворазрядных, второразрядных и третьеразрядных (так называемый «третий мир»), какую систему бытия они продиктовывают людским сообществам, лишая их национальных корней, национального достоинства, национальной самобытности. Путь, предначертанный древнеегипетскими фараонами (со стержнем господства и рабства), оказался, по сути, пророческим, добронравие не устояло перед насилием, и в срезе этого исторического торжества зла судьба славянства, возможно, являет собой самый выразительный и самый постыдный (для народа) пример смиренного восхождения на эшафот забвения. Так что история есть перманентная вязь преступных деяний, совершенных людьми над людьми, правителями над народами, и для нас, для славянства, вязь эта начинается с «просеки» «из варяг в греки», прорубленной пиратскими шайками через земли «славных Гипербореев», с явления готских князей, набросивших поработительскую (хотя и слабую, более видимую, чем реальную) сеть на идиллическую жизнь наших пращуров — антов, венедов, но, главное, с нашествия гуннов, после которого, подпав под беспрерывное престольное чужеродство, мы так до сих пор не можем ни осознать себя, ни восстановить свое национальное достоинство; не можем потому, что нас отлучали от наших корней, отлучали с жестокостью, которую вряд ли когда-либо и кто-либо сможет охватить и описать, и этот ужас насилий, ужас гонений и смерти выработал в нас, не мог не выработать две крайние меры защиты: спасение или выживание покорством, причем безоговорочным, к чему особенно приобщился русский люд за последние три столетия, из которых нынешнее, двадцатое, стало, по существу, беспрецедентным, и спасение или выживание бегством; бегством в леса, в непроходимые болотистые места, топи, то есть все дальше на восток, на север, в Сибирь, на тощие (с точки зрения земледелия), малоплодородные земли, лишь бы не терпеть над собой насилия, а в пик коммунистического разгула — в Среднюю Азию, на окраины бывшей Российской империи, к чуждым нам народам, ища у них сочувствия и защиты от мздоимных своих правителей и оставляя на произвол престольного чужеродства исконные славянские земли. Думаю, что и в этом явлении «обезлюдивания Руси» была своя дальновидная (на разрушение) и глобально продуманная (на уничтожение) политика, совпадавшая по цели с гуннской, аварской, хазарской, Рюриковичей, Романовых, а по сути, вытекавшая из деяний вышеперечисленных правителей и народов, так что вся наша история вплоть до нынешних так называемых демократических преобразований, когда две трети коренного российского люда одномоментно оказались на грани вымирания,— вся наша история вплоть до нынешних «преобразований» есть только предтеча к давно готовившейся тризне славян. Да, тризна не за горами, если мы не стряхнем с себя путы ротозейства и неведения (невежества), путы престольного чужеземства, и это не предсказание, построенное на песке, а суровая (хищническая, неумолимая) реальность. Но вместе с тем, хотя реальность и кажется неумолимой и необратимой, сквозь вековые наслоения мрачных красок, в центре уже будто бы сплошной черноты, как светился (если пристальнее всмотреться в историческую и текущую действительность), так продолжает и сегодня светиться огонек идиллической славянской жизни; это удивительно, непостижимо, но и неоспоримый факт, который говорит нам (по крайней мере должен сказать всякому трононезадействованному историку), что никакое насилие никогда не было и не может быть всесильным ни в деле отторжения народа (народов) от истоков его самобытного бытия, его корней, его истории, исторического предназначения, ни в деле навязывания чужеродных как социальных, так и духовных идеалов; несмотря на по-

луторатысячелетний, без передышек, режим престольного чужеродства, господствовавший на славянской земле, простолюдины-славяне, начиная с пращуров, оставались (разумеется, в пределах возможного) все теми же «славными Гипербореями», какими увидели их Геродот, Тацит, затем Помпоний Мела, Плиний, Солин и еще десятки древнегреческих, древнеарабских и римских историков, свидетельства которых, частью уничтоженные, частью разрозненно хранящиеся в церковных и государственных архивных арсеналах, лежат невостребованными (не востребованными славянством) ценностями прожитых веков. Все, что когда-либо и где-либо говорилось или писалось дурное о славянах,— все, все сегодня тщательно собрано, подшито, прокомментировано и пущено для духовного потребления, тогда как то, что относилось к беспредвзятым оценкам славянского бытия, славянской самобытности, лежит невостребованным, повторяю, грузом; можно, конечно, понять западноевропейских правителей, политиков, троноугодников, которые ничего, кроме порочащего и дурного, не хотят знать о нас (кстати, они готовы и Геродота с Тацитом обвинить чуть ли не в славянофильстве и опорочить в истории их имена), но невозможно понять своих, доморощенных (хотя бы и от престольного чужеродства) иерархов знаний, которые, солидаризовавшись с западноевропейскими историками, не сделали и шага к тому, чтобы восторжествовала истина о славянах, но, напротив, начиная с перволетописца Нестора, намного опережают в сем непристойном деле своих означенных выше зарубежных коллег. Явление это странное, если не сказать больше, хотя, впрочем, и достаточно объяснимое, поскольку для престольного чужеродства, продолжающего и поныне господствовать в России, на славянской земле, нет иной святости, чем святость своих властных интересов, и первым каноном этой святости значится канон исторического оскопления, исторического обездоливания коренного российского люда.

X

Именно на это явление, выраженное в пословице «бей свой своего, чтобы чужой духу боялся», обратил внимание выдающийся историк девятнадцатого столетия Сергей Михайлович Соловьев. В одной из своих многочисленных исторических работ, а точнее, в «Очерке нравов, обычаев и религии славян», он не без горечи констатирует, что «на иностранных писателей нравы славян производили благоприятное впечатление, и они отзывались об них с похвалою; вовсе не так снисходительны к древним славянским нравам и обычаям свои писатели, духовные христианские, которые с омерзением смотрели на все то, что напоминало о древнем язычестве». «В таком духе,— тут же добавляет историк,— писал и наш начальный летописец». Хотя С. М. Соловьев вроде бы только очертил проблему, к которой, впрочем, в разные времена в той или иной степени подступали (не решая ее) многие серьезные историки, и не оставил сколько-нибудь расширенных пояснений (он не упоминает ни о Геродоте, ни о Таците, ни о позднейших древнегреческих исследователях, открывших миру идиллическую жизнь «славных Гипербореев»), но, мне кажется, авторитет автора многотомного сочинения «История России с древнейших времен» в научном да и не только в научном мире таков, что вряд ли кто-либо осмелится опровергать или подвергать сомнению компетентность его высказываний. Да, он не обращается ни к свидетельствам Геродота и Тацита, в которых дана похвальная, если употребить терминологию историка, характеристика быта и нравов древних славян, ни к свидетельствам Помпония Мелы, Плиния, Солина, побывавших в стране «славных Гипербореев» и восторженно описавших ее, поскольку для него как для историка свидетельства эти являлись известной и абсолютной истиной, но считает нужным укорить за славяноненавистничество (иначе не назовешь) нашего начального летописца, который, исключив полян, имевших «обычаи кроткие и тихие, стыдливые перед снохами и сестрами, матерями и отцами, свекрами и деверями», а также придерживавшихся брачных союзов, нравы всех остальных славянских племен рисует только черными красками; древляне у него «жили по-скотски, убивали друг друга, ели все нечистое, брака у них не было, а похищение девиц»; родимичи, вятичи, северяне, близкие

по слагаемым бытия, обитали, если верить летописцу, «в лесу, как звери, ели все нечистое, срамословили перед отцами и перед снохами, браков у них не было, но игрища между селами, где, сговорившись, молодые люди похищали себе жен; имели по две и три жены. Если кто умрет, творили над ним тризну, сжигали труп и, собравши кости, складывали в малый сосуд и ставили на столп на распутии». Вопрос не в том, верить или не верить начальному летописцу; Геродот и Тацит, как и позднее Мела, Плиний, Солин, писали свои исторические свидетельства не по слухам, не с чужих слов, то есть не с чьей-то (злой ли, не злой ли — это уже другой разговор) памяти, но как очевидцы, ходившие в славянские (северные) земли и наблюдавшие жизнь славянских племен, тогда как наш начальный летописец характеризовал нравы и быт древних славян именно по слухам, с чужих слов, с чьей-то (злой ли, не злой ли, но скорее злой) памяти, и оттого его свидетельство, исполненное более воображенных, чем реальных картин, не может претендовать хоть на какую-либо, тем более полную, достоверность. Следует учесть здесь и то обстоятельство, что если начальный летописец и не был из тех «просвещенных» греков, которые, «приняв» на себя верховенство в церквах и монастырях, то есть встав у пульта «духовного руководства (духовного наставничества) нации», обращали вольных, пребывавших в язычестве славян в православных «рабов Божьих»,— если и не был из тех «просвещенных» греков, «просвещенных» западно-прислужных поводырей, коими и сегодня до предела наводнена наша российская действительность, то, во всяком случае, находился в полной зависимости и от великокняжеского двора, и от той «религиозной» борьбы (борьбы за утверждение на нашей земле престольного чужеродства), какую двор и церковь, насаждая византийщину, вели будто бы против язычества, как утверждалось тогда и утверждается теперь, но, в сущности, против народа, против славянской самобытности, и в силу этой зависимости не мог не держать сторону великокняжеского двора и церкви. Он выполнял, если говорить языком современности, социальный заказ, а точнее, был тем крайним (после меча и креста) исполнителем этого заказа, тем клерком при канцелярии самодержцев, которому отводилась роль увековечения лжи, вымысла и предвзятости, сочиненных в пользу укоренения престольного чужеродства как некой непредвзятой будто бы исторической истины. Церковь, служившая великокняжескому, а затем царскому престолу, ни в чем так не усердствовала, как в опорочивании и искоренении язычества (что было, повторюсь, равнозначно искоренению славянской самобытности, славянских корней, славянского национального достоинства в пользу насаждавшейся византийской «духовности»); летописец, как это происходит и теперь с троннокормящимися, а если шире — с западнотроннокормящимися «светилами наук» и «иерархами знаний»,— летописец в силу именно этих вышеизложенных обстоятельств не мог встать против течения и вслед за церковью (можно сказать, и за создававшимся общественным мнением, на что правители всегда были горазды), чуть ли не с большей рьяностью, как это следует из текста, принялся чернить «дикость» древнеславянского языческого бытия и противопоставлять ей христианское (от православия) спасительное смирение. Да и поляне, обитавшие по Днепру в районе Киева, были выделены им не случайно, ибо они первыми приняли крещение, с них началось оправославливание Руси, и по мысли летописца только они могли представлять собой образец благочестия. Тенденциозность подобного летописания очевидна, если, конечно, не представляет собой откровенное служение (или прислуживание) великокняжескому двору и церкви; она доказана фактами, которые, как ни переиначивай, как ни тасуй, как ни оправдывай с помощью лжетолкований, целенаправленных умолчаний и упований на святость древних писаний,— подделка под историю, как и всякая иная подделка под оригинал, останется подделкой, и только по невежеству (историческому невежеству, в каком держали и продолжают держать нас) народ хотя и недоуменно, но молчаливо (что по-своему знаменательно и говорит о многом) приемлет то (в назидательно-поводырском, поучительном плане), что подают ему со светских и церковных «просветительских» кафедр. Возможно, что многое из того, что начальный летописец отнес к нравам и обычаям древних славян (о чем, повторюсь, вряд ли имел хоть какое-либо даже смутное представление),

было всего лишь проявлением окружавшей его жизни, чему он не мог найти иного объяснения, как только объявить корнями языческой дикости; скорее всего, наверное, так оно и было, но в таком случае ценность творения начального летописца заключена уже не в том, что он донес до нас из глубины веков сведения о быте древних славян, а в том, что засвидетельствовал то разлагающее действие престольного чужеродства, уже более семи столетий господствовавшего на нашей земле, действие той привнесенной азиатско-древнеегипетской хищнической цивилизации, хищнического (фараоновского образца) миропорядка, под воздействием которого идиллическая жизнь «славных Гипербореев» приняла характер некой присредиземноморской или варяжско-гуннско-аварской дикости. Думаю, не обошлось здесь и без преувеличений, ибо чего только и ныне не сваливают на прошлое, поскольку у прошлого, особенно у исторического прошлого народа, никогда не было, как свидетельствуют века, и нет, как подтверждает текущая действительность, защитников, оно безгласно, хотя, представленное в «нужных» правителям и церкви красках (в красках борьбы за трон, за отечество), обладает самой, может быть, могучей силой воздействия на простоватые и доверчивые души людей. Достоверность фактов, изложенных начальным летописцем, в ряде случаев подвергает сомнению и другой наш знаменитейший историк Николай Михайлович Карамзин. Сопоставив греческие и арабские источники о походе Олега в Византию, когда киевский Великий князь повесил свой щит на вратах Царьграда, с текстом летописи, Н. М. Карамзин обнаружил весьма и весьма странное разночтение в оценках и подробностях происходившего. Олег, как известно, обложив Константинополь, не сразу решился на штурм города, а прежде пустил дружину опустошать окрестности; грабеж, естественно, сопровождался насилием, о котором в греческих и арабских источниках сказано только, что киевские варяги (у Нестора «россияне», что придает событию несколько иное освещение, хотя Карамзин, говоря об Олеговом воинстве, преимущественно употребляет слово «варяги») отбирали у византийцев все, что можно было отобрать, сжигали их дома и умиротворенными возвращались в стан, тогда как Нестор «в доказательство своего беспристрастия,— как замечает Карамзин,— изображает самыми черными красками жестокость и бесчеловечность россиян». Они, то есть россияне, «плавали в крови несчастных, терзали пленников, бросали живых и мертвых в море». «Так некогда поступали гунны и народы германские в области Империи»,— констатирует Карамзин, не желая пока еще вступать в полную полемику с начальным летописцем (как-никах, а святость древних писаний оказывала и на него свое магическое воздействие), но сочетанием гуннов с германскими народами уже давая понять, что не может признать за россиянами подобной жестокости. «Так в сие же самое время,— дополняет историк,— норманны, единоземцы Олеговы, свирепствовали в Западной Европе». Тут уж, как видим, прочитывается более откровенное сомнение, дескать, если творились жестокости, то они исходили от варягов (норманнов), занимавших господствующее положение в Олеговом войске и определявших, если позволительно так выразиться, жестокость и бесчеловечность ведения кампании. Исследовав эпизод с отравленными съестными припасами, какие отцы Царьграда в знак будто бы умиротворения направили Олегову войску, Карамзин приходит к еще более жесткому заключению и пишет, что «если подозрение Олегово,— как говорит Нестор,— было справедливо, то не россиян, а греков должно назвать истинными варварами X века». Нестор, по мнению Карамзина, без какого-либо «критического подхода» перенес в летопись обросшие уже сказочностью эпизоды знаменитого похода киевского Великого князя на Царьград, и, давая общую оценку Несторову творению, заключает, что «главное обстоятельство, что *Олег ходил к Царьграду и возвратился с успехом* (курсив Н. М. Карамзина), кажется достоверным». Разумеется, я не собираюсь перечеркивать труд нашего начального летописца, но хочу заметить, что к любым древним или старинным источникам нужно относиться с куда большей критичностью, чем это принято как в официальной, так и неофициальной нашей историографии, ибо они, летописи, сочинялись, как бы нам ни хотелось отрицать это, не для увековечения правды истории, а для потребностей трона, точнее, потребностей престольного чуже-

родства, державшего в кабале и крепостничестве коренной славянский люд. Во-первых, до гуннов, аваров и Рюриковичей со стороны славянских племен история не зафиксировала ни одного похода, нашествия или набега на Грецию и Византию, идиллическая жизнь «славных Гипербореев» совершенно исключала подобные замыслы; во-вторых, даже начальный летописец не скрывает, что Олег задумывал свой поход на Царьград как разбойный, но если ближе к истине — варяжско-разбойный, а находившиеся в войске киевского Великого князя коренные славяне выполняли лишь второстепенные, вспомогательные функции (о чем свидетельствует дележ дани, когда по возвращении в Киев дружина князя, то есть варяги, была наделена самыми щедрыми вознаграждениями, а славянские воины распущены по домам с княжеской благодарностью), так что о каком славянском варварстве, славянском беспределе, славянской жестокости может идти здесь речь? «Славные Гипербореи» никогда не посягали и не собираются посягать на чужие богатства и земли, история более чем подтверждает это, но с легкой, как говорится, руки начального летописца за нами, как тень, неотступно следует ярлык дикости, дикарей, живших в лесах и имевших звериные нравы и обычаи («младенческий народ», когда в мягкой форме хотят унизить нас, народ без корней, без истории), и ярлык агрессивности, усиленный столь же нелепым, как и в прошлом, не имеющим никакого отношения ни к историческому, ни к текущему бытию славян наслоением новых и новейших деяний престольного чужеродства.

XI

Начальная летопись (будем считать ее таковой, чтобы не во всем и не до конца противоречить официальной историографии) составлялась Нестором в то время, когда окрещенная Владимиром Русь была уже православной, хотя между внедрившейся в наш духовный мир византийской церковью и язычеством, то есть древнеславянской самобытностью, шла еще достаточно ожесточенная схватка (из уцелевших источников известно, что она длилась около двух столетий, да и после окончательной победы новой — спасительной — веры вспыхивали еще протесты, часто завершавшиеся кровавыми столкновениями), и схватка эта, схватка престольного чужеродства с коренным славянским людом, в которой престольное чужеродство, усиленное единством великокняжеского двора и церкви (на престоле и вокруг престола варяги, в церкви — греки), было уже неколебимо в своем господстве,— церковно-языческая схватка и явилась, по сути, главным фактором, исторически и нравственно повлиявшим на начального летописца. Он не был ни участником, ни очевидцем знаменитого похода киевского Великого князя на Царьград, но пользовался, с одной стороны, народной молвой, нарекшей Олега вещим за то, что тот «увенчал», побив и пограбив прежде византийцев, славою и дарами Киев, а с другой — не мог не считаться с укоренившимися уже на нашей земле греческой (византийской) государственностью и греческой (православной, с абсолютизмом церковной власти) духовностью и с обстановкой почитания (начиная с великокняжеского двора) греческой просвещенности, кстати, далеко не бескорыстной, о чем не раз уже упоминалось выше, а в сущности, с тем низкопоклонством перед закордонными наставниками, которое, если проследить эволюцию этого явления в столетиях, прожитых нами под дланью престольного чужеродства и церкви, вполне можно назвать непреходящей драмой славян. После Олегова похода (и со времен Владимирова крещения) обстановка в Киевской Руси так кардинально изменилась, что не только Нестор, будь он даже единодуховным соплеменником народа, но и никто не смог бы сделать больше того, чем сделал он; киевские Великие князья, потерявшие с принятием христианства самостоятельность и ставшие византийскими стольниками (кстати, об этом наши историки почему-то предпочитают умалчивать, хотя стольничество продолжалось до самого падения Византии, до княжения Ивана III, когда вместе с супругой — греческой царевной Софьей — он как бы в преемственность получил все атрибуты византийской державной власти),— киевские Великие князья уже не думали о походах на Царьград, а как стольники, как подданные (и по линии свет-

ской, и по линии духовной, набиравшей могущество), вынужденные угодничать перед греками, с разными целями прибывавшими в Киев и наводнявшими Русь, принуждали к подобному же угодничеству и родовитых (все они были выходцами из варяг) бояр, и церковное духовенство, в котором являлись уже и славянские пастыри, и прихожан, то есть коренной славянский люд, который должен был смотреть на всякого грека как на мудреца, явившегося к невежественному славянству, чтобы открыть спасительную истину бытия. Нестор, естественно, как и всякий летописец для своего времени, не мог абстрагироваться от окружавшей его действительности, и я совершенно далек от мысли в чем-либо обвинять его; более того, мне кажется, подобному влиянию с самых древнейших времен и на протяжении всех веков подвергались и начальные, и неначальные летописцы и историки (большинство из которых, по сути, были придворными), и вопрос заключается не в том, чтобы опровергать или отвергать писания этих часто безвестных фиксаторов истории, а в том, чтобы неколенопреклоненно, а с достаточной мерой беспредвзятости, сомнения и критичности оценивать как древние рукописные свидетельства, так и сочинения, относящиеся к новым и новейшим временам. Если бы Нестор был человеком независимым, как предлагается нам воспринимать древних летописцев, а не принужденным силою обстоятельств угодничать перед великокняжеским двором и церковью, он не стал бы (даже независимо от его тогдашних исторических познаний) занимать чью-либо сторону в изложении событий, как это было сделано им в пользу великокняжеской (варяжской, то есть чужеродной на славянской земле) власти, и не принял бы однозначно сторону Церкви (опять-таки византийской, чужеродной духовности) в ее борьбе со славянской самобытностью, не стал бы изображать славян в язычестве, то есть наши древние нравы и обычаи дикими, варварскими, звериными, и не взялся бы упрекать не только в чрезмерной, но хоть в какой-либо жестокости, как позволил себе это в описании Олегова похода на Царьград (а ведь знал, не мог не знать, что главенствовали и заправляли всем в этом походе варяги), но, внимательней присмотревшись к окружавшей его жизни, к жизни «застолбленных» Рюриковичами для дани полян, древлян, кривичей, родимичей, вятичей, северян, которые, будучи уже многократно порабощенными, все еще сохраняли верность своей славянской — на основах добронравия и миролюбия — самобытности, если бы и не пришел к мысли о возможности идиллического их в прошлом мироустройства, то, во всяком случае, не смог бы не заметить той характерной черты, которая как и сегодня, так и тогда отличала славян от соседствовавших с ними, скажем, германских (норманны, варяги) или азиатских (гунны, авары, хазары) племен и что в перечислительном (обобщенном) значении могла бы прозвучать как изначальное и полное неприятие хищнических основ бытия, как неистребимая потребность к проявлению добронравия, миролюбия, доверчивости, перешедших уже в стадию национального бедствия, как привычка (от гуннских времен) к покорству, терпению и смирению, возведенных затем спасительным христианским учением в жизненный абсолют,— да, не смог бы не заметить этих вынесенных славянами из своей древней самобытности «пороков» (этого пагубного простофильства, совершенно несовместимого с понятиями жестокости и дикости), которые бы сказали ему, как говорят или по крайней мере должны говорить каждому, кто берется за исследование славянской истории и современности, каких нравов и обычаев придерживался и продолжает придерживаться (несмотря на пятнадцативековое давление хищничества) исполненный трагизма русский народ. Но Нестор не сделал этого; не сделал именно в силу обстоятельств, принуждавших его служить рюриковичеву великокняжескому двору и церкви, и таким образом правда о славянах, о нашей исконной самобытности осталась не только за порогом внимания самого́ начального летописца, но и за порогом внимания всех последующих (вплоть до нынешних времен) исследователей и толкователей процесса развития восточных да и не только восточных славян. Летописцы, следовавшие за Нестором, имея перед собой образец или опыт в подаче исторических и текущих событий, когда и видимость правды вроде бы соблюдена, и великокняжеский двор с церковными иерархами довольны, до такой степени совершенства довели дело искажения и предания забвению славянской истории, что, кро-

ме семисотлетнéй междоусобицы, какую Рюриковичи вели, по сути, от начала и до завершения своего узурпаторского правления, привлекая печенегов, половцев, торок, татар для достижения своих целей и отдавая им затем в счет оплаты за «услугу» на разграбление коренной славянский люд,— кроме этой семисотлетней междоусобицы, часто преподносившейся так, будто не князья, а народ выступал в ней заглавной силой, выбирая покровителей, то есть то призывая, то изгоняя претендентов на киевский великокняжеский стол, равно как и претендентов на княжеские наделы, открывавшие доступ или право к «родовой собственности», каковой Рюриковичи считали славянскую землю и обитавший на ней коренной люд (о чем более чем выразительно говорится в очерке С. М. Соловьева «Русская летопись для первоначального чтения»),— да, кроме этих кровавых династических разборок, княжеских побед и поражений, если суммировать летописные тексты, в них нет ничего, что могло бы дать действительно реалистическое представление об идиллической (на первом этапе) и трагической (после готского, гуннского, аварского, хазарского и варяжского нашествий) жизни восточных славян. Мы оказались не просто отлученными от подлинной своей истории, которая одна только может вдохновлять любую нацию к жизни, то есть делать народ жизнестойким и жизнеспособным, но отлученными целенаправленно, для утверждения среди славян чувства безродности, а значит, и беззащитности, утверждения невежества (это относится ко всем областям знаний), обрекающего нас на второразрядность или даже на третьеразрядность в семье неких «просвещенных» будто бы народов и ставящего нас в положение младенческого (экая снисходительность!), а по сути, несостоявшегося народа (каковым, впрочем, независимо ни от каких наших усилий упорно продолжают и сегодня считать нас на «просвещенном» Западе), наконец, для утверждения в нас (в виде незыблемого канона жизни) покорства, смирения и терпения как главнейших идеалов христианской (православной) веры, суть которой заключена в формуле незыблемости царских (для одних) и рабских (для других, для народа) устоев,— нет, нет, мы не просто, а целенаправленно на протяжении веков отлучались или отрезались от своих исторических корней и подпитывались (пустоту надо было чем-то заполнять) историей варяжских на нашей земле княжеских разборок, и не случайно ни Романовы, пришедшие на смену Рюриковичам, ни вожди «победившего пролетариата», явившиеся на смену Романовым на российском престоле, не только не разрушили сию возведенную вокруг нашего исторического и текущего бытия, исторического и текущего трагизма стену умолчания и забвения, но, напротив, нарастили и укрепили, да так, что уже и горизонта не разглядеть за упершимися в небо трезубцами, да и нынешние правители, поименовавшие себя демократами, похоже, что тоже, по всем видимым и невидимым симптомам своих деяний, не собираются разрушать ее.

XII

Упрекая летописцев в искажении и замалчивании собственно славянской истории, мы, мне кажется, вправе высказать еще больший упрек нашей германизированной (или норманнизированной, что при многовековом господстве престольного чужеродства не должно вызывать удивления) исторической науке, нашим светилам знаний, включая и Карамзина, и Соловьева, и Костомарова, которые, вместо того чтобы проникнуться сутью вставшей уже тогда перед ними славянской проблемы (назовем ее так, ибо отсечение любого народа от его исторических корней есть проблема, далеко выходящая за рамки десятилетия или столетия, а равнодушие или невнимание к ней сродни приговору, обрекающему то или иное людское сообщество на вымирание), то есть, вместо того чтобы с определенной долей критичности подойти к дошедшим до нас летописным спискам и с поправками на возможное или скорее неизбежное троноугодничество, тронопоклонство фиксаторов старины выделить из их сочинений те зерна правды, которые имеются там и по которым можно было бы представить действительно реальную картину происходивших событий, а не возвеличивать вслед за летописцами (иногда даже с молитвенной страстью) разбой-

ные походы наших властителей и не подменять историю народа историей княжеских (дворцовых) разборок и митрополитовых и патриарших противоборств,— вместо служения народу, чего все мы и сегодня вправе ожидать от иерархов исторических и философских знаний, творцы, или, вернее, составители, летописной истории не нашли и не находят ничего лучшего, чем только, оглядываясь на новейшее престольное чужеродство и гласно и негласно кормясь от него, следовать стезей Нестора, стезей искажений и замалчиваний столь нужной славянскому люду исторической и текущей правды. Явление это можно было бы назвать странным, но более чем тысячелетняя живучесть его не позволяет ограничиться только подобным определением, ибо если короткомыслие простительно начальному летописцу, который не знал или не мог знать ни о характеристиках Геродота и Тацита, данных славянским племенам в противоположность германским, ни об идиллической жизни «славных Гипербореев», какую ученые древности Помпоний Мела, Плиний, Юлий Солин открыли для своего античного (рабовладельческого) мира, ни о Руси Первой, созданной готскими князьями на основе славянских племен антов и венедов, ни, естественно, о самобытной славянской цивилизации, взраставшей на началах добронравия и миролюбия, ностальгия по которой, как неистребимая в народе память о ней, и сегодня гложет каждого русского человека, то простительно ли подобное короткомыслие историкам позднейших времен, особенно историкам восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого столетий, перед которыми, по существу, лежал уже весь срез не только славянской, начиная от древнейших времен, но и всемирной истории, но которые тем не менее, продолжая игнорировать все открывшиеся новейшие источники о нравах и быте славян, об идиллической, а затем трагической их жизни, принялись насаждать версию о загадочности русской (славянской) души, выдвигать некую «русскую идею» в противоположность нормальным, естественным потребностям бытия, отнятым рюрико-романовской державной властью (престольным чужеродством) у коренного славянского люда, о некоем нашем младенчестве, то есть о недоразвитости, поскольку-де государственность у нас — от варягов, духовность — от греков, культура — от античности, а цивилизация — от Древнего Египта (Египта фараонов и рабов, над чем менее всего мы должны были задумываться, то есть вообще не думать о системе господства и рабства, о рабах, а думать только о фараонах и значении изваяний, украшавших их дворцы, храмы, и о величии пирамид), да, да, в третий раз повторю, простительно ли подобное короткомыслие новейшим историкам, заполнившим просветительскую нишу последних веков этими своими измышлениями, этой своей псевдоисторией, полагая, видимо, что, подменив истину ложью, они обращают ложь в истину? Выходит, что славянство, не уступающее по древности ни одному из европейских народов, тактаки ничем и не проявило себя на исторической арене действий и, занимавшее более двух третей европейской территории (от Днепра до Рейна и от Варяжского моря до Средиземного), вдруг, на экваторе второго тысячелетия от Рождества Христова, объявляется молодым, без корней и родства народом, к которому, чтобы подключить его к европейскому цивилизованному миру, устремляются некие будто бы воспылавшие «услужить соседу» родовитые чужеземцы и, покорив мечом и крестом, принимаются кроить для него (по своим отработанным лекалам) и шить (разумеется, на свой лад и с учетом своих ближних и дальних интересов) исторический кафтан, в который затем и обряжают нас (подобно нынешним кокошникам, сарафанам, рубахам с петухами, витым с кисточками поясам и шапкам-ушанкам, словно только в этом и заключена наша корневая народность), и одной из главных составных этого «исторического кафтана», стеснившего или, вернее, затормозившего, а еще вернее, застопорившего наше развитие, является отрафареченная под истину ложь о некоем будто бы призвании славянскими старшинами варяжского князя Рюрика с братьями «владеть и править» нами. Я не случайно во второй раз обращаюсь к этому ключевому вопросу нашей истории, поскольку либо мы действительно беспомощны в этом мире сообразовать свою жизнь, либо, окольцованные обвалами исторической и текущей лжи, просто-напросто не в состоянии разглядеть той искомой рассветной полосы, к которой должны наконец направить свое движе-

ние. К тому времени, когда монах Киево-Печерского монастыря Нестор принялся за написание «Повести временных лет», то есть составление первого нашего летописного свода, засветив лампаду перед образом Христа в своей тесной с голыми, мрачными стенами келье (авторство, или, вернее, соавторство, «Повести...» приписывается еще и летописцу Никону, игумену того же монастыря), в народе, как это следует из позднейшей, известной лишь Татищеву Иоакимовой летописи (на нее, впрочем, ссылается и Костомаров в своих исторических изысканиях), было распространено предание (или легенда) о том, как новгородский князь Гостомысл, потерявший сыновей в одном из сражений (с варягами, разумеется, которых изгонял из славянской земли), мучительно думал, кому передать свой княжеский стол. Детей он уже не мог иметь, был стар и, чтобы найти выход из положения, отправил послов к вещунам в Земигул, чтобы спросить: как ему быть? Оставалась надежда на дочерей, которые были замужем за варяжскими князьями, и вот однажды, уже на исходе жизни, Гостомыслу видится сон, «будто из утробы средней дочери его Умилы вырастает (привожу текст по Н. Костомарову) огромное плодовое дерево, осеняет великий град, а люди всей земли его насыщаются от плодов этого древа». Князь снова направил послов к вещунам, и они истолковали ему этот сон так: «От сыновей ея (Умилы) иметь наследити ему землю, и земля угобзиться княжением его». Далее, заботясь, может быть, о доступности восприятия, летописец поясняет, что «Умила была замужем за русским князем», заметим, не славянским, а именно русским, то есть князем некоего соседствовавшего народа, что «у нее было трое сыновей: Рюрик, Синеус и Трувор» — и что «этих-то сыновей русской матери (здесь, как видим, происходит уже полное смешение понятий и сама Умила названа уже не славянской, а русской матерью) и позвали народы русского материка». Тут летописец и вовсе стирает грань между словами «русское» и «славянское», что естественно и объяснимо, если учесть, что предание записывалось в пору бурного становления Киевской Руси. Что ж, предание как предание, но я не думаю, чтобы оно было распространено в народе, ибо в эпоху рождения и укрепления российской государственности, эпоху навязывания нам византийской светской и духовной державности, когда народ был отделен от власти, как он отделен и теперь (да и во все семьсот лет правления Рюриковичей, триста — Романовых и семьдесят — вождей «победившего пролетариата»), был узаконенно бесправен, то есть поставлен в унизительное положение относительно варягов и греков, наводнявших Киев и соответственно окольцевавших великокняжеский двор и ставших во главе церковных иерархических структур, относительно этих иноземцев, ходивших в боярах, воеводах, дружинниках, старшинах, тогда как коренное население, именовавшееся не иначе как смердами, соприкасалось с властью лишь в качестве данников, принужденных содержать эту вставшую над ним кабальную силу,— нет, не думаю, чтобы терпевший лишь насилие от так называемых «призванных» варяжских князей народ мог сложить и сохранять в памяти в общем-то достаточно лестное для Рюриковичей, или, вернее сказать, узаконивающее их права на власть, предание. Скорее всего оно возникло в великокняжеском варяжско-греческом окружении как откровенное оправдание их узурпаторского главенства над славянским людом (как оправдание престольного чужеродства) и если и переносилось в народ, то лишь через церковь, державшую смердов в духовном повиновении, и тут без каких-либо сомнений можно предположить, что начальные летописцы Нестор и Никон были достаточно осведомлены о существовании такого предания. Знал о нем и Н. М. Карамзин. И хотя в многотомном историческом труде не стал пересказывать содержание предания, но заметил, что если в действительности все происходило так, как отражено в «народной молве», то «Гостомысл достоин бессмертия и славы в нашей Истории». Почему, за какие заслуги он решил возвеличить Гостомысла, Карамзин не уточняет; но из этого высказывания можно сделать вывод, что историк больше доверял преданию, чем свидетельствам монаха Нестора и игумена Никона, которые и в самом деле в своих писаниях настолько отошли от текста предания, как если бы такового не существовало и вовсе; да, возможно, Карамзина смущал этот недопустимый в исторических изложениях метод произвольного обращения с фактами исследуемых

ушедших лет, и он выразил, насколько это было возможно, своеобразный протест; однако многое в таком объяснении не увязывается с целостным представлением об историке, поскольку всем дальнейшим ходом исторического повествования Карамзин буквально опровергает этот столь пафосно высказанный тезис, когда говорит о начальных шагах Рюрикова правления и деяниях всего его рода — обезглавливании славянских старшин в первый же год по «призвании», восстании новгородцев под предводительством Вадима и кровавом подавлении этого восстания Рюриком, о политике рэкетирства («столбления» славянских племен для дани, позднее названного «собиранием Русских земель», о чем подробно уже рассказывалось в первой книге этого повествования), да и всей семисотлетней княжеской междуусобице, развязанной Рюриковичами за право владения родовой (так они воспринимали славянскую землю и населявший ее коренной славянский люд) собственностью, междуусобице, по масштабам бедствия сравнимой разве что с нашествием гуннов, так что карамзинская противоречивость еще требует основательной расшифровки. Точно так же, не отрицая самого факта «призвания» варягов на княжение (несмотря на всю очевидность и целенаправленность этого, одномоментно поставившего нас в зависимое и унизительное положение), Н. И. Костомаров и С. М. Соловьев, как это вытекает из их исторических трудов, более склонны доверять преданию, чем измышлениям Нестора и Никона, и здесь мы, в свою очередь, сталкиваемся со своего рода загадкой, которую, впрочем, не так уж и трудно разгадать.

XIII

История подтверждает, что вместе с христианством, может быть, даже несколько опережая его, пришли к нам на Русь и монастырское мышление, и отшельничество, скитство, ставшие позднее одной из составных (авангардных) частей экспансионистского движения российских правителей на восток, к таежным просторам Сибири; но на начальном периоде отшельничество, скитство, особенно отшельничество пещерное, восходящее истоками к Древнему Египту, к эпохе пирамид, имело совсем иную, можно сказать, необычную для языческого славянства (для «славных Гипербореев») цель — подготовительную — для планировавшегося Византией, ее императорской и церковной властью широкозахватного поработительского духовного вторжения в идиллическую (пластилино-податливую, если выразиться современным языком) жизнь славянских племен, для чего территория будущей России была уже объявлена константинопольским синодом Шестидесятой Восточной православной епархией. Монашество и отшельничество — это, по сути, уход или бегство (спасение, как трактует христианское учение) от невыносимых условий кабальной жизни; порыв же этот, я бы назвал его вынужденным, чисто человеческим, когда люди начинают искать убежище от тягот бытия,— душевный порыв этот, возведенный церковными иерархами в канон высочайшего благочестия, был не случайно взят ими как самый могучий (на том, разумеется, этапе) инструмент религиозного воздействия на массы простолюдинов; княжеские поборы, бесправие, насилие — все это, составлявшее социальный и духовный фон жизни, угнетало простолюдинов, а церковь, как она делает это и сегодня, открывала страдающим и страждущим дверь к познанию так называемой внутренней свободы, к монашеству, отшельничеству, к отречению от семьи, от себя, от собственности, возводя этот убийственный или самоубийственный аскетизм до вершин служения Богу, нищета и невежество ставились выше богатства и власти, а люди, подвергавшие себя подобному физическому и духовному истощению, объявлялись блаженными, познавшими Бога и смысл бытия, то есть обретшими спасение, и получали от подобной своей «праведности» (с подачи церкви, главное же, во благо ее упрочения) влияние не только на простолюдинов, но и на великокняжеское окружение, иногда и на самого Великого князя. Хотя монастыри начали возникать у нас сразу же после святого (Владимирова) крещения, но широкое разветвление они получили лишь при Ярославе, а при его сыновьях, когда отцовский великокняжеский стол занял старший из сыновей, Изяслав, на крутом берегу Днепра появились первые пещерные отшельники, отрывшие се-

бе ниши в глиняных уступах и обосновавшиеся в них. Так возник Киево-Печерский монастырь, истории которого следовало бы посвятить целую книгу (он стал центром нашей ущербной духовности и долгое время поставлял епископов, архиепископов и митрополитов в православную церковную иерархию), но я вынужден ограничиться здесь только двумя именами, Антонием и Феодосием, которых по праву считают основателями этой нашей заглавной христианской обители. Благочестие сих отрешившихся во имя служения Богу от мирских благ в свое время не подвергалось никакому сомнению, о них знали в Киеве и за его пределами, их почитали, к ним приходили за советами, приходили с просьбами о заступлении перед князьями и судьями, и, пользуясь своим «духовным превосходством», как это «превосходство» толковалось церковью и в народе, преподобные часто оказывали на князей и судей благотворное влияние. Из этих монашеско-княжеских общений постепенно возникала более тесная связь, и уже Ярославовы сыновья Изяслав и Святослав, попеременно занимавшие отцовский великокняжеский стол (то Святослав изгонял Изяслава, то Изяслав вновь водворялся в Киеве), не брезговали при нужде сходить в монастырь и поклониться преподобным «Божьим людям», готовым, как утверждали сами эти «Божьи люди», денно и нощно молиться за княжеские «добродетели» и за их «богоугодные» мирские деяния. Не гнушались приглашать достойных из чернорясников во дворец и вести с ними нравоучительные беседы. Конечно, беседы эти не были простыми, и нельзя их рассматривать только в нравственном аспекте; ведь между великокняжеским двором и церковью никогда не было вражды, а если и намечались расхождения, то они чаще всего относились к бытоустройству, к чистоте нравов, к соблюдению христианских заповедей, преподобные отцы отстаивали свою монашескую точку зрения, князья — свою, резкости обращались в сближающие церковь и власть постулаты, и первыми, кто проложил дорогу к этому давно уже ставшему традиционным тронно-церковному сближению, были Антоний и Феодосий. Их подвижническая деятельность в пользу церкви и власти, в пользу насаждения православия и державности еще как следует не оценена в нашей отечественной истории, какое «просветительство» они действительно внесли в языческую, исполненную свободного труда и оптимистического восприятия жизнь славян и чем в конце концов, какой ущербностью, нищетой и каким бесправием и невежеством обернулось это «просветительство» для новоиспеченных «рабов Божьих»,— да, деятельность их и их последователей в успехе византийской духовной экспансии далеко и далеко не оценена ни в нравственном, ни в социальном планах, но для своего времени они были религиозными кумирами, и умение поставить себя вровень с Великим князем и перечить ему, тогда как князь из опасения прогневить Бога не решался по-княжески одернуть их, делало отшельников людьми сильными и властными. Конечно, не каждый мог нести на себе бремя подобной власти, когда приходилось истощать плоть и отказываться от мирских искушений, но и у такой судьбы, вернее, этого предназначения, находились последователи не только из терпевших страдания смердов, но и из детей боярского и княжеского происхождения, которые (в силу разных причин) оказывались обделенными светской властью. Уже на первом этапе становления Киево-Печерского монастыря явился к отшельникам сын киевского боярина, и тогдашний игумен монастыря Никон совершил над ним обряд пострижения. Затем явился на пострижение принадлежавший к великокняжескому двору скопец Ефрем (в житии преподобного Феодосия уже упоминается его имя), и, возможно, с этих двух высокородных подвижников в монастырском движении, как, впрочем, и в общецерковном, начало проявляться княжеское влияние и княжеское (высокородное) верховенство. И Никон, и оба его постриженца уже через год получили иерархическое продвижение: Никон был направлен в Тмутаракань, а на его место был поставлен отец Варлаам (Ефрем до крещения), а затем, по желанию князя, переведен игуменом в монастырь святого Дмитрия в Киеве. На этих обстоятельствах я специально заостряю внимание, чтобы в дальнейшем, когда речь пойдет непосредственно о начальных летописцах Несторе и Никоне, можно было бы высказать хотя и спорное (в нашей истории вообще достаточно много неуточненного и спорного), но, возможно, и близкое к истине предполо-

жение о том, кем были зачинатели нашей рукописной истории, выходцами ли из смердов, из боярских и княжеских семей или из тех «греческих грамотеев», взявшихся за составление нашей истории, о которых так иронично иногда отзывались и Карамзин, и Соловьев, и Костомаров. Не совсем понятно, например, почему Костомаров, написавший книгу «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей», не включил в нее ни жизнеописание Нестора, ни жизнеописание Никона, тогда как «подвижничество» сих наших начальных летописцев составляет целую эпоху в отечественной истории; то ли потому, что не смог собрать сведения о них (жития их, как можно предположить, были варварски сожжены во время татаро-монгольского нашествия, как и большинство церковных и светских писаний), но, возможно, и по иным мотивам, то есть по недоверию к ним, ибо именно он, Костомаров, с оттенком почти нескрываемого неприятия назвал их «греческими грамотеями». Но, думаю, ирония и сарказм более уместны в сатирических и художественных полотнах, чем в исторических трудах; нам же важно с максимальной приближенностью выяснить, или, вернее, восстановить, ту социальную и нравственную атмосферу времени, те обстоятельства жизни, в каких предопределено было и Нестору, и Никону проявить свой летописный (исторический) и литературный дар, который был дан им от природы и в котором вряд ли кто может усомниться,— что в их творениях явилось результатом княжеских влияний, отступлением от тогда уже известной правды, что взято непосредственно из народной молвы и может претендовать если и не на абсолютную, то по крайней мере возможную истину и что из святых и прочих писаний, в обилии к тому времени уже переведенных с греческого на славянский язык и находившихся в монастырском книжном (назовем его так, по-современному) хранилище. Все эти три сферы влияния — великокняжеское, церковное, народное — на умонастроение летописцев Нестора и Никона сплетались в их творческом сознании, что естественно, логично и закономерно, в единую, целостную по форме и стройную систему исторических и текущих событий, и я не сомневаюсь, что монах и игумен Киево-Печерского монастыря искренне верили в то, что собирались изложить в нетленных своих трудах, и с искренностью излагали то, во что верили; они видели, что просвещенные народы имели свою писаную историю, а Киевская Русь, то есть славянский народ, не имела ее, и, стремясь восстановить эту несправедливость, это, мягко говоря, отставание, с упорством брались за перо и подобно пушкинскому Пимену дни и ночи согбенно просиживали в своих тесных, при коптящих лампадах, кельях, вряд ли думая в те часы и минуты о том, чтобы снискать благодарность потомков.

XIV

Самым сильным из трех влияний — церковное, княжеское, народное,— под воздействием которого находились Нестор и Никон, было влияние церковное, книжное; то, что и Нестор, и Никон являлись людьми начитанными, думаю, не подлежит никакому сомнению, как не подлежит сомнению и то, что начитанность их была религиозной; в христианском учении они находили ответы на те вопросы о происхождении, смысле и сути бытия, на которые человечество, впрочем, и сегодня их ищет и не находит; но по тогдашнему мировосприятию и миротолкованию ответы эти были; они таились в старинных книгах, в священных писаниях, переведенных и продолжавших переводиться с греческого на славянский, и если мы до сих пор испытываем волнение при виде древних книг и рукописей, словно приобщаемся к некой величественной тайне веков (таковы Ветхий и Новый заветы, наши древние письмена), то можно представить, с каким трепетом монахи брали в руки подобные творения тогда, в те на столетия отстоящие от нас пращурные времена, когда святость и мудрость старости действительно почитались святостью и мудростью, а всякое исходившее из глубин тысячелетий слово имело смысл божественного предначертания. После того, как были стерты с земли славянская самобытная (идиллическая) культура и цивилизация, то есть после готов, гуннов, аваров, хазар да уже и варягов, изрядно «похозяйничавших» (в смысле уничтожения славянской цивилиза-

ции и очернения хищничеством наших нравов и обычаев), наконец, после христианского раскола, когда славянство, оказавшись (под воздействием Византии) в православии, было, по сути, отторжено от всех источников греческой и римской культуры, от письменности, от всех накопленных к тому времени знаний в области гуманитарных, философских и естественных наук,— славянство, пребывавшее в невежестве (я не стыжусь этого слова, поскольку невежество наше было подневольным, навязанным), словно бы пробуждалось через личности Нестора и Никона; перед недавно еще идиллическим и задавленным хищничеством народом открывалось прежде неведомое, а теперь объясненное пространство бытия, и естественным желанием будущих летописцев было определить историческое местопребывание славянства на этом объясненном пространстве и уравняться на нем (во всех отношениях, как увидим дальше) с другими, обретшими уже значение народами. Мне понятно это благородное, если не сказать больше, патриотическое стремление Нестора, как, впрочем, и Никона, чуть позднее ставшего на стезю летописца, и к какому бы сословию они ни принадлежали: княжескому, боярскому,— или были выходцами из простолюдинов, то есть представляли господствовавшее уже тогда престольное чужеродство или коренной славянский люд, задавленный кабалой, нищетой, бесправием, или, наконец, были из тех «греческих грамотеев», дело не в дело наводнявших Русь (многие из которых, кстати сказать, действительно немало сделали для славянского просветительства и оставили добрый след в нашей истории),— я не склонен вдаваться в эти подробности, ибо в конце концов не они, вернее, не столько социальная и национальная ориентированность летописцев, сколько державные устремления церкви и власти (я бы назвал их победоносным — от древнеегипетского первородства — шествием хищнического мироустройства) являли потребность определенного толкования и восприятия бытия. Жизнь как совокупность политических, экономических и нравственных проблем, как она и сегодня сосредоточивается вокруг заданных (хищничеством, опять же хищничеством) идей и навязываемых людским сообществам настроений и мнений, целиком вращалась тогда вокруг церковного, монастырского, державного мышления, и все, что находилось в рамках этого очерченного круга, точнее, не выплескивалось за его рамки, признавалось богоданной вечной и естественной благодатью, а всякие измышления или отступления от церковных, угождавших тронам канонов представлялись немыслимыми и строжайше карались все теми же церковью и властью. На славянство, в сущности, наползала тень мрачного средневековья, когда церковь, обретая могущество, воцаряла среди славянства духовную кабалу и когда достаточно ясные нам сегодня понятия «отечество», «патриотизм» связывались не с жизнью людей (жизнью народа, государства), а лишь с «благами» того «царствия Божьего», представавшего в образе храмовых убранств, торжественных служб, иконостасов и алтарей, в котором реальным было только то, что одним предначертано было вечно барствовать, а другим — столь же вечно тянуть кабалу. Естественно, что и Нестор, и Никон, находившиеся в центре этого могущественного (во всяком случае, набиравшего могущество) державно-церковно-монастырского мышления, а Киево-Печерский монастырь как раз и был одним из таких центров,— Нестор и Никон, размышляя об истории народов и месте славянства среди них, не могли смотреть на мир иначе, чем только глазами церкви, подпиравшей княжеский стол, и, каким бы искренним ни было их желание возвеличить народ, которому собирались послужить своим летописным трудом (еще раз повторю, у меня нет оснований подвергать сомнению их патриотические устремления), весь интерес их вращался вокруг церковных канонов, церковного мировосприятия и миротолкования бытия, тогда как народ со своей исторической судьбой, всеми своими устоявшимися за века престольного чужеродства тяготами и заботами представлялся лишь фоном (я позволю себе такое сравнение) жизни, лишь некой талой водой, которая как текла столетиями, так и продолжает течь в отведенном русле, подчиняясь предначертаниям и воле Спасителя. Кто-то может согласиться, кто-то может не согласиться с таким выводом, но сам труд летописцев говорит о том, что они в своих взглядах на жизнь, историческое и текущее мироустройство в ней находились всецело под воздействием церкви и великокня-

жеского двора, тогда как народное влияние, которое должно было лежать в основе их исторических работ, сведено в этих работах, по сути, к нулю; оно не то чтобы игнорировалось, но его просто-напросто не было; не было, подчеркиваю, не в силу того, что преподобные Нестор и Никон не захотели или не сочли нужным считаться с ним, а в силу именно церковного (и великокняжеского, как увидим дальше) давления, то есть в силу тех господствовавших религиозных (и державных) догм, коими, впрочем, церковь и сегодня пытается объяснить существовавший (господство и рабство, пастыри и паства) и существующий (правда, в многократно подновленных формах) порядок вещей, провозглашая незыблемость богоданных будто бы нам (на поверку же рукотворных, производных от хищнических устремлений человеческого разума) устоев жизни. Сила церковных догм такова, что если все еще и в наше время две трети человечества склонны в той или иной мере верить им и обращать свою жизнь в истощение и угнетение плоти, то стоит ли напоминать, сколь велико было влияние этих догм на тогдашнее людское сообщество, особенно на тех, кто решался посвятить свою жизнь тяготам монастырских молитвенных бдений, и если я в чем-то ошибаюсь, если в обряде пострижения ступавшие на монастырскую стезю видели лишь возможность просвещения, как пишут сегодня о некоторых общехристианских и православных церковных деятелях, то в таком случае, во-первых, христианское учение обретает совсем другой смысл, чем тот, какой предавался и предается ему, то есть ставится под сомнение вообще божественное происхождение мира, и, во-вторых, озвучивается двойной стандарт к восприятию сути религии как абсолютной истины для одних (для народа) и как просветительских врат для других, избранных или самоизбирающих себя для господства над миром. Ни Нестору, ни Никону не было дела до коренного славянского люда, и, чтобы удостовериться в этом, следует лишь обратиться непосредственно к их трудам. Монастырские стены и кельи, в которых жили и работали летописцы, с одной стороны, вроде бы расширяли их мировоззренческий кругозор, а с другой — замыкали, ограничивали его церковно-канонной дозволенностью, и если со стороны (с высоты нынешнего восприятия истории) объективно посмотреть на их патриотические, да, несомненно, патриотические усилия, то можно прийти к выводу, что уже тогда, на начальном этапе нашего исторического самопознания, когда закладывались основы будущей научной историографии (точнее, официальной историографии),— уже тогда наметилось четкое разделение между тем, что являло собой общую историческую и текущую жизнь людей, и тем, что мы привычно называем сегодня государственными структурами власти, включая и церковь как атрибут духовной державности; народ жил своей жизнью (как он, впрочем, живет и теперь — бесправный, обобранный, униженный, в море страданий и слез), великокняжеский двор и церковь — своей; и если придворные князья, отправлявшиеся в глубинку за поборами (данью), так ли, иначе ли соприкасались с жизнью простолюдинов, во всяком случае, имели представление о ней, то иноки и схимники, укрывшиеся за монастырскими стенами, были настолько отторжены от народного, мирского бытия (даже те, кто «уходил в народ», то есть отшельники, сидевшие в лесах по дуплам, вряд ли на фоне возложенных на себя лишений могли в полной мере воспринимать лишения и страдания народа) и настолько окольцованы кругом церковных канонов и догм, что ни о какой широте взглядов (возможной широте) здесь нечего и говорить. Нестору не приходило в голову, что славянство, столетиями пребывавшее в язычестве, могло иметь свою, не связанную с библейским толкованием бытия историческую судьбу; ему не то чтобы недоступен был подобный взгляд на порабощенный варяжскими князьями коренной славянский люд, ибо я убежден, что в тайниках народной души, в народной молве сохранялась еще (может быть, в виде «преданий старины глубокой») память и об идиллических временах, временах «славных Гипербореев», и о Руси Первой, основанной готскими князьями, и о первом царе нашем Германарихе, отважившемся на свой предсмертный подвиг (такое, конечно же, не забывается в народе), и о гуннском нашествии, когда более чем на столетие все пространство славянской земли от Днепра до Рейна являло собой одно сплошное пепелище, и об аварском нашествии (в конце концов именно через предания мы зна-

ем, как аварские — обрские — воеводы запрягали наших женщин в коляски и разъезжали на них), и о хазарах, взимавших вплоть до вторжения Рюрика с нас дань,— все это не то чтобы было недоступно для познания, поскольку жило еще в народной памяти, но лежало настолько за пределами библейского толкования мироздания, божественной предначертанности человеческого бытия, что не вызывало и не могло вызывать у летописцев ни малейшего интереса. Можно упрекать, можно не упрекать их за это, но ведь и для нынешних историков (не говорю уже о политиках) народ остается только фоном жизни, тем общепризнанным трафаретным понятием, под прикрытием которого совершались и продолжают совершаться наикровавейшие антинародные деяния и со ссылкой на которое, то есть на «поведение» народа, на некую его «стихийную» активность или анемичность, троноугодники всех поколений, не исключая и нынешних, обращали и обращают историческую науку в хамелеонную прислужницу власти. Писаной истории как таковой нет, а есть только тронноугодная версия некогда происходивших и происходящих событий, запечатленных в одном случае в библейских письменах и догмах, в другом — в трудах новых и новейших историков, и если с этой меркой подходить к творениям Нестора и Никона (что одно только способно привести к объективной оценке), то можно увидеть, что наши летописцы не были исключением из общих правил, пусть хотя бы и для отечественной истории, а действовали всего лишь в согласии с политическими и духовными идеалами своего времени и, выражая или, возможно, подстраиваясь под эти идеалы, со старанием прилежных учеников прикладывали готовые библейские (исторические) заготовки ко все еще остававшейся самобытной по своим идиллическим пристрастиям, но достаточно уже притесненной и обескровленной престольным чужеродством жизни славян.

XV

Нестором, судя по его летописному своду (позднее и Никоном), признавались лишь две отправные точки исторического отсчета времени: всемирный потоп для общей истории человечества и «призвание» Рюрика с братьями для отечественной, а в промежутке между этими двумя основополагающими событиями, подкрепленными, с одной стороны, библейскими толкованиями, церковью и ее догматами, а с другой — действовавшей великокняжеской властью, рассказано с явной, и это чувствуется по тексту, неуверенностью о вытеснении славянских племен с придунайских просторов на север и северо-запад Европы, приведена легенда о возникновении града Киева, нареченного Олегом «матерью городов русских», и сделана попытка характеризовать нравы и обычаи (на фоне борьбы христианства с язычеством и в пользу христианской спасительной веры) древнеславянских племен. Затем следует упоминание о хазарах, бравших с нас дань, и варягах, которых славянские старшины, объединившись, сперва изгнали со своей земли, а потом, рассорившись между собой (что не подтверждено никакими источниками), не нашли ничего лучшего, как только «призвать» недавних своих притеснителей на княжение. Этот злой вымысел, наверное, можно было бы назвать исторической шуткой, если бы, внедренный в наше сознание, он не сыграл самую зловещую роль в нашей истории. Чуть ниже нам еще предстоит разобраться в черной для славян сути этого троннопродиктованного вымысла, а пока вернемся к летописцу, к столь патриотично на первый взгляд изложенной им отечественной истории, которая не то чтобы не имела и не имеет ничего общего с действительной историей славян, по крайней мере с восточноевропейской ее ветвью, но вообще являет собой тот ярчайший образец подделок самобытных национальных историй народов под единый библейско-церковный шаблон, чтобы сподручней было (с помощью подобной унификации) осуществлять отторжение народов от их исконных корней жизни и превращать эти народы в безликие, не знающие родства и потому беззащитные, податливые на покорство толпы простолюдинов (толпы рабов, носителей плоти, если по Аристотелю, не способных на проявление самого элементарного человеческого достоинства). Такой вывод, думаю, вряд ли устроит сторонников официальной да и просто традиционной историографии; вряд ли, потому

что официальное и научное мировоззрения у нас всегда стояли рядом, и то, что признавалось (продиктовывалось) властями, тут же насаждалось в виде истины в последней инстанции в народе и обращалось в традиционный канон; нас приучили воспринимать не ту историю, какая была на самом деле, а сочиненную (с определенной заданностью) летописцами и историками, начиная с Нестора и Никона, а ведь свойство лжи обрастать ложью подобно снежному кому более всего присуще, как ни парадоксально звучит это, историческим исследованиям; ложь на ложь — и вот уже через столетие или тысячелетие та или иная человеческая особь оказывается настолько оболганной и униженной (оболганной и униженной вроде бы собственной историей, как это случилось с нами, со славянством, со «славными Гипербореями»), что ею уже вполне можно пугать народы (как это, в сущности, происходит или, вернее, проделывается с нами — по карфагенскому, естественно, сценарию для России), унижать, втаптывать в грязь. Тот, кто полагает, что у исторического кома лжи не было начала и что ложь на ложь — всего лишь технический пустячок, который при необходимости всегда можно поправить, либо глубоко заблуждается, либо пытается выдать целенаправленные действия за ошибку, ибо превращение славян из «славных Гипербореев», из людей с достоинством и честью в безликих, не умеющих защититься от политического, экономического и духовного насилия, какими мы предстаем сегодня сами перед собой,— превращение это ничего общего не имеет с неким естественным, будто бы эволюционным процессом развития, но является прямым следствием более чем полуторатысячелетних деяний господствующего и ныне у нас престольного чужеродства. Нестору надо было возвеличить славянство, поставить его вровень с другими народами, и он без каких-либо колебаний прибегает к библейско-церковному трафарету о происхождении рода человеческого от Ноевых сыновей Сима, Хама и Афета, которые, поделив между собой землю — Сим сел на востоке, Хам — на юге, Афет — на северо-западе,— стали родоначальниками расплодившихся затем на этих землях племен. Тут, наверное, следует отдать должное Нестору, который проявил мудрость, взяв в родоначальники славян не Сима, не Хама, а Афета. Мы не знаем, каковы были истинные мотивы этого выбора, пугал ли его Восток дыханием зловещих нашествий (гунны, авары, хазары — все это так ли, иначе ли было еще живо в памяти народной и заставляло, образно говоря, с опаской посматривать на Азию), или он, чувствуя неприемлемость для славян рабовладельческих устоев юга (народов и стран Присредиземноморья), не хотел привязывать Киевскую Русь к столь несвойственным нам, чужеродным нравам и обычаям, или, возможно, у него все же были некоторые, хотя и скудные, сведения о расселении древних славян, занимавших более двух третей европейской территории, с которой затем и начали их теснить, тесня и доныне, на восток, к пределам Азии,— да, возможно, он знал или, во всяком случае, интуитивно догадывался об этом древнеславянском расселении, и хотя библейско-церковный трафарет не давал ему ни прямого, ни косвенного ответа на этот вопрос, но, не видя никаких особых противоречий с церковными догматами, Нестор и поведал нам, что «от племени Афетова пошел народ славянский». Монах Киево-Печерского монастыря, по сути, признал (хотя и в символическом изложении) славянство коренным европейским народом; он огласил истину, которая должна была, несмотря на весь свой библейско-церковный наряд, стать основополагающей, отправной точкой в исследованиях славянской истории как истории древнейшего европейского народа, имевшего и свою самобытную культуру, и свою задавленную хищничеством идиллическую цивилизацию, но вместо этого (и при активном участии престольного чужеродства) нас и по сей день продолжают беспардоннейшим образом отторгать от Европы в область некоего «проходного двора» между двумя — европейским и азиатским — континентами, двумя полярно несовместимыми культурами, двумя религиями, приписывая нам, с одной стороны, наихудшие черты азиатчины, а с другой — сбрасывая нам свои западноевропейские обноски (экспериментальные или отслужившие свое схемы политического, экономического и духовного устройства бытия, охотно, впрочем, принимаемые нашим престольным чужеродством, не народом, заметим, а именно престольным чужеродством), нас же затем обвиняют в нестабильности, в не-

умении обустроить свою жизнь, и на основе этих вымышленных обвинений объявляют опасным для цивилизованного европейского мира народом, с которым, дескать, всегда надо быть настороже и упреждать его агрессивные (вот уж действительно с больной головы на здоровую) намерения. Такая политика в отношении славянства длится уже более пятнадцати столетий, и мы можем только догадываться, какие силы стоят за ней и направляют и подталкивают ее; некоторые догадки в этом плане, возможно, мучительно одолевали уже Нестора, иначе чем объяснить его явную неуверенность в рассказе о вытеснении славянских племен с придунайских земель на север и северо-восток Европы и в то же время решительность в утверждении европейских, восходящих к Афету древнеславянских корней; уступив в одном, Нестор тут же перекрывает эту свою уступчивость другим решительным высказыванием, и хотя утверждение его о древнеевропейском происхождении славян не может считаться историческим доказательством (на это есть сегодня множество других и более основательных), но не странно ли, что именно это, в чем Нестор максимально приблизился к истине и что действительно можно отнести к славянской, точнее, общеславянской истории, пребывает в тени и никак или почти никак не комментируется нашей официальной историографией, тогда как то, на чем лежит печать явной предвзятости (печать угодничества великокняжескому двору и церкви), поднимается все той же официальной историографией до высот документальной подлинности, от которой никто (что вызывает еще более странное чувство) не решается отступить.

XVI

Наверное, логично было бы предположить, что если ложь прирастает ложью, то истина должна прирастать истиной, и это было бы в той или иной степени естественным процессом развития; но в то время как в природе полюсное противостояние сторон уравнено (и по логике, и вопреки ей) одинаковыми возможностями, коими и обеспечиваются согласие и гармония, в сфере общественных отношений, отношений власти и народа, соответственно возводящих свое бытие на лжи, насилии и порабощении (власть) и на началах добронравия, миролюбия, крестьянской или сельской основательности (народ),— в сфере общественных отношений вместо равенства возможностей действует лишь один закон, закон силы, при котором истина (касается это истории или современности) всегда оказывается загнанной в угол, а ложь, облаченная в одежды истины, коронуется на господство и торжествует, иконостасно подавляя любой порыв к ее разоблачению. Явление это столь очевидное, что не надо прикладывать усилий, чтобы разглядеть его; оно более чем говорит о трагическом перекосе мира, о том, кто и в чьих интересах диктует условия жизни, поделив ее (по Божьей будто бы предначертанности) на дворцовую и хижинную, то есть барскую и простолюдинскую, но удивительно, что, несмотря на всю очевидность этого перманентно нарастающего перекоса в общественном устройстве человеческого бытия, никто, как свидетельствуют века, до сих пор не решился взяться за исследование коренного вопроса писаной истории и определить, сколько в ней лжи и сколько истины. Такое соотношение, если бы можно было представить его мировому сообществу, удивило и поразило бы нас прежде всего тем, что перед нами распахнулось бы море лжи с островками истины посреди этого необъятного простора вымыслов, искажений, извращений и умолчаний, помеченными клеймом обреченности, то есть тем клеймом смерти или небытия, каким помечалось все, в чем властители усматривали угрозу своим тронным интересам и что неизменно топили, как продолжают топить и сегодня в омутах политической, исторической, философской и церковной риторик; да, открылась бы эта панорама трагического перекоса, запрограммированного, впрочем, хищническим человеческим разумом и возведенного в канон святости, позволяющий и в наши дни одним, зараженным вирусом власти, вирусом мирового господства, безнаказанно сеять зло среди народов и государств, а другим, то есть народам и государствам, не сумевшим вовремя облачиться в наряд богоизбранности и понадеявшимся на торжество правды и справедливости,

пожинать плоды с этого псевдопросветительского «поля истины» и, питаясь ими, век за веком в нищете и невежестве уходить в небытие. Что мы знаем о жизни, вернее, истоках жизни, наших древнейших пращуров и насколько эти наши знания выдержат проверку шкалой неподкупного реализма? В области естественных (точных) наук есть весьма и весьма заметное продвижение к истине, тогда как в исследовании общественных отношений и общественного бытия (отчего как раз и происходят все наши страдания и беды) раздавался лишь барабанный бой вместо основополагающих открытий (да и какая власть позволила бы сделать их!), и даже то, что представлялось ясным во времена Платона и Аристотеля (да и задолго до них, если вчитаться в предсказания древнеегипетских оракулов), оказалось похороненным под слоем новых и новейших бесчисленных исторических версий и разработок. Строго говоря, в области общественных отношений и общественного бытия мы не имеем, по сути, ничего, что пролило бы свет на реальный процесс развития человечества, и я пишу об этом не из желания бросить некий сенсационный вызов всемирной и отечественной историческим наукам, хотя хищничество для меня, как для славянина, было и остается резко неприемлемой формой жизни, но потому, что предлагаемая к изучению история действительно представляет собой море лжи с умирающими островками истины, и, самое главное, потому, что ложь как торжествовала в прошлом, так торжествует и сегодня, глумясь над истиной и насылая на нее омуты своих очередных тронноприслуживающих (убийственных) риторик. Конечно, если бы речь шла об ошибках того или иного ученого (даже, скажем, о заблуждениях Платона или Аристотеля),— это одно, и совсем другое — упрекать в заблуждениях историческую науку, которая, как мы привыкли воспринимать ее, только и делала на протяжении столетий и тысячелетий, что, служа человечеству, пополняла и обогащала его знаниями о прошлом и настоящем людского бытия; да, пополняла, да, обогащала, и я вовсе не собираюсь перечеркивать сии титанические усилия летописцев и историков, но хочу только обратить внимание на заблуждения и ошибки (идентичные заблуждениям и ошибкам своих эпох), какими, к сожалению, продолжает грешить и современная историческая наука, и на то, что очевидная устойчивость (или очевидная преемственность) этих заблуждений и ошибок позволяет говорить о них как о некоем укоренившемся явлении, о некой тронноугодной заданности, превращенной в традицию или, что еще хуже, в академизм; разумеется, есть определенная правомерность в том, что всякую историческую находку, будь то старинные письмена, свитки папирусов, памятники культуры, архитектуры, воинское снаряжение или драгоценные украшения (большей частью царей и цариц), ученые объявляют бесценным посланием веков, единственно дающим право судить о событиях прошлого, но эти же ученые глубоко заблуждаются, когда на основе открывшихся им исторических свидетельств (на основе собственных воззрений на них) делают столь далеко идущие выводы об общем состоянии культуры и состоянии жизни народов исследуемых эпох, то есть столь далеко уходят от истинных реалий бытия, что трудно даже охарактеризовать всю ошибочность такого подхода к освещению истории. Дело в том, что большинство исторических находок представляет собой не просто атрибуты прошлой жизни, но, служившие украшениями во дворцах, храмах, царских усыпальницах (да и что мог оставить потомкам простолюдин?), способны дать представление только об этой барствующей ее составной, которая соотносилась с народной жизнью точно так же, как соотносится и сегодня вопреки всем заверениям о единстве целей и устремлений народа и власти; возможно, что в пращурные времена разрыв сей был еще более разительным, и, чтобы убедиться в этом, достаточно освежить в памяти приводившийся уже здесь пример из древнеегипетской действительности, из которого явствует, что, в то время как фараоны возводили для себя величественные усыпальницы, дабы не лишиться в загробном мире прижизненно окружавших их благ, коренной люд этой «колыбели государственности», «колыбели цивилизации», доведенный до отчаяния притеснениями и насилиями властей, толпами устремлялся к Нилу и отдавался на съедение крокодилам, так что историки и философы, стремившиеся к обобщенному восприятию мира, думаю, не могли не знать, что с чем брались обобщать, ибо очевидное сегодня было столь же

очевидным и столетие, и два, и десять назад, а потому речь следует вести не о заблуждениях, но о явном (и устойчивом, главное, устойчивом) прислуживании тронам за счет преднамеренного искажения истории. К подобным устойчивым заблуждениям в освещении истории следует отнести и редко когда учитываемый образовательный ценз правителей и народов; историю не писали да и не могли писать безграмотные, пребывавшие (державшиеся) в невежестве, нищете, рабском повиновении людские массы, как не могли возводить для себя дворцы, храмы и наполнять их произведениями живописи, литературы, изваяниями богов, богинь и прочей доведенной в большинстве своем до совершенства атрибутикой тронно-элитной пресыщенности, по наличию и красоте которой так любят судить сегодня о культурных (эстетических) достижениях минувших веков как о достижениях народа или народов (согласно, разумеется, с табелью о древнеегипетском первородстве и избранности), тогда как ни в прошлом, ни теперь народы не имели и не имеют к вышеназванной культуре, которая обычно ассоциируется не иначе как с состоянием жизни, никакого отношения; мы не должны забывать, что если даже в наш «просвещенный» век более трети человечества все еще пребывает в полной безграмотности, а еще треть умеет только читать и писать, что, по существу, выводит эту обездоленную массу простолюдинов за черту созидательного процесса жизни и лишает ее возможности оглашать свою историческую правду (и это, повторяю, в век «просвещения»), то каковы были возможности, скажем, у тех же древних египтян, задавленных рабством, у илотов Греции, плебеев Рима или у смердов рюриковической (Киевской) Руси и крепостных Российской (романовской) империи? Бóльшая часть человечества как была, так и остается лишенной права на освещение своей исторической правды, тогда как устроители хищнического бытия, кланово восседающие на престолах и вьющиеся вокруг них, с одной стороны, единовластно продиктовывают условия жизни народам, а с другой — через сочиненные ими самими же исторические труды преподносят свои деяния в нужном для себя аспекте, то есть в аспекте тех самых вышеназванных обобщений, когда уровень дворцовой и храмовой жизни (берутся за основу главным образом достижения культуры, то есть те атрибуты роскоши и красоты, которыми, отчленив их от тронной принадлежности, легко можно манипулировать как общечеловеческими ценностями) преобразуется в уровень жизни вообще и преподносится как социальное и нравственное выражение эпох, и мы, проглатывая эту научно-историческую (академическую) фальшивку, тем самым подтверждаем право властителей на диктат жизни и тронноугодное изложение результатов этого диктата и одновременно узакониваем право на свое историческое бесправие и безгласие. Культура — это не составная часть жизни, а ее фундаментальная, в чем глубоко убежден, основа, вбирающая в себя все от политики и религии до бытоустройства семьи и отдельного человека, а потому и неправомерно замыкать ее лишь в рамках эстетических запросов дворцовых и церковно-иерархических элит, какими бы высокими ни были эти запросы и каких бы границ совершенства ни достигало мастерство их создателей — в области ли искусства, литературы, живописи, музыки, зодчества, да и в сфере естественных наук, ибо простолюдинам и сегодня, как в пращурные времена, оставляется право лишь любоваться дворцовыми шедеврами, как сияющими звездами на ночном небосклоне. Культура — понятие столь же творческое, сколь и социальное, и каждый может убедиться в этом, если решит со вниманием оглядеться вокруг себя; в конце концов ведь народы, и это подтверждается всем ходом исторического развития, никогда не жили элитарной жизнью, и, думаю, нет ничего удивительного в том, что культура дворцов и храмов в том понимании, как это подавалось и подается нам, была и остается лишь спутницей этих недоступных народу апартаментов, и сколько бы мы ни говорили о благотворном влиянии ее на массы и как бы ни хотелось нам признать, что такое влияние есть и было, однако утверждение это далеко не состыковывается с действительностью исторической, как, впрочем, и с действительностью текущего времени, ибо притесненный властями простой люд во все эпохи был ограничен не только в социальном бытоустройстве, но и в проявлении духовных (творческих, эстетических) потребностей. Коренной славянский люд, напомню, на протяжении более чем де-

сяти веков (и это лишь со дня основания Киевской Руси) находился в полном имущественном бесправии: и при Рюриковичах, и при Романовых, и после захвата пролетарскими вождями российского престола, да и теперь, при демократах, мы все в той же «долговой» для народа (хотя кому и что должен народ?) яме. Что это, как не социальное (державно-монархическое или абсолютистско-олигархическое) явление? Да, культура дворцов и храмов, творимая в основном элитой для элиты, в каком бы толковании ни преподносилась нам, стоит над народной и несовместима с ней, ибо народная культура измеряется совсем другими ценностями, другой потребностью жизни и имеет куда больше прав именоваться общечеловеческой, поскольку ее ценности заключены в исходной (базовой) нравственности и исходной (базовой) основательности труда и быта.

XVII

Но обобщения (в чем, собственно, и состоит вся преднамеренная заданность «научных» заблуждений) при всей очевидной несовместимости дворцовой и народной жизни и соответственно дворцовой и народной культур (во всяком случае, в их проявлении, восприятии и толковании) как смещались, так и продолжают смещаться в сторону царствующих особ и правящих элит, и в этом троннопродиктованном, тронноугодном, троннозапрограммированном и заакадемизированном уже явлении можно выделить по меньшей мере два направления действий, стагнирующих древнеегипетское (фараоны и рабы) начало в развитии и становлении общественных отношений и общественного бытия, которые, впрочем, каждое направление по-своему приводят к одной и той же конечной цели: процветанию и бессмертию власти за счет исторического невежества, нищеты, страданий и бед простолюдинов. Первое направление — история человечества должна быть лестной для народов (то есть жизнь есть борьба за светлые идеалы свободы, равенства, братства), и тогда народы не только признают и примут ее, но и будут гордиться ею и преклоняться перед ней, как это в общем-то и происходит с людскими сообществами, и второе направление — чистота и незапятнанность тронных свершений, какими бы антинародными и кровавыми они ни были, и достигается это опять же заданной обобщенностью, согласно которой если народ принимает писаную историю, значит, примет и одобрит, возводя в апостольскую предначертанность, и деяния Богом данных ему светских и духовных поводырей. Такова действительность, если рассматривать ее в сугубо реалистическом плане, и тут приходится только удивляться той неподдельной вроде бы святости, с какой иерархи исторических наук относятся к древним письменам, пророчествам жрецов, оракулов, ко всякого рода преданиям пращурных будто бы веков, легендам, «народному» эпосу и трудам летописцев, воспринимая их не как отражение всего лишь дворцовой жизни, но как почти зеркальное отражение жизни эпох, ступенчато подвигавших человечество к процветанию и прогрессу, и не в этом ли заакадемизированном подходе заключено третье и, пожалуй, самое главное по стагнированию человеческого бытия заблуждение исторической науки? Вопрос заключается в том, насколько можно и можно ли вообще доверять всем этим вышеназванным источникам древности, если даже просто соотносить их с дворцовой жизнью, с тем, что в современном толковании называется двойным стандартом, или двойным подходом, во взглядах правителей (вкупе с родовым окружением) на жизнь — во власти — свою и на жизнь — тоже во власти или, вернее, во имя упрочения власти — государственную, в одной из которых — жизни для себя — действуют одни правила, исполненные откровения как в самых чудовищных поработительских (античеловеческих) замыслах, так и в садистских, тиранских (различие лишь в масштабах свершаемого) удовлетворениях, тогда как в другой — жизни будто бы для народа — на передний план выдвигаются парадность, популизм, когда монарх или церковный предстоятель настолько вынуждены менять свой облик, выступая в роли «отцов народов», что по искусству перевоплощения (и это присуще правителям всех эпох, включая и новейшие времена) могли бы посоперничать с самыми знаменитыми актерами древних и современных театральных подмостков. Именно эта парадность, этот обман, являясь

лишь основой для зомбирования народов (тут-то и вступают в свои функции древние письмена, пророчества, предания, легенды, летописные своды, сочиненные не без ведома тронов и во упрочение их), объявляются истиной и святостью старины, тогда как за этим обманом если и можно разглядеть какую-либо истину, то разве что вариант представительской, а не действительной дворцовой жизни. Мы знаем, что фараоны Древнего Египта достигли такой власти, что жрецы-современники вынуждены были назвать век фараонов «веком Богов»; но каким образом и с помощью каких — духовных, экономических, политических или насильственных — мер был достигнут столь непостижимый державный абсолютизм, остается тайной тайн (если не считать опять же тронноугодных толкований о внеземных, богоизбранных пришельцах), и все, даже самые современные, поиски историков и археологов, как мне кажется, направлены не на выявление истинных корней фараоновского поработительства, а лишь на методы достижения и удержания (на протяжении веков!) столь несвойственной вроде бы для человеческого бытия абсолютистской, равной богам власти. Исполняется, в сущности, социальный заказ власти, не имеющий ничего общего или почти ничего с действительно научным познанием прошлого; археологи, историки, философы проявляют интерес иногда, может быть, неосознанно, действуя лишь в русле традиционного академизма, не к тому, как сладывались общественные отношения и общественное бытие, то есть не к процессу становления и развития людских сообществ, в результате которого смогла выкристаллизоваться только хищническая система господства и рабства, ставшая бичом человечества, его роковой предначертанностью, а лишь к постижению механизма обмана, механизма околпачивания и зомбирования народов, приводящего их к столь глобальному послушанию, глобальной доверчивости и терпимости, за порогом которых маячит только один горизонт — вечность кабалы, нищеты, бесправия, невежества, рабства. И дело тут не в том, сумеем ли мы или не сумеем преодолеть традиционный взгляд на сочиненную для нас под диктовку правителей всемирную и отечественную историю, а в том, что писаная история — это не безобидный справочник для познания жизни, как мы по-житейски склонны толковать его с его ошибками и заблуждениями, а могущественный инструмент перманентного закабаления людских масс, инструмент духовного воздействия, не идущий в сравнение ни с каким силовым давлением. В доказательство позволю себе привести несколько самых известных (простейших) примеров из всемирной, всеславянской и российской истории. Случайно ли, не случайно ли, но в научной историографии и обиходном представлении как прошлых, так и нынешних поколений твердо закрепилось мнение об Александре Македонском как о великом полководце, завоевателе мира, азиатский поход его овеян легендами, героизмом, славой и вольно или невольно взывает к подражанию; но знаем ли мы, что на самом деле скрыто за этой привлекательной (героической) парадностью, какие тенденции и властные силы подталкивали молодого македонского царя-воина на сей кровавый азиатский поход, только ли желание отомстить персам (или зависть к подвигам Геракла, как трактовали некоторые, даже прижизненные, его биографы), или за всем этим стояло нечто большее — экспансия власти, то есть распространение и навязывание азиатским народам престольного чужеродства от древнеегипетского и древнегреческого начал? Ведь за его войском двигались своего рода тылы, закреплявшие его воинский успех куда более мощным и долговременным порабощением определенные силы, и силы эти, если внимательней присмотреться к ним, представляли собой авангардные мини-стержни фараоновского (хищнического) стержня господства и рабства, который, назрев в Древнем Египте, некогда изошел на народы восточного Присредиземноморья и античной Греции и теперь искал (уже из Греции) для себя новые обетованные земли. Возможно, главной целью похода македонского царя было именно насаждение престольного чужеродства среди других, отнюдь не соплеменных македонцам и грекам народов, а потому повсюду, где появлялись его непобедимые фаланги, он прежде всего возводил города — свои бесчисленные большие и малые Александрии (многие из них, изменив названия, благополучно здравствуют и поныне), в которых оставлялись гарнизоны воинов, а главное, инициа-

тивные греческие (македонские) так называемые негоцианты, сумевшие, как истолковывают это явление историки, не только оживить торговлю между Востоком и Западом, но и привнести элемент благотворных культурных связей; однако, как свидетельствует все та же история, города, то есть все эти возведенные великим полководцем Александрии, не прошло и десятилетия, как превратились в своеобразные центры власти, а все сельское население вокруг оказалось порабощенным (закабаленным) ими. Богатство и власть в силу естественных будто бы обстоятельств, как любят обосновывать это тронноугодные теоретики, сосредоточились в руках пришлых «инициативных людей», уже достаточно обогащенных подобными историческими исходами на обетованные земли, а коренной люд получил удел рабов Египта, илотов Греции, плебеев Рима, смердов эпохи Рюриковичей и крепостных эпохи Романовых в России, и положение это, каким бы спорным ни представляли его приверженцы официальной историографии и сколько бы ни твердили о слиянии пришлых чужеродных властителей с народом, над которым они явились властвовать,— положение это, сохранившись в веках, предстает и сегодня в том же хищническом раскладе, в каком задумывалось, может быть, за столетие или даже за тысячелетие до свершения знаменитого азиатского похода Великого Александра, так что история писаная и история действительная с ее последствиями — это не что иное, как составные лжи и правды, в которых правда, как правило, оказывается подавленной абсолютной и беспардонной ложью.

XVIII

Римские поработительские походы, триумфальная дорога победителей, обветшалые, полуразвалившиеся ныне знаменитые триумфальные арки в честь римских полководцев, одерживавших успех, отмытые от крови после сеч когорты легионеров, толпы рабов и вереницы повозок с награбленным чужеземным добром, втягивающиеся в ликующий Вечный Город,— все это, овеянное легендами и преданиями, возвышенно и по сей день преподносится как в официальных, так и неофициальных историографиях; о римских полководцах сочиняются исторические биографии и романы, превозносящие их славу и облагораживающие их в их кровавых деяниях (против народов, против человечества), им приписывается не разбой, а распространение культуры и цивилизации среди «варварских» племен Европы, тогда как истинная цель этих походов заключалась не просто в обогащении и расширении пределов империи, но в продуманном далеко на века насаждении престольного чужеродства среди этих народов, и если мы сегодня не спрашиваем себя, глядя на процветающую будто бы Европу, сколько и чего пришлось пережить коренному люду этого континента и сохранились ли еще в самобытной чистоте франки, галлы, бритты (германским племенам как-то вроде бы более повезло, и они пока еще не окончательно растеряли свое национальное сплочение), то потому только, что, во-первых, историки и философы смогли так ловко упрятать это, в сущности, страшное по своей античеловечности явление под сукно истории, словно его вовсе и не было, и, во-вторых, оно оказалось перекрытым новым и еще более бесчеловечным и кровавым явлением — покорением (освоением, как принято произносить) Америки. Цезарь не возводил города, как Александр Македонский, но оставлял в захваченных точно такие же воинские гарнизоны, под защитой которых обосновывались все те же «инициативные негоцианты», которые, обретая власть, возводили крепости, замки и превращали окрестных селян в подданных и рабов. Что это, как не экспансия фараоновского стержня господства и рабства из обглоданного, приходившего уже в упадок Рима на новые обетованные земли? Однако явление это самым беспардонным образом как бы выпало из общей истории народов, его выбросили за борт, как смердящий труп, и вместо правды жизни человечеству преподнесена подслащенная правдоподобием ложь, способная лишь вновь и вновь возбуждать хищнические страсти к обретению богатства, славы и власти за счет страданий не приспособленных к подобных условиям бытия обобранных и бесправных людских масс. Знаем ли мы истину о замыслах Карла Великого, мечом, огнем и крестом создавшего

почти в центре Европы Священную Римскую империю — Второй Рим — на развалинах некогда могущественного и приходившего в упадок Рима,— что двигало царем франков и будущим единовластным правителем неохватной державы, которая, кстати заметить, распалась сразу же после его смерти, когда двинулся с войском на Лангобардское королевство в Италии, а затем вторгся в область саксов и покорил их? За его войском, как и за войском Александра Македонского и Юлия Цезаря да и за всеми до и после них ходившими в подобные поработительские походы европейскими и азиатскими завоевателями, толпами по не остывшей еще крови шествовали все те же «инициативные негоцианты», не столько торговых и культурных, сколько политических (закабалительных) дел мастера, и поверженные в сечах народы после таких нашествий надолго оказывались под бременем все еще и доныне расползающегося по миру престольного чужеродства. Победа над аварами (над Аварским Каганатом, созданным в VI веке в бассейне Дуная и к середине VIII столетия обретшим угрожающее для Европы могущество), а по сути, над славянством, ибо в Каганат входила почти вся славянская территория от Днепра до Рейна, и славянство, принужденное служить аварским каганам, составляло ударные части их войска,— победа над Аварским Каганатом открыла Карлу Великому дорогу к новым (славянским) обетованным землям, и престольное чужеродство как инструмент некогда исшедшей из Египта фараоновской державности, вернее, как авангардная сила этой державности, двинулось, дробясь и кучась, кучась и дробясь, в пределы «славных Гипербореев». В течение нескольких веков славянство, как ни одно из других людских сообществ, подвергалось с четырех направлений нажиму престольного чужеродства: с азиатского востока — гунны, авары, хазары, с европейского запада — готы, то есть германские племена, с юга, от Присредиземноморья,— греки, византийцы, с севера, от Балтии,— варяги, и все это происходило без каких-либо передышек, о чем шла уже выше речь: не успевали мы выйти из одной беды, из одного поработительства, как попадали в другое, еще более невыносимое и затяжное, но ни в отечественной, ни во всемирной истории не зафиксированы в должном реализме и должном объеме эти события, и, отделавшись лишь некой формулировкой о «великом переселении народов», официальная и неофициальная историографии продолжают отягчать наше историческое невежество, превращая нас в слепцов, мечущихся в поисках истины и не находящих ее. Мне кажется, до сих пор остается не проясненным до конца вопрос о возникновении религий, их роли на начальном этапе становления человеческого сообщества, как и во все последующие эпохи вплоть до нынешних «просвещенных» времен: явились ли они действительно как необходимость миропознания и толкования, необходимость объяснения необъяснимых явлений природы, явления на земле жизни вообще, ибо и сегодня нет для человека ничего тягостнее и страшнее полного или даже частичного неведения, или же религии эти изначально уже несли зачатки служения власти, определившиеся затем в подпорки и столпы, на которых возводились и стояли троны, как возводятся и в наши дни, вознося единицы избранных во власть (на волне религиозного фундаментализма и фанатизма) и укладывая в могилы (в братские могилы) миллионы правоверных простолюдинов? Если религии все же возникали из естественных потребностей жизни, то отчего они опустились до услужения тронам, а если из других побуждений, то отчего бы не обнажить истину и раз и навсегда не покончить с одним из величайших обманов человечества? Думаю, нет нужды вдаваться здесь в подробные рассуждения о буддизме, христианстве и мусульманстве, все три ведущие религии мира есть не что иное, как пропаганда и утверждение «царствия Божьего», но не на небесах, а на земле, не среди богов, а среди людей, утверждение основ стагнации, а не динамичного развития общественных отношений и общественного бытия, стагнации мироустройства, в котором всегда будут пребывать властители и рабы, а чтобы просто люд паче чего не узрел истину, надо возбудить в нем ревность противостояния, и вот на свет является разделительная межа, расколовшая христиан на католиков и православных, а затем на множество сект и направлений, которые и сегодня, плодясь, продолжают втягивать в свои духовные водовороты простодушных

простолюдинов; появляется межа, словно зеркальное отражение христианского раскола, и в мусульманстве, разрубая целое на шиитов и сунитов, а если в более широком, глобальном масштабе — между христианством и мусульманством, и мир, получив, конечно же, не из благих намерений, полюсное противостояние, медленно, ведомый чьей-то злой волей, суть которой, впрочем, легко укладывается в формулировку «разделяй и властвуй», сползает к самой непредсказуемой и гибельной своей катастрофе. Я спрашиваю себя: в чем правда этого исторического процесса, так ли уж она непостижима или человечество и в самом деле не нуждается в ней, отдав предпочтение правдоподобию и лжи? Я глубоко убежден, что в развитии человеческого бытия давно уже не осталось ничего от стихии природы, а есть только безумство человеческого разума, и одним из проявлений такого безумства предстают так называемые социальные и духовные революции, когда под предлогом великих и светлых перемен (что само по себе вроде бы естественно и закономерно) переламываются не судьбы личностей, но судьбы народов, уничтожаются самобытные культуры, цивилизации, и все это, если судить по итогам таких катаклизмов, лишь ради смены одних династических правителей другими, готовыми столь же династически воссесть на троны и врасти в них. У меня нет возможности вдаваться здесь в подробности той или иной революции, коими буквально испещрена наша новая и новейшая история, все они задумывались и кроились по одной мерке, хотя вроде бы и рознятся, как утверждают историки и философы, и по целям, и по размаху, и по своей исторической заданности; да, вроде бы рознятся, но меня интересует не эта сторона дела, ибо национальные особенности революций — это лишь одежда, под которой скрывается достаточно однотипное и традиционное явление обмана масс, равное или однозначное обману любых властителей, устремленных к захвату власти; чтобы удостовериться в этом, следует обратиться лишь к результатам всех этих революций, из которых видно, что результаты оказывались всегда противоположными замыслам; цель достигалась не массами, а вождями, возбуждавшими массы на кровопролитие, и уже через десятилетие во дворцах восстанавливалась своя дворцовая жизнь, в хижинах — хижинная, и мир опять впадал в прерванную на час спячку, иконостасным парадом величия и славы заслоняя нищету, убожество, бесправие простолюдинов. Чем завершилась буржуазная революция в Англии? Господством и рабством, пусть хотя бы и в обновленном, то есть более усовершенствованном, варианте. Чем завершились отгремевшие одна за другой (с гильотинным конвейером) французские революции? Или наша, так называемая «пролетарская», с грозной ВЧК и массовыми расстрелами? Господством и рабством. История в реальных своих проявлениях и история в изложении не совпадают, и хотя иерархи от знаний не могут не видеть этого более чем парадоксального несовпадения между жизненными процессами, как они происходят в действительности, и освещением их в исторических и философских трудах, тем не менее правители и полководцы как возносились на пьедесталы величия и славы, так и продолжают возноситься на те же пьедесталы и вмонтироваться своими канонизированными в святость ликами в церковные и светские иконостасы; революции как провозглашались «освободительным» орудием масс, так и продолжают провозглашаться, несмотря на то, что ни одной из революций (по тайному их замыслу) не удалось довести дело простолюдинов до логического конца, а мир в целом как жил в глубочайшем (от древнеегипетского первородства) обмане, так и продолжает пребывать в нем, несмотря на возросший будто бы уровень просвещенности, на всесторонне продекларированные права человека (что, впрочем, вполне вписывается в общий обман), наконец, несмотря на некое будто новейшее понимание цели и смысла человеческого бытия. Для чего прибегают правители к обману — понятно; для чего историки и философы придают этому обману характер естественного течения жизни — тоже понятно; однако остается неясным, что стоит за смиренным молчанием человечества, принимающего этот обман, действительно ли сей процесс стихиен и неизбежен, или существует и действует (с фараоновских еще времен) некая и впрямь-таки магическая сила, или, может быть, самый простой и самый надежный способ зомбирования масс,

с помощью которого властители, однажды открыв его для себя и упрятав от людских глаз, продолжают удерживать народы и государства в кабальном повиновении?

XIX

Я не склонен ни преувеличивать, ни преуменьшать значение совершавшихся исторических событий — независимо от того, получили ли они дальнейшее развитие в становлении общественных отношений и устройстве общественного бытия или ушли в небытие как неприемлемые (вроде бы неприемлемые) или не соответствующие потребностям поэтапно совершенствовавшейся жизни, как не склонен полагать, что исследованием научных и технических достижений минувших веков можно подменять социальные и нравственные аспекты развития человеческих сообществ, ибо первым и главнейшим вопросом истории всегда был и остается вопрос взаимоотношений народа и власти, как они складывались, на чем базировалась, вырастала и крепла власть, достигшая к нынешним временам такого могущества, что человечество едва ли сможет (до конца своего земного пребывания) найти способ противостоять ей (противостоять, главное, тем институтам государственного и межгосударственного насилия, которые, спеленав народы кодексами державных законов, поскольку иных нет и не может быть в хищническом мироустройстве, успешно и ныне продолжают удерживать человечество во младенчестве по уму и рабском повиновении в проявлении физических возможностей) и что послужило причиной, поводом, вернее, что заставило народы коленопреклониться перед набиравшей силу властью и принять ярмо рабства, может быть, даже как некое благо, предложенное с высоты божественных тронов; в конце концов ведь только состоянием общественных отношений (отношений народа и власти) определяется состояние жизни людских сообществ, как, впрочем, и состояние жизни человечества в целом, и тут приходится только удивляться, что именно эта наша историческая и текущая ипостась остается менее всего исследованной или, точнее, утраченной для познания — то ли в силу определенной робости перед открытием, которое может в корне изменить взгляд на свершения прошлого и настоящего (и побудить народ к действию, можно было бы добавить), то ли в силу традиции, сложившейся не без участия тронов, согласно которой считается, что все отжившие социальные системы мертвы и связь их с настоящим настолько условна, что навряд ли способна прояснить что-либо в современном мире (такие исследователи приходят в восторг, когда находят, что препарат, которым бальзамировали фараонов, и народное лекарственное средство «мумие», применяемое при лечении на азиатском востоке, есть мостик веков, соединяющий настоящее с прошлым и указывающий на уровень научных достижений древних эпох), то ли в силу того лишь (как это сплошь и рядом проделывается и сегодня), что интерес частностей — те или иные письмена, та или иная гробница, те или иные предметы царской власти, дворцовой роскоши, воинских снаряжений,— поднимаясь над интересами стержневой значимости явлений и затмевая их, оттесняет исследователя от главного, от обобщенного, то есть целостного в своих проявлениях восприятия человеческого бытия, а в результате историческая наука какое уже тысячелетие пребывает в стагнационном вакууме. В истории, я убежден, нет ни мертвых эпох, ни бесследно ушедших в небытие деяний, хотя по внешним, то есть доступным нам, признакам жизненных перемен далеко не всегда и не во всем можно разглядеть и тем более уяснить неразрывную связь времен; казалось бы, под эпохой откровенного рабства давно подведена черта, как подведена черта и под общинно-родовым строем, и под эпохой феодализма, и перед нами они предстают лишь как воссоздающиеся в изложениях экспонаты (социально-нравственные экспонаты) минувших веков, не имеющие никакого отношения ни к постреволюционным буржуазно-республиканским режимам, ни тем более к постбуржуазным (под пятой олигархов) демократическим, когда понятия права и свободы человека оказываются приравненными, по сути, к понятиям удавки и перекладины,— да, казалось бы, человечество отсекло себя от своего ужасающего прошлого, тогда как если внимательней всмотреться в процесс развития и становления людских сообществ, то

легко можно обнаружить, что ничто из минувшего не отжило и не ушло в небытие, и что именно те артибуты жизни, которые более всего хотелось бы нам считать мертвыми, воздействуют на происходящее вокруг нас и в нас политическое, экономическое и нравственное переустройство, и что мы не только не ушли от фараоновского «века Богов» с его главенствующим постулатом господства и рабства, но, напротив, придали этому постулату столь совершенное (и в социальном, и в нравственном аспектах) звучание, что никому и в голову не приходит, приоткрыв полог истории, приглядеться к неразрывной связи веков. Ведь если родоначальником нашей нынешней цивилизации мы считаем Древний Египет, то должны признать, что и культура, обслуживавшая фараонов, и наука, и государственность как форма насилия и порабощения (я имею в виду государственность по-древнеегипетски), да и сами фараоны, замуровавшие себя в каменных пирамидах,— все, все это, работавшее на протяжении веков в русле утверждения среди народов единой хищнической цивилизации, продолжает с той же силой воздействия работать и сегодня, подаваемое на просветительский стол человечества уже в виде святодревнейших тайн, загадок, легенд, преданий, поверий, всевозможных научных и ненаучных версий о внеземных пришельцах, привнесших цивилизацию, и т. д. и т. п., и, как бы мы ни относились к этому сказочно-былинному потоку информации, отыскивая в нем отголоски действительно происходивших событий, то есть как бы ни старались, мысленно переносясь в пращурные времена, вычленить истину из романтических наслоений эпох, истина лежит в тех троновнушениях, изначально еще заложенных во все эти старинные письмена, предания, загадки, легенды, летописные своды, да, именно в тех троновнушениях, с которых, вольно ли, невольно ли впитывая их (словно бы с молоком матери, можно было бы сказать), каждое новое поколение людей, входящих в жизнь, начинает свое приобщение к так называемым общечеловеческим ценностям бытия. Наверное, было бы ошибочным утверждать, будто человечество и в самом деле не накопило ничего ценного за многотысячелетний период своего развития и что преемственность эпох есть только преемственность господства и рабства, этих двух составных жизни людских сообществ, эстафетно дошедших (в основополагающем своем значении) и до наших просвещенных времен,— нет, отчего же, накопило; накопило и дурное, и хорошее, что равно должно использоваться при любых обобщениях, если, конечно, исследователь намерен добиться истины; я же всего лишь хочу здесь привлечь внимание к явлению, о котором как-то не принято говорить, что оно есть (ведь ни старинные письмена, ни предания, ни легенды, ни летописные своды никогда и никем не рассматривались на предмет содержания в них троновнушений), но которое, если с позиций реализма посмотреть на процесс становления и развития общественных отношений и общественного бытия, оказывало и оказывает самое непосредственное влияние на мировосприятие людей. Из уст политиков, философов, историков мы постоянно слышим, что жизнь есть неостановимое движение к совершенству, и настолько вроде бы привыкли уже к этому удовлетворяющему нас канонному постулату, что, не задумываясь ни над понятием «совершенство» (что и относительно чего совершенствуется), ни над понятием «движение» (насколько оно приложимо ко временным и качественным измерениям), принимаем его почти как некое божественное предначертание, некую природную условность или заданность, которую не дано никому изменить, какой бы властью ни обладал тот или иной правитель или тот или иной претендующий на господство народ; да, мы привыкли к этому удовлетворяющему нас канонному постулату и в согласии с ним совершенствуем лишь то (государственность, к примеру), что со времен Древнего Египта было и остается аппаратом закабаления и что в силу уже этой своей фараоновской заданности не может и не сможет ничего изменить в тяжкой доле простолюдинов; вместе (или параллельно) с совершенствованием государственности с еще большим усердием стремимся усовершенствовать поддерживающие и укрепляющие государственность силовые и духовные институты обслуживания: церковь, чиновничество, армию, просвещение, культуру,— игнорируя при этом простейшую истину, что совершенствуем не свою жизнь, ибо для этого прежде нужно отказаться от стержня господства и рабства, а жизнь

тронов, укрепляя их в их могуществе. Подобную устойчивую слепоту человечества можно было бы назвать странным парадоксом истории; но поскольку любой парадокс есть лишь производное от происходивших и происходящих событий, то и ответ на заданный вопрос следует искать не в поверхностных, а в глубинных процессах, влияющих прежде всего на формирование общественных отношений и устройство общественного бытия. С одной стороны, мы убеждены, что мир живет по законам движения к совершенству, и действуем в соответствии с этими законами, а с другой — история, как она подается нам, особенно в толкованиях старинных рукописей, преданий, легенд, всевозможных загадок и тайн, исподволь убеждает в некой, будто бы предначертанной неизменности основ жизни (неизменности основ господства и рабства), и эти, казалось бы, взаимоисключающие величины воздействия, из поколения в поколение сопровождающие нас, как раз и порождают вышеназванное явление слепоты, или, сказать иначе, исторического парадокса. Прогресс противопоставляется консерватизму, консерватизм — прогрессу, тогда как оба эти понятия являются лишь сторонами одной медали; ведь не секрет, что плодами прогресса — достижениями наук, культуры — прежде всего пользуются правители, озабоченные укреплением тронов (укреплением власти в любом ее проявлении), а там, где сохраняется власть (в любом ее проявлении), там неизменно сохраняется и система господства и рабства; консерватизмом как пугалом загоняют народ в русло прогресса (так называемого прогресса), достижениями же прогресса обеспечивается незыблемость самых реакционно-консервативных начал бытия, и весь ход развития человечества, по существу, оказывается закольцованным в этой сизифовой устремленности к цели, этом имитирующем движение беличьем колесе, в котором, сколько ни крути его, количество отмеренных верст всегда будет равняться нулю. Можно, конечно, возразить против такого восприятия действительности, но то, что господство и рабство не исчезли, а только обрели более современные (цивилизованные) формы и что с каждым новым витком прогресса лишь усиливается власть предержащих и приумножаются нищета и бесправие простолюдинов,— факт, по-моему, неоспоримый; дискутировать же возможно разве что по поводу истоков этого «исторического парадокса», этого, по сути, самоубийственного для человечества явления, родилось ли оно в результате естественного течения жизни, во что трудно поверить, ибо не настолько же глупо человечество (хотя бы и в массе своей), чтобы искать и отрабатывать наихудший для себя вариант существования, или родилось из хищнических устремлений правителей, которым и сегодня, как и в пращурные времена, сколько ни подавай богатства, славы и власти, все кажется мало им (даже когда троны их приравниваются к трону Всевышнего),— и если все-таки из хищнических устремлений правителей, то тем более важно понять, из какого простейшего механизма порабощения и обмана вырос и окреп механизм нынешнего всеохватного закабалительства народов и государств.

XX

Мы наделяем древность мудростью, особенно когда речь заходит о Древнем Египте, не всегда при этом задумываясь над тем, что действительно было мудрого в тех временах и можно ли это отождествлять с народом, позволившим втянуть себя в сорокавековое беспросветное рабство, или только относить к правителям, сумевшим столь длительный срок безмятежно восседать на престоле и угнетать народ, или к жизни вообще, как делают это историки и философы, к системе общественного бытия, то есть к тому укладу, из которого затем и выкристаллизовалась наша хваленая хищническая цивилизация, основанная все на том же стержне господства и рабства. Наверное, в чем-то должна состоять истина, если понятия «древность» и «мудрость» мы все же воспринимаем как синонимы, и если учесть, что в оценках как исторических событий, так и событий текущей действительности не бывает случайностей, а все подчинено либо интересам тронной жизни и исходит из них, либо интересам народной, что скорее можно отнести лишь к разряду логических противовесов, однако в чем-то же заключена истина, и если она неприложима к деяниям народа, то ответ

следует искать в деяниях правителей, которые, открыв секрет престольного долголетия, не только смогли сорок веков сами продержаться у власти, но и, прихватив с собой этот секрет при первом исходе на обетованные земли, обратили его затем в непреложный закон тронов, по которому жили и продолжают жить все известные нам монархические, олигархические и так называемые демократические, а по сути, суперолигархические режимы и на основании которого разработан и успешно ныне осуществляется захват мирового господства, то есть делается попытка вернуть человечество в новом, всеохватном уже варианте в «век Богов», дабы замкнуть тиранией начавшийся с тирании же круг всех наших неостановимых и неисчислимых страданий и бед. Сегодня мы вроде бы знаем о власти все, что только можно знать о ней: что на штыках она недолговечна, что влияние ее на народ равно нулю, если она не нашла идеологического (духовного) оправдания своим закабалительским устремлениям, а проще сказать, не прибегла к нравственному (с помощью религиозных учений и философско-политических доктрин) обману людей, причем к такому, который, во-первых, был бы труднораскрываем в своей стержневой (дворцовой) заданности и, во-вторых, содержал бы весь тот набор обнадеживающих обещаний, кои, оставаясь невыполнимыми, являли бы собой образ близкого и желанного благоденствия; мы также знаем, что власть должна быть авторитетной, если хочет, чтобы люди повиновались ей, и вполне представляем, что авторитет этот должен исходить из деяний, направленных если и не на процветание, то по крайней мере на поддержание в стране нормальных условий жизни, что, впрочем, испокон существовало только в идеале, а в реальности славу обретали лишь кровавые тираны и завоеватели; но, думаю, мало кто отдает себе отчет в том, что все эти (за некоторым исключением) атрибуты насилия отнюдь не являются изобретением новейших эпох, но пришли к нам из той самой «мудрой» древности, того самого «века Богов», обоготворенного историками и философами, в котором как раз и закладывались нильскими властителями основы престольной (дворцовой) жизни и престольного (дворцового) долголетия. В фараоновском арсенале поработительства значатся и силовые, и экономические, и духовные методы закабаления, за сорок веков правления властители Древнего Египта опробовали на массах все, что могло доставлять им богатство, славу и власть, но главное открытие в поисках престольного долголетия, которое они приняли как своего рода тронную доктрину, заключалось в простейшем, а потому и столь безотказно действовавшем обмане, закамуфлированном сперва под мистические, а потом под религиозные (божественные) каноны бытия. Познав, видимо, из опыта, что на насилие массы всегда могут ответить насилием (что затем многократно подтверждалось историей) и что влияние жрецов (оракулов) тоже могло обладать весьма ограниченным воздействием (ведь и сегодня религиозные учения, церкви далеко не всевластны), фараоны, чтобы отделиться от масс и подняться над ними, объявили себя «детьми Солнца», то есть некими будто посланцами высшей, внеземной силы, вручившей им мандат на правление землянами; просто и ясно и достаточно устрашающе, если учесть тогдашний страх людей перед стихией природы, в которой они как раз и видели высшее божество, способное и на гнев, и на милость, и поклонение этому божеству — Солнцу — являлось (причем не только у древних египтян, но и у многих народов) непременным каноном жизни; теперь трудно восстановить, кому из фараонов первому пришла в голову мысль назвать себя «сыном Солнца» (в конце концов ведь и Александр Македонский при живой матери отрекся от нее и объявил о своем божественном происхождении), тем более установить подробности, каким образом этот простейший, повторю, да, простейший обман внедрялся в сознание масс и было ли и какое противоборство при его внедрении, но сорокалетнее господство и сорокалетнее рабство, коими ознаменовалась история Древнего Египта, говорят сами за себя. Рабы работали, правители царствовали; дворцы и храмы ломились от роскоши, хижины утопали в нищете, невежестве и бесправии; обман, по сути, оказался столь эффективным, что и по силе воздействия, и по долгожительству, и, самое главное, по простоте применения превзошел все самые известные фундаментальные религиозные учения мира. Изначально уже он как бы получил два направления раз-

вития: гласное и негласное. Гласное заключалось в том, что если фараоны действительно являются «детьми Солнца», то есть людьми божественного происхождения, то и образ жизни их соответственно должен быть божественным; они стали окружать себя роскошью, строить дворцы (города) Солнца, наполнять их блеском золотых изваяний, словно металл бессмертия и в самом деле мог роднить их с названным прародителем; золотыми коронами с вкрапленными в них драгоценными камнями покрывались их головы, одежда их, как и воинские доспехи, засияли все тем же золотым блеском, и если мы говорим, что спрос рождает предложение, то спрос фараонов на золотые, серебряные и бронзовые украшения породил и мастеровых, которые должны были удовлетворять сии царские потребности; мастера обретали мастерство, во многом и ныне поражающее нас (и что мы относим к развитию ремесел, культуры, искусства, забывая при этом, что подобное ремесло не просто поощрялось, но вызывалось к жизни монаршими надобностями и должно было служить определенным идеологическим целям), дворцы, храмы наполнялись ценностями, народ нищал, до нитки почти обобранный властителями, и, взирая на эти отобранные у него богатства (с мира по нитке, а дворцу золотое одеяние, как можно было бы перефразировать известную поговорку), народ должен был не просто взирать, но чувствовать своим рабским существом (и чувствовал, подавляемый всей этой сказочно-сконцентрированной роскошью) ту разделительную черту, по одну сторону которой стоял он, раб, а по другую — правившие им «дети Солнца», фараоны, «дети Высшего Существа», чей гнев был страшен и чей образ жизни в блеске золотых изваяний, в окружении откормленных воинов и слуг должен был вызывать божественное преклонение. И вызывал, ибо обман словесный наглядно подтверждался (или оправдывался, что вернее) обманом материальным, обманом зримого внушения или воздействия, и этот сдвоенный монолит духа и материи, наделенный беспредельной властью над массами простолюдинов, стал главной подавляющей волю народов силой как пращурных, так и средних, и новейших эпох. К той же сфере внушения следует отнести и развитие зодчества, наук, особенно астрономических и математических (главным образом в храмах оракулов и опять же для царских предсказаний); появилась потребность и в символах, должных выражать могущество власти и властителей (каменные изваяния хищных птиц, зверей, изваяния сфинксов, подтверждавших хищническую направленность тронов); не столько для ублажения богов, ибо богами фараоны считали себя, сколько для внушения страха перед богами у рабов и простолюдинов явилось жертвоприношение (на жертвенники большей частью клали либо молодых женщин, либо детей), и как бы в завершение этого цикла воздействия, этого усиленного символами властного могущества правители Египта принялись возводить для себя гробницы и пирамиды, чтобы и в небытие оставаться «детьми Солнца» и мумифицированной плотью подтверждать свои династические права на власть. Это-то древнеегипетское первородство власти как раз и было названо рождением «великой цивилизации», «зарей человечества», открывшей простор прогрессу, расцвету наук, искусств, культуры, становлению государственности с ее стержневой (хищнической, не будем забывать) основой господства и рабства, а вместе с этой «цивилизацией» и привнесен был весь гласный, как я называю его, обман (о негласном или, вернее, неоглашаемом разговор еще впереди), в котором прожили свой век сотни поколений людей, поверивших в него, как живем и мы, полагая (разумеется, в массе своей), что иного устройства жизни, чем разделение на властей предержащих и бесправных, не было, нет и не может быть. Но давайте бросим хотя бы мимолетный взгляд на более или менее доступные нам (по скупости нашей исторической просвещенности) восточно-присредиземноморские (малоазиатские, палестинские) земли, куда был совершен первый исход фараоновской державности, на античную Грецию, Древний Рим, Европу с ее Священной Римской империей Карла Великого, на Англию, считавшуюся некогда владычицей морей, и соперничавшие с ней и между собой французский, австрийский, испанский, португальский королевские дворы, поделившие на сферы влияния африканский и американский континенты с их самобытными народами и культурами, или на Соединенные Штаты Америки, претендующие ныне на едино-

державное мировое господство,— разве эти новейшие режимы власти не напоминают зеркальное отражение своего древнеегипетского прародителя (как, впрочем, и Россия с ее Кремлем, княжескими дворцами, дворянскими усадьбами, православными храмами, церквами, монастырями и беспросветной, в крепостном бесправии, нищетой коренного люда)? Я уж не говорю о религиях — буддизме, христианстве, мусульманстве,— которые, подменив вроде бы безобидные, как они видятся нам теперь, институты жрецов, оракулов, языческие верования, настолько придавили человечество плитой тронно-первородного обмана, что даже самому мощному просветительству потребуются теперь века, чтобы ослабить это всеохватное угнетение плоти и духа и вывести из исторического невежества народы, которым удастся еще сохранить к тому времени национальное достоинство и тягу к национальной самобытности и национальному единению.

XXI

Второй обман, негласный, неразглашаемый (по какой-то, может быть, тронно-охранной интуиции, эстафетно передающейся, как наказ, от властителей к властителям), на мой взгляд, представляет собой еще более опасное по долговременности и силе воздействия на умонастроения и души людей явление — уже тем, что оно скрыто, завуалировано, его трудно распознать, историки и философы старательно обходят его стороной, а официальная историография и вовсе делает вид, что такового не существует; в трудах исследователей, посвященных древнеегипетской цивилизации как прародительнице нашего мироустройства, деяния фараонов, их поиски и открытие секрета престольного долголетия если и получают некое реалистическое, скажем так, освещение, то весь этот реализм большей частью приглушается потоком расточаемых восхищений и предвзятых оценок (опять же в русле похвал), которые дают представление разве что о мудрости и прозорливости нильских правителей. Главной же ошибкой историков и философов (преднамеренной или тронно-запрограммированной властителями последующих эпох) следует, как мне кажется, считать то, что свой исследовательский интерес они направляли и направляют не на изучение социальных аспектов жизни народа, то есть не на формирование общественных отношений и состояние общественного бытия, а на сюжеты дворцовых интриг, дворцовых переворотов, лишь затуманивая наше историческое познание схватками восходящих и ниспровергаемых династических претендентов на фараоновский престол, и в этих подробностях, имеющих хотя и важное, но все же не главное, а уточняющее значение, как бы сама собой растворяется и утопает истинная суть творившихся деяний. Я же ищу не частности, а стержневую основу складывавшихся тогда общественных отношений, пытаюсь рассмотреть остов, скелет, на котором, как на шампуре, томятся нанизанные века явных и скрытых (и скрываемых до сих пор) преступлений против человечества, ибо навязанная нам древнеегипетская цивилизация есть не что иное, как зловещее последствие сорокавековой фараоновской державности, и, чтобы прояснить истину, увидеть ее во всей обнаженной неприглядности, нужно как минимум очистить ствол от ветвей и листвы. Конечно, есть нечто интригующее в религиозных, а по существу, властных спорах, напоминающих противостояние католической и православной церквей в христианстве, шиитов и сунитов в мусульманстве, когда одни фараоны, поименовавшие себя «детьми Неба», неких даже вроде бы абстрактных высших небесных сил, а другие — «детьми Солнца», поклонниками Сириуса, вытравляли (скалывали) не только со стен дворцов, но и в могильниках, и пирамидах символические знаки своих религиозных противников (что, впрочем, давно открыто и доказано археологами и историками), разрушали построенные ими дворцы, города, чтобы утвердиться в своей истине, отправляли на казнь толпы отказников, и эти романные ситуации, наполненные духом жестокости того времени, я бы добавил, притягательной жестокости, в которой многие и сегодня находят проявление монаршей воли, риска, смелости в исполнении своих часто чудовищных замыслов (будто и в самом деле лишь сильная власть способна обеспечить всеобщее благоденствие),— эти

романные ситуации, запечатленные мастерами слова, способны только затушевывать, а не прояснять искомую истину. Я понимаю этот живой интерес к ушедшим в небытие историческим личностям, поскольку и сам часто грешу таким пристрастием, но познание романное и познание стержневой основы, центрирующей и направляющей жизнь, далеко и далеко не идентичны; в первом случае мы как бы погружаемся в мир одного человека, в мир некой сильной личности, устремленной к власти, чтобы затем единодержавно распоряжаться судьбами масс, тогда как во втором — оказываемся в центре процесса духовного становления людских сообществ, в центре (или, точнее, у истоков) противоборства двух начал — властного и общежитейского, народного,— в котором, как ни печально сознавать, одержало верх властное, а это уже не увлекательная историческая частность, а обобщенный, четко регламентирующий нашу жизнь закон человеческого бытия. Раздел, положенный фараонами Египта между властью и народом, изначально уже стал обретать контуры рва, располосовавшего нарождавшуюся плоть человечества, и ни время, ни протесты и волнения народов, о которых выше уже говорилось, чем они завершались, именуемые восстаниями и революциями, и кто обычно умудрялся встать во главе волнений масс, да, ни время, ни восстания, ни революции так и не смогли за века сравнять этот ров между господством и рабством, эти крепостные стены кремлей, замков, по одну сторону которых процветало и процветает барство, а по другую — кабала, крепостничество, рабство, бесправие. Конечно, мало кто из людей нынешнего поколения может поверить в некую «голубую кровь», одухотворявшую монархических, княжеских, дворянских персон, тем более что персоны эти якобы обладали статусом внеземных пришельцев, то есть являлись некими носителями духа, если по Аристотелю, призванными господствовать в отличие от обладателей плоти, рабов, пригодных лишь на физический труд; впрочем, сомнения эти всегда жили в народе и тревожили властителей, а потому и фараоновская разделительная черта с течением веков трансформировалась в некую генную, если так можно выразиться, несовместимость властей предержащих с бесправными, по которой первые (властители) стали именоваться благороднорожденными, а вторые — подлорожденными, чернью. Однако ни у исторической, ни у естественных наук нет доказательств того, что одни люди будто бы изначально являлись на свет с монаршим и княжеским значением, а другие — с ярмом на шее; напротив, представители наук единогласно утверждают, что происходил-де естественный отбор особей, когда сильные брали верх, а слабые подавлялись, и что это был закон природы, по которому и сегодня продолжает жить человечество. Что ж, такое толкование людского бытия небезосновательно, в него можно поверить, как, впрочем, в той же мере и усомниться в нем; усомниться потому, что человеку дан разум и что в согласии с этим разумом (или неразумностью) и вопреки законам природы он принялся обустраивать свою личную и общественную жизнь, и в результате такого отхода от естественных процессов становления и развития и явилось противоборство властителей и народа, вызвавшее к жизни державно-разделительную фараоновскую черту. Она живет, существует и с каждым столетием не только не сглаживается, как о том твердят троновещатели, особенно из развитых стран, наловчившихся срывать для себя плоды с древа хищнического мироустройства, но расширяется и укрепляется, углубляя раскол людских сообществ на пастырей и паству, господ и рабов, что, впрочем, следует относить уже не к личностям, а к народам, странам, континентам, и все доводы о том, что смешение наций, то есть интернационализм в перекошенно-извращенном его варианте, в каком сегодня навязывается людским сообществам, есть единственный путь ко всеобщему благоденствию и что будто исходит все из насущных потребностей бедствующих масс (видимо, мы забыли, отчего разгневанный Бог разрушил Вавилонскую башню и наделил каждую из ветвей человечества своим языком, своей культурой, своими традициями, своей нравственностью), доводы эти, будто лишь в результате смешения наций может возникнуть великое содружество и человечество, отказавшись от войн, раздоров, притеснений, поработительства, от самой возможности господства личности над народом, клана личностей над народами, вернется наконец ко временам идиллической — по древнеславян-

скому, скажем, образцу, образцу «славных Гипербореев» — жизни, представляют собой лишь элемент коварно задуманного всеглобального обмана, способного уже на новом этапе и на очередные сорок веков, если не больше, стагнировать человеческое сообщество в укоренившихся устоях хищнического бытия. Нам вроде бы как утопающим бросают спасательный круг, а на поверку — подводят к смертному одру, с которого уже сошли в небытие многие и многие доверчивые народы и не умевшие защитить себя великие и малые цивилизации.

XXII

Из вышесказанного, думаю, пора сделать некоторый предварительный, или промежуточный, вывод. Правители Египта — родоначальники нашей нынешней хваленой (хищнической) цивилизации,— начавшие свой вынужденный после сорокавекового тиранического господства исход на новые обетованные земли, должны были, первое, столкнуться с проблемой внедрения в среду порабощенных народов престольного чужеродства и, второе, с еще более важной проблемой — обеспечения долголетия или даже бессмертия этому внедрявшемуся ими (для своего господства) детищу. Обе эти проблемы и по начальной, и по конечной цели имели одну и ту же стартовую основу, и как только фараоновской державностью решена была на первом этапе проблема «внедрения», сопровождавшаяся изничтожением самобытных культур и самобытных цивилизаций порабощенных народов (трагедия славянства, стискиваемого и сегодня силами хищничества как с Запада, так и с Востока, может служить ярчайшим тому примером), династические преемники древнеегипетской государственности приступили к осуществлению второго этапа своего стратегического по захвату мирового господства замысла, к смешению племен, наций, народов, ибо в однородной среде, в сплоченном народе престольное чужеродство всегда отдает насилием, для него невозможно или почти невозможно найти оправдание, и оно в конце концов сметается возмущением масс; ведь единый народ всегда может постоять за свои интересы, тогда как в смешанной среде, где каждый тянет одеяло на себя и где национальная несовместимость приводит неминуемо к конфликтам, перерастающим часто в кровавые побоища,— в такой среде престольное чужеродство уже в силу естественных будто бы причин предстает не только оправданным, но и необходимым как некий арбитражный суд, поднятый над узконациональными интересами сторон и призванный умиротворять их. При таких обстоятельствах вроде бы сама собой создается ситуация видимой справедливости, люди уповают на власть, власть обретает право на легитимное поводырство и, поводырствуя в рамках этой своей легитимности, а по сути дела, с державной беспредельностью, сводит свою «арбитражную заданность» лишь к откровенному обиранию сторон в пользу престольного чужеродства; дворцы богатеют, набирают могущество, основатели престольного чужеродства объединяются в кланы с межтронным породнением (достаточно вспомнить здесь правящие династические дворы Европы) и, замыкаясь в этой своей богоизбранности, наглухо перекрывают доступ в свои царствующие верха представителям иных, чуждых по крови и духу народов. Как видим, схема проста: одним (народам) — безродность и смешение, тогда как другим (власть предержащим), в качестве которых выступают сегодня не только личности или кланы личностей, но и народы, пытающиеся утвердить себя (по древнеегипетской будто бы первородности) богоизбранными,— национальная обособленность, базирующаяся на чистоте крови, чистоте расы как на гарантах вечного властвования. Но мир не вечен, как не вечны и стагнированные еще со времен фараонов устои бытия; являются новые обстоятельства, меняется жизнь, а следовательно, и представление о ней, и фараоновская разделительная черта, положенная между властью и чернью, правителями и народами, не могла до бесконечности оставаться явной; сослужив сорокавековую службу властителям Египта, она с насаждением престольного чужеродства стала обретать роль некоего общественного раздражителя, подвигавшего массы к волнениям, протестам, бунтам (что впоследствии и вылилось в требование свободы, равенства, братства), и в преддверии — отдаленном преддверии — назревавших бурь, ко-

торые, несмотря ни на какие принятые меры сдерживания, все же начнут потрясать человечество, держатели престольного чужеродства вынуждены были неотъемную от себя богоизбранность перевести из явления гласного, явления открытого порядка, в явление скрытое, подспудное, то есть обратить обман явный в обман, прикрытый тайной предполагаемой (иного слова и не подобрать) святости и загадочности; древнеегипетская откровенность явления, когда лишь с помощью простейшего понятия «дети Солнца» фараоны поставили себя над народом и, ритуально закрепив за собой эту избранность, смогли сорок веков кряду безмятежно править народом и угнетать его,— откровенность эта, чтобы она не мешала властям и не компрометировала их, была ими, по сути, вычеркнута из перечня исторических познаний, будто такого явления не существовало вовсе, а если не существовало, значит, и не было преемственности ни в насаждении престольного чужеродства, ни в обеспечении долголетия этому двинувшемуся с берегов Нила на захват мирового господства монстру насилия и поработительства. Но ведь непроясненность прошлого неизменно ведет к непроясненности настоящего, и хотя между «детьми Солнца», «детьми небес», то есть «внеземными пришельцами», и понятием «благороднорожденные» есть самая прямая и непосредственная связь (и в том, и в другом случаях правители ставятся над народом, над чернью), однако мало кому приходит в голову объединить эти на тысячелетия отстоящие друг от друга явления, чтобы, разглядев таким образом стержневую основу их, сказать себе, что ничто или почти ничто (кроме имитирующих социальные и духовные перемены идеологических покрывал) не изменилось и не меняется со времен пирамид в устройстве общественного бытия, что «век Богов» никогда в общем-то не прерывался, что мы пребываем в том же, лишенном разве что гласности обмане и что, приняв древнеегипетскую цивилизацию как цивилизацию прогресса и процветания, мы, как некогда суеверные египтяне, лишь безропотно тянем лямку рабства, благоговея перед фараоновскими (хищническими) началами бытия. Мир человечества, озабоченный, как всегда, насущными проблемами дня, года, десятилетия, столетия, даже, по-моему, не заметил, как из одного социально-нравственного «кафтана» жизни — фараоны и рабы — был перенаряжен в другой, поделенный на благороднорожденных и подлорожденных; политики, философы, историки разных стран теперь наперебой заверяют, что мы широко «шагнули вперед» и во времени, и в развитии, что, дескать, давно уже нет не только фараонов и рабов, но и благородно- и подлорожденных, что сия разделительная черта оставлена позади и что если о чем и следует сегодня говорить, так разве что о «правах человека», которые не везде и не во всем еще соблюдаются, а главное — о гарантах сих «прав» для каждого, то есть опять же о сильных мира сего, возвратясь, по сути, на пройденный путь «великих вождей», «богоизбранных» монархов, «отцов наций», столь безвинно взирающих на нас с иконостасов, со стен картинных галерей, гранитных и мраморных пьедесталов и подавляющих нас видом (духом) могильных склепов, мавзолеев и пирамид; что ж, человечество, возможно, в чем-то и шагнуло вперед, но при этом оно не заметило главного — что ни на метр не продвинулось от фараоновской заданности ни в устройстве общественных отношений, ни в упорядочении общественного бытия, и, продолжая уверять себя, что неизменно поднимается (в своем поступательном движении) к вершинам всеобщего благоденствия, лишь топчется на пятачке одних и тех же однажды преподнесенных ему хищнических канонов жизни. Между тем при всей своей целостности явление «богоизбранности» я бы разделил на три периода развития: древнеегипетский (сорок веков), античный и постантичный (главным образом преддверие средневековья, средневековье и постсредневековье) и новейший (от эпохи английской и французской революций к нашим и будущим временам); характерной для первого периода была откровенность явления (фараоны и рабы), для второго — завуалированность этого же явления в понятия благородно- и подлорожденных (вместо фараонов — деспотические монархи, отчужденные от масс запретом смешения крови, вместо рабов — крепостные, отягченные теми же бесправием и нищетой), а для третьего — полная скрытность при том же благоденствии правящих олигархических элит и той же отчужденности и заброшенности народа. Однако приведен-

ную периодизацию нельзя рассматривать как поэтапное обновление жизни: обновляется не жизнь, а лишь одежда на ее стержневой (хищнической) основе, и если в первом периоде, периоде открытой, откровенной «богоизбранности», явление это более или менее ограничивалось рамками одной государственности, то во втором, в период активного насаждения древнеегипетской цивилизации среди народов Присредиземноморья и Европы, границы расширяются до континентальных и межконтинентальных масштабов, а в третьем, охватывающем новые и новейшие (наши) времена, становится не просто глобальным, но, высвободившись из узкомонархических уз, из дворцов и храмов, обретает симптомы нравственной (ползучей) чумы, поражающей как разум отдельных личностей, так и разум народов, даже, пожалуй, главным образом разум народов, готовых вместо мирного сосуществования, вместо добрососедства, когда бы уважались национальные приоритеты, национальные традиции, национальное достоинство каждой ветви сообщества, вести беспощадное истребление друг друга. Разве войны и революции двадцатого столетия не говорят об этом? Разве нужны какие-либо еще доказательства? Фараоновской «богоизбранностью» порождены и такие явления, как сословность и кастовость, и сколько бы нам ни твердили сегодня, что многие народы уже избавились и от сословности, и от кастовости, что мир вообще идет в этом направлении и что сословность и кастовость вскоре станут лишь достоянием истории, но вряд ли кто посмеет усомниться в том, что троннопродиктованная риторика политиков, философов, историков никогда, ни в прошлом, ни теперь, не соответствовала реальной действительности; есть сословия, есть касты, они столь прозрачны, что вряд ли нужно здесь перечислять их, да и не заметно что-то, чтобы между ними стиралась грань, и мне остается лишь добавить, что для доказательства истины нет более убедительного примера, чем сама жизнь.

XXIII

Ни прежде, ни теперь никто из аналитиков прошлого, как, впрочем, и аналитиков текущей действительности, не обращал внимание на то, что процесс становления и развития человечества представляет собой сплетение двух параллельно устремленных в века линий, одну из которых можно было бы определить как преемственность естественного порядка, когда навыки труда, быта, общественных отношений, обогащаясь, обрастая знаниями, передаются от поколения к поколению (и что можно было бы охарактеризовать как истинное движение к прогрессу и процветанию), а вторую — как преемственность рукотворных или, если выразиться точнее, поводырских начал, когда властители наследуют друг от друга навыки поработительства, престольного чужеродства и престольного долголетия (что, в свою очередь, можно было бы охарактеризовать как укоренение некогда исшедшей на просторы обетованных земель фараоновской хищнической державности, вступившей ныне в олигархический — с лозунгом «Демократия для всех» — период своего развития); в таком взгляде на историческую и текущую действительность нет, как увидим дальше, никакой условности и потому, что уклоняемся от исследования этой реальности бытия, то есть потому, что преемственность естественного порядка с ее созидательной основой и преемственность поводырскую с ее поработительскими устремлениями объединяем в некий целостный механизм развития, забывая при этом, что степень воздействия на жизнь созидательных (народных) и степень воздействия поработительских начал никогда не были и не могут быть равнозначны, многое в жизненных процессах как прошлого, так и настоящего остается загадочным, туманным (по крайней мере в восприятии простолюдинов), порождает догадки, вызывает сомнение и недоверие к канонизированным трудам историков и философов. Почему, к примеру, человечество (политики, философы, историки, теологи, во многом даже представители естественных наук, не говоря уже о гуманитариях, кладущих жизни на алтарь служения литературе, искусству, музыке, зодчеству), получившее, можно сказать, из рук фараонов хищническую цивилизацию, цивилизацию войн, раздоров, ненавистничества, национальной нетерпимости, цивилизацию господства и рабства, воздает хвалу

этому детищу нильских правителей, обернувшемуся для нас непомерными и неисчислимыми бедами, почему сорокавековое господство фараонов и сорокавековое рабство покоренного ими народа (народов) мы с восторженным придыханием называем «зарей человечества», а атрибуты древнеегипетской государственности с ее силовым и духовным обслуживанием именуем «великой цивилизацией» и поколение за поколением укладываемся в братские могилы за ее утверждение, загоняя в нее, как в стойло, народы с самобытным развитием и обращая их в толпы бесправных и безродных простолюдинов? «Почему?» — снова и снова я задаюсь этим вопросом, глядя на мир, на действительность вокруг, в которой все, к чему ни прикоснись, настолько пропитано ядом хищничества, что не остается и пятачка, где могла бы проявить себя добродетель. Ведь и сегодня мерилом истины предстает сила, мерилом справедливости и законности — власть, мерилом общего блага — благо дворцовых (банковско-промышленных по нынешним временам) элит, мерилом духовного проявления — степень служения власти, мерилом воинской доблести — порабощение народов, мерилом просвещения — догматы церкви, историческая, философская ложь, и так в любой сфере нашего «цивилизованного» бытия, к какой бы ни обратились, хоть в области семейных, хоть в области государственных или межгосударственных отношений, да, да, в любой сфере, и лишь по въевшейся в нас многовековой привычке (ведь альтернативных хищничеству цивилизаций нет, они уничтожены) мы не замечаем всей ужасающей глубины обмана, в каком живем и какой награждаем эпитетами прогресса и процветания. Почему, что все-таки лежит в основе этого растянувшегося на тысячелетия обмана, который, с одной стороны, очевидно прост, а с другой — неистощим по силе воздействия, и можно ли обвинять человечество в слепоте или недоумии, или оно планомерно и целенаправленно зомбируется властителями, не ведая о том, что с ним творят, и, получая с каждой эпохой новую порцию духовного яда, опять и опять оказывается в сетях призрачных надежд и мнимых свершений? Во все времена иерархи от исторических и философских знаний старательно избегали в своих трудах этих прямых и ясных оценок; избегали, если сказать обобщенно, потому что ни человечеству в целом (из соображений этического порядка), ни тем более правителям, вечно стоящим на страже тронных интересов, не хотелось представать обнаженными ни в свете исторических, ни в свете сиюминутных деяний; хоть штаны в заплатах, но все же — с Большой буквы, можно было бы поиронизировать над простонародьем, тогда как для правителей любое разоблачительство было и остается равнозначным смертному приговору. Однако я привожу эти доводы не для того, чтобы оправдать пристрастие (скорее троноугодничество) историков и философов, которые, приняв несовместимые величины за единоисходную меру истины и ступив таким образом на стезю обмана (или самообмана, если точнее), двинулись в тысячелетия по ней, облачая ложь в правду, и, надо признать, достаточно преуспев в этом фараоноугодническом, другого слова не подобрать, а по сути, антинародном (антинаучном) деле,— нет, нет, я никого не собираюсь здесь ни обвинять, ни оправдывать, а хочу только постичь истоки обмана, в каком человечество пребывает еще со времен пирамид. Ведь если встать на точку зрения историков и философов, то и в самом деле не так-то просто будет признать, что человечество из века в век подвергается зомбированию, то есть постоянно находится в неком силовом поле воздействия, в неком запугивании или страхе, притупляющем сознание, в некой боязни правды, которая, во-первых, вроде бы недоступна нашему рассудку (оттого и мечемся между признанием Бога как организующего начала жизни и отрицанием Его) и, во-вторых, чревата, если обнажить ее, непредсказуемыми, как пророчествуют нам, катаклизмами, новым всемирным потопом, концом света, Судным днем, напущением дьявольских сил, болезней, мора и еще и еще подобными библейскими страхами, и уж совсем непросто обвинить человечество (народ, народы, простолюдинов) в слепоте или недоумии, ибо нельзя же отобрать у людей саму мысль о самостоятельности развития; жить в бесправии и безволии, но с надеждой на будущее — это одно, а сознавать вечность для себя означенных категорий, то есть смириться с безысходностью,— совсем другое, и люди вряд ли, не имея стимула к существованию, могли бы существовать. Однако право-

мерность таких доводов — это только видимая правомерность, и она убедительна лишь при скользящем (поверхностном) взгляде на исторический процесс развития, тогда как при углубленном рассмотрении этого процесса становится очевидно, что если бы человечество развивалось по естественным законам жизни, то есть основывало бы свою цивилизацию не на хищнических, а на миролюбивых и добронравных началах (скажем, подобно «славным Гипербореям»), то и не было бы повода обвинять его в слепоте и недоумии; но так как все мы оказались во власти хищничества и, страдая от него, продолжаем воздавать хвалу навязанной нам «великой цивилизации», то вольно или невольно возникает вопрос: а являются ли слепота и недоумие врожденным свойством простолюдинов (во что, разумеется, невозможно поверить) или же поскольку простолюдие действительно-таки предстает в историческом процессе безвольной, ведомой поводырями массой, то не подвергается ли (в поколениях, да, именно в поколениях) той самой социально-нравственной обработке, то есть не зомбируется ли правителями, освоившими оружие духовного подавления, как и силовое, успешно (и не только на ранних этапах) применявшееся ими в порабощительстве народов и государств?

XXIV

Историческая наука, как известно, не заключена только в исследовании социальных и нравственных катаклизмов, потрясавших человечество со времен древнеегипетских пирамид, и уж тем более не может ограничиваться рамками «четырех империй», в какие пытался втиснуть ее блаженный Августин, как и рамками всевозможных новых и новейших теорий, коими наводняется ныне с государственных высот (по второму, третьему или даже десятому кругу) поле народного просветительства; то же самое можно сказать и о религиозных учениях, теснящих мирское просветительство своими богопредначертанными будто бы канонами, замыкающими наше мировосприятие и миротолкование в пределах святообозначенной стагнации. Конечно, были фараоны, цари, короли, были империи, царства, королевства, переименованные теперь в республики, были порабощенные народы, рождавшиеся, жившие и уходившие в небытие бесправными, нищими, обездоленными, и эта цепь античеловеческих деяний, ни разу не прервавшись в своей железной хватке эпох-колец, прирастает и ныне все тем же кольцом господства и рабства, ибо если меняется не стержень, а только его упаковка, то это означает, что, по сути, ничто не меняется; описания царств и царствований царей, королей, императоров и завоевательских походов великих полководцев (по нынешним временам — президентов, премьеров, вождей революций, «отцов наций», то есть очередных узурпаторов власти) не прояснили и не могли ничего прояснить в истории, а только усилили ее пьедестально-иконостасное толкование и, обеспечив престольному чужеродству искомое долголетие, продолжают удерживать людские массы во лжи, историческом невежестве и бесправии. Мне кажется, человечеству пора уже отказаться от истории царств и царей, истории завоевательских походов, мягко именуемых «великим переселением народов» (для полноты впечатления следовало бы, наверное, добавить слово «ненасильственным»), и не так, как практиковалось в средние века и практикуется ныне, когда вместо действительной создается лишь видимость переориентировки на народ, переориентировки в сострадательном, если так можно выразиться, наклонении и с призывами ко все новым и новым кровавым переворотам, кровавым братоубийственным войнам, а по сути, к очередным перераспределениям богатств, славы и власти между новоявленными претендентами на престол, о чем кричаще говорят факты истории и что, как правило, усугубляет обман и не проясняет и не устраняет его,— нет, нет, отказаться не так, а, решительно отмежевавшись от законизированных исторических шаблонов, от всевозможных «научных» и теологических выкладок, схем, предположений и утверждений, уводящих от истины, перейти к кардинальному исследованию истоков нынешнего миропорядка, что одно только может дать реальное представление о ходе развития человечества и вывести его к заветной цели благоденствия. Как уже упоминалось выше, все мы оши-

баемся, полагая, что мир монолитен (я говорю здесь не о мире вообще, а лишь о мире людских сообществ); возможно, изначально он и был монолитен, пока единственной преемственностью жизни была преемственность так называемого естественного порядка, когда поколения обогащались навыками труда (охоты), быта, семейных, родовых, общественных отношений, складывавшихся из потребностей народного бытия, и пока в этот монолит идиллических, от природных, а не от фараоновских начал жизни не стала вклиниваться с претензией на верховенство преемственность властного, поводырского направления, и потому коренным поворотом истории, поворотом в судьбе мирового сообщества следует считать тот день, год, век или эпоху, когда в поисках престольного долголетия фараонами Древнего Египта (скорее их троноугодным окружением) была предпринята первая попытка обрядить свою поводырскую, то есть дворцовую, поработительскую преемственность бытия в одежды естественной, народной, и придать таким образом установленному ими господству и рабству некое будничное, неизменное в веках течение жизни. Следует также признать, что успех или торжество навязанной нам древнеегипетской цивилизации находится в прямой зависимости от этой фараоновской — в деле притеснения масс — прозорливости; на фундаменте, заложенном ими в здание престольного долголетия, а затем и в долголетие престольного чужеродства, явившегося продолжением или следствием их сорокавекового господства на землях нильско-присредиземноморского бассейна,— да, на этом именно подтасовочно-сцементированном фундаменте обмана доверчивых простолюдинов как раз и создавалась, обогащаясь и укрепляясь новоизощренными разработками и дополнениями, цивилизация «прогресса и процветания», преподносимая нам ныне в таких одеяниях, таких красках, будто сама справедливость или по меньшей мере Божья благодать соизволила с небес сойти на землю. Но, чтобы поддерживать в людях этот обман, недостаточно оказалось только силовых мер воздействия (да и недолговечное, хлопотливое и дорогостоящее это удовольствие — царствовать на штыках), надо было искать новые формы поработительства, новое оружие подавления, и в качестве такового было взято (открыто и взято) магическое воздействие слова, положенное затем в основу библейских писаний. Мечом убивается плоть, силой слова опустошается душа человека, народа, народов; возможно, фараоны Древнего Египта были поражены этим открытием так же, как правители и простолюдины двадцатого столетия созданием ядерной и водородной бомб; их называют оружием сдерживания, и в какой-то мере можно, конечно, согласиться с этим, ибо народы, развращавшиеся в течение восьми десятков веков хищничеством, нужно чем-то удерживать от братоубийственных войн, насилий и злодеяний, но в еще большей степени они, эти бомбы, представляют собой оружие устрашения и подавления государств, не желающих мириться с насаждаемым ныне новым (от древнеегипетского господства и рабства) миропорядком, оружием мирового господства. Но вместе с тем даже это, казалось бы, самое мощное по воздействию оружие массового истребления (за мгновение им могут быть стерты с лика Земли континенты) не идет в сравнение с оружием слова, оружием духовного подавления, а если прямее и откровеннее, оружием зомбирования, которое, с одной стороны, рычаг долговременного пользования, а с другой — бесшумного, тихого, вроде бы бескровного, но столь же всеохватного поработительства. Фараонам Египта достаточно было озвучить двусловия: «Дети небес», «Дети Солнца», как подвластные им жители нильских берегов оказались на сорок веков поставленными на колени; нынешним же правителям для подобного действа требуются уже не двусловия, а научные (в ключе все того же обмана) идеологические разработки, которые и творятся в стенах созданных для этих целей всевозможных пропагандистских центров, исследовательских институтов, академий. Браво нынешним властителям мира, не посрамили отцов первородной древнеегипетской (хищнической) цивилизации, сумели поставить как дело престольного чужеродства, так и дело престольного долголетия на широкомасштабную основу, так что людям (простолюдинам) нечего волноваться, за них думают, им готовят, как и во все прежние времена, «желанное благоденствие»! Если бы летописцы, историки, философы, оракулы, прорицатели, теологи, основоположники торжествующих ныне

фундаментальных религиозных учений действительно хотели постичь истину бытия, они вполне могли бы, судя по их высказываниям, сосредоточиться на главном явлении — противоборстве двух антагонистических начал как в механизме природной жизни (плюс — минус, притяжение — отталкивание), так и в устройстве общественных отношений и общественного бытия, а не уводили бы человечество в пустоту магических чисел 3, 7, 12, в рамках которых по Божьему будто бы промыслу все происходило, происходит и будет происходить в мире. Думаю, вряд ли здесь нужно вдаваться в подробности, но стоит, однако, заметить, что, к примеру, по предсказаниям древнеегипетских оракулов человечество должно пройти три стадии развития: век богов, век героев, век людей; две стадии, надо полагать, теперь оставлены позади — сорок веков фараоновского господства и более двадцати веков античных кровавых завоевательских войн,— и все мы вошли уже в завершающую, третью стадию, в век людей, но разве хоть что-либо изменилось в мироустройстве со стержневой основой господства и рабства? Три Рима — первый, второй, третий, а четвертому не бывать, но разве не из Вашингтона — четвертого Рима — продиктовываются сегодня условия вселенского бытия? Нельзя не упомянуть и о трех главнейших религиозных учениях мира — буддизме, христианстве, мусульманстве, о триединстве Творца — Бог-отец, Бог-сын и Святой дух и троекратном аллилуйствовании Ему: «Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господи!» — как и о нашем российском триединстве — самодержавие, православие, народность,— которое в обновленных понятиях снова пытаются навязать славянскому люду. Что ж, если бы иерархи от исторических и философских знаний, от светских и церковных престолов действительно хотели реалистически истолковать устройство мира и человеческое бытие в нем, то не стали бы питать людское сообщество сонмом ложных посылов и ложных выводов, открывая тем самым простор для вселенского троннозапущенного обмана, но обратились бы к противоборству полюсных сил: в природе — плюс и минус, притяжение и отталкивание (тут я просто вынужден повториться), в общественном бытии — противостояние добра и зла, народа и власти, естественной преемственности жизни и дворцовой, поводырской, на чем создавалась, держалась и держится всеподавляющая система господства и рабства с ее силовым и духовным, то есть кровавым и бескровным, вроде бы подавлением человеческой воли,— обратились бы именно к этим стержневым основам жизни, этому главнейшему механизму движения, подчиняющемуся в природе естественным, а потому гармоничным законам бытия, в человеческом сообществе — произволу развращенного хищничеством (от древнеегипетского первородства) нашего разума.

XXV

Если бы мир бытия был единым, монолитным, человечеству оставалось бы лишь пользоваться благами этого мира, сберегая его и себя в нем как части целой и неделимой природы; только в таком случае безальтернативной эстафетой жизни для людских сообществ явилась бы та естественная, исходившая из общежитейских нужд преемственность навыков труда (охоты), быта, семейных, родовых, племенных, национальных и межнациональных отношений, которая, господствуя, исключила бы саму возможность обмана и порабощения; но стезя, на какую ступило человечество, оказалась стезей совсем иного рода, и хотя накоплено уже достаточно ответов на вопрос о том, как случилось, что люди предпочли пойти именно тем путем, каким идем, страдая и не находя удовлетворения ни в политическом устройстве бытия, ни в экономических и духовных потребностях (и ведь многие ответы звучат весьма и весьма убедительно), однако истина, способная прояснить до конца суть исторического процесса, по-прежнему остается недостижимой. Почему? Наверное, потому, что истина в законченном ее виде не интересует нас, мы не приближаемся к ней, а отдаляемся от нее; отдаляемся в силу разных причин, объективных и необъективных, то есть либо погрязаем в троноугодничестве, либо, не имея требуемого доступа к древности (его никто и никогда не имел в должном объеме), прибегаем, с одной стороны, к услугам обычной, житейской логики, подменяя действи-

тельный ход событий возможными предположениями и доводами, а с другой — открываем шлюзы для воображенных и потому еще менее реальных (с точки зрения исторической достоверности) картин древнего бытия. А ведь известно, что логика человеческого мышления не всегда совпадает с логикой жизни, аксиому сию вряд ли нужно открывать заново, она известна, и пренебрежение ею не только не способствует познанию того или иного исследуемого предмета, но часто приводит даже к отторжению того, что было уже познано, и человечество вновь и вновь погружается в мир магических предзнаменований и символов. Парадоксально, но факт, ибо в исследовании бытия людских сообществ мы всегда стояли, как стоим и сегодня, на меже правды и правдоподобия, и всякое движение в сторону правды чревато одними последствиями, тронноразоблачительными, а в сторону правдоподобия — другими, способными лишить троны и тронных особ доверия масс, вот и балансируем между тяжестью искажений, пробелов и умолчаний в оценках исторических деяний и пышностью бутафорских покрывал, имитирующих приглядность навязанного человечеству далеко и далеко не приглядного, мягко говоря, хищнического бытия. Во всех историографиях мира мы встречаем выражения: «когда общество было бесклассовым»,— после чего следует все, что известно об этом бесклассовом обществе,— и «когда разделилось на классы» — и все о классовом с учетом новых и новейших разработок; я не собираюсь оспаривать правомерность такого деления, однако должен заметить, что хотя мир и не монолитен, но и не поделен на некие не связанные между собой половины, чтобы можно было, разбирая их по отдельности, определяться в закономерностях жизни; такой подход может привести лишь к искаженным суждениям, поскольку все, что происходило и происходит с человечеством, имеет один отсчет времени, одну стартовую основу, и если на раннем этапе истории мы застаем людские сообщества в момент (период) их бесклассового развития, то это не означает, что бесклассовости не предшествовало что-то, что как раз и явило потребность идиллического бытия; когда же (на втором этапе) застаем человечество уже поделенным на классы, то, располагая сведениями о предшествовавшем, то есть доклассовом, периоде, из которого ни по каким естественным законам природы, сколько бы мы ни апеллировали к логике человеческого мышления или логике жизни, не могло произойти прямо противоположное тому, что было (я беру пока лишь сферу общественных отношений),— располагая этими неоспоримыми сведениями, должны, как минимум, задаться вопросом: а что, собственно, послужило причиной или поводом для подобного рода крутого поворота в ходе исторического процесса развития, какие силы верховодили в нем и вытекало ли все из потребностей народной жизни (что по крайней мере соответствовало бы логическому представлению о естественном ходе событий) или из потребностей тех олигархических элит, которые, встав над народом (народами), то есть открыв для себя возможность закабаления масс, с решительностью Творца взялись за дело? Во всяком случае, между бесклассовым и классовым этапами развития, если обратиться к реальностям жизни, никогда не было ни четко проведенной разделительной черты, ни тем более растянувшегося на тысячелетия пробела, а был лишь тот переходный период, когда в противоборстве определенных сил (между народом и властью, можно было бы уточнить) как раз и начали формироваться ростки ныне повсеместно торжествующей нашей хищнической цивилизации, и если бы мы хотели иметь ключ к этому «ларчику бытия», который открывается просто, то должны были бы обратиться к зияющему на пространстве веков (пространстве писаной истории) пробелу и заполнить его пусть хотя бы приближенными к действительности (на большее вряд ли за неимением достоверных свидетельств сегодня можно рассчитывать) предположениями. Однако традиции, сложившиеся как в мировой, так и в отечественной историографиях, таковы, что пробел между классовым и бесклассовым развитием людских сообществ мы подменяем (заполняем) неким условным водоразделом, от которого либо ведем отсчет в древность, либо в античные, средние и новейшие времена (подобно отсчету веков от Рождества Христова), что представляется нам и естественным, и закономерным, тогда как на самом деле в очередной раз лишь возводим в энную степень наше историческое невежество. Чем (или кем)

продиктовывается такой подход к изучению истории? Не думаю, чтобы дело заключалось только в недостатке материалов по древности, поскольку в других подобных случаях иерархи от исторических и философских знаний тут же прибегают к логическим построениям, выводам и утверждениям; видимо, как было в прошлом, так и теперь — кому-то очень и очень не нужна историческая правда, открывающая поработительскую сущность власти (в конце концов ведь государственность, придуманная фараонами,— это всего лишь узаконенное рэкетирство и не более того), и вернейшим способом оправдания или даже возвеличивания тронов и тронных особ (в целях, разумеется, расширения и упрочения престольного чужеродства и сохранения престольного долголетия) является либо способ умолчания, либо искажения в нужную сторону даже вполне очевидных и достоверных фактов истории. Мы, по сути, игнорируем главнейший этап развития человечества, сжав его, как мехи гармони, между двумя кнопочными планками, дескать, было до и есть после, а что произошло в переходный период развития, когда закладывались основы хищнического бытия, не имеет значения, ибо все равно ничего изменить нельзя; возможно, иерархам от академий придется не по душе такой вывод, потому что мыслимо ли, чтобы кто-то вдруг взял и перечеркнул многотысячелетний труд историков; но я не собираюсь ничего перечеркивать, а только констатирую, исходя из этих именно многотысячелетних трудов историков, что ни на один главнейший вопрос как прошлого, так и текущего бытия ни историческая наука в целом, ни официальная историография, действующая на просветительской ниве народа (народов, простолюдинов), не дает сколько-нибудь удовлетворительного ответа; в плане общественных отношений и общественного бытия человечество давно уже топчется на месте, а если и продвигается, то лишь в очерченных пределах господства и рабства, и можно сколько угодно возражать против такого утверждения, но от этого суть дела не изменится, и мы еще и еще будем оставаться в яме страданий, молясь на иконостасы и благоговея перед «историческими изысканиями», подающимися нам в качестве аксиомы человеческого бытия и вновь и вновь лишь приводящими на поклон к светским и церковным алтарям власти.

XXVI

Возможно, я ошибаюсь, говоря, что путь к познанию хоть исторического, хоть текущего бытия лежит через познание истоков тех укоренившихся ныне (на базе хищничества) явлений жизни, которые либо имеют генетическую основу, и в таком случае нам остается только признать, что все совершавшееся и совершающееся с нами есть не больше, не меньше, как результат естественного развития (или божественного предначертания), и мы можем совершенствоваться лишь в рамках этого стихийного процесса, то есть в строго ограниченных будто бы природной закономерностью рамках господства и рабства, либо основу рукотворную, то есть от произвола человеческого разума, воли и духа, что вроде бы должно давать нам свободу в обустройстве нашего бытия (сами создаем, сами вольны изменять и рушить), но что, напротив, и словно бы в насмешку над закономерностями природы и волей Творца только сильнее сковывает нас в рабском повиновении навязанным обстоятельствам. Странно, противоестественно, но чтобы понять противоестественную суть этих навязанных и продолжающих навязываться обстоятельств, следует прежде всего обратиться к ходу развития самой исторической науки как науки познания человеческого бытия, к ее зарождению и к тем тронноугодническим функциям, которые она в упряжке с естественными науками, культурой, литературой, искусством, музыкой, живописью, зодчеством, поставленными на службу тронов, выполняла на протяжении тысячелетий, как не перестает выполнять и сегодня, несмотря на всевозрастающий уровень просветительства в массах и на то, что служение новым властным структурам (олигархам от якобы демократических начал), выдаваемое за служение человечеству, уже мало кого может ввести в заблуждение относительно преследуемых ею целей. Ученым мужам, как я полагаю, будет трудно, наверное, согласиться с утверждением, что историческая наука, глав-

ным предметом исследования которой является процесс становления и развития общественных отношений и общественного бытия, за весь свой многотысячелетний период действий так и не смогла ответить на вопрос: что же в проявлениях человека, народа, народов можно и должно относить к естественному процессу развития: проявление хищничества или проявление добронравия и миролюбия, и если хищничества, то каковы истоки этого всеохватного зла и возможно ли пресечь или хотя бы нейтрализовать его развращающее воздействие на массы, а если добронравие и миролюбие, то каким образом эти, может быть, действительно естественные начала человеческой заданности оказались подавленными и обращенными, по сути, в порок, приносящий личностям, народу, народам лишь беды, нищету, кабалу и бесправие? Да, ученые мужи, думаю, вряд ли согласятся с тем, что историческая наука как она отгородилась в начале своего рождения от проникновения в нее истин частоколом всевозможных старозаветных и новозаветных догм (словно от разрушительных азиатских полчищ), так и продолжает отсиживаться за этим частоколом, подновляя и подпирая его внушительностью своих академических и магистерских (тронноугоднических, иначе не назовешь их) рассуждений. В то время как на рубеже XVII, XVIII, XIX столетий естественные науки, преодолев свой догматический барьер, делают решительный скачок в познании материального мира, мира природных явлений и закономерностей (Ньютон, Паскаль, Пастер, Лавуазье и т. д., открытия следуют за открытиями, поражающими воображение и подрывающими веру в Творца как организующего начала Вселенной), историческая наука как наука познания человеческого бытия продолжает топтаться на месте, вцепившись чуть ли не зубами в те незыблемые будто бы догматы древности, святость которых, основанная на их вековом троноугодничестве, не должна подвергаться сомнению и пересмотру. Историки и философы доаристотелевского и аристотелевского периодов, которые закладывали первые камни в основание означенных наук, большей частью лишь констатировали явления жизни, а не объясняли их (я имею в виду прежде всего становление общественных отношений и общественного бытия); тот же Аристотель, к примеру, поделив людей на носителей духа и обладателей плоти, не стал вдаваться в подробности, почему именно одни рождаются для господства, другие — для рабства, ибо подобное деление представлялось ему аксиомой, которую он выводил из известной ему исторической (сорок веков фараоновского господства и рабства) и текущей (правящие олигархи и бесправный демос, илоты, рабы) действительности; этим же принципом (принципом констатации), на мой взгляд, воспользовались и позднейшие исследователи человеческого бытия, решившие поделить ход развития человеческого сообщества на два периода — бесклассовый и классовый; ограничившись лишь фиксацией того, что виделось им в прошлой и окружавшей их жизни и представлялось закономерностью, то есть своего рода аксиомой, которую надо только принимать и исходя из которой выстраивать мировосприятие, они, в сущности, если говорить образно, выстилая себе дорогу к истине, выстилали ее в пустоту, ибо точно так же, как нельзя объяснить естественными законами аристотелево разделение людей на носителей духа и обладателей плоти (хотя формулировка эта не утратила своего значения и по нынешний день), нельзя объяснить естественным ходом развития и появление классов на базе бесклассовой, то есть безнасильственной, идиллической жизни. Надо также сказать, что современные исследователи этого процесса, видя всю неаксиоматичность предложенного исторического посыла, предпринимают попытки объяснить переход от бесклассового периода к классовому неким первоначальным (стихийным) накопительством богатств и возникновением права на частную, а затем и клановую, олигархическую собственность (по аналогии или, может быть, в оправдание того процесса «начального накопительства», через какой в разное время прошли Англия, Франция, Германия, Соединенные Штаты Америки и через какой проходит теперь Россия, в очередной раз разграбляемая помазанниками от хищничества в одеждах народных благодетелей); и хотя подобное толкование не лишено оснований — возможно, все так и было,— но оно опять же не выходит за рамки констатации, да и сам процесс формирования классов, мне кажется, далеко еще не завершен, судя по нарастающему

противостоянию народа (народов) и власти, и уж вовсе не предстает таким упрощенным в своих новых и новейших формах порабощительства, каким норовят подать его нам магистры от исторических, экономических и философских знаний. Вообще-то среди историков и философов дебатируются две версии развития человечества: версия монолитного развития, основанная на единой генетической заданности, и поэтапного, в которой естественная закономерность природы оказалась подмененной произволом человеческого разума, воли и духа, и хотя обе версии вроде бы равно — и с древнейших времен — существуют в исторической науке, равно на протяжении тысячелетий выдвигались в лидирующее положение, и даже можно отметить периоды, когда иерархи от знаний находились почти уже у цели, но то ли у них иссякали силы, когда до вершины оставался лишь шаг, то ли, спохватившись, в действие вступали противовесы от тронов и тронных особ, которым правда истории все равно что нож к горлу, и все вновь возвращалось в область схоластических споров, гипотез и рассуждений. Случайно это или не случайно? Думаю, не случайно, ибо там, где все четко прояснено, для лжи и обмана (на чем только и возводились и стоят троны) нет места; лишь в хаосе мнимых истин, где всякое явление жизни облачено в кафтан непостижимости, кафтан недомолвок, предвзятостей и искажений, где реалистическое восприятие мира переведено в значение символов, окольцованных нимбами святости (ведь нам и сегодня не перестают внушать, что все мы живы промыслом Божьим),— лишь в хаосе мнимых истин любую ложь, любой обман нетрудно выдать за правду или правдоподобие, и каким бы простым ни казался нам этот излюбленный прием властителей, к какому они прибегали всегда, как, впрочем, прибегают и теперь, блюдя свое тронное (президентское, премьерское по нынешним временам) благополучие, но он же, этот простейший прием обмана, как некий краеугольный камень невежества, да, именно невежества, а не познания, лежит в основании всей нашей писаной истории. Ведь и сегодня ни у теоретиков-монолитчиков, назовем их так для краткости, ни у сторонников поэтапного, то есть бесклассово-классового, развития человечества нет тех исчерпывающих доводов в защиту дебатируемых теорий, на основании которых можно было бы либо окончательно отвергнуть, либо безоговорочно принять одну из них; и дело, наверное, не столько в аргументах, которые в конце концов (было бы на то желание) можно вычленить из явлений исторического и текущего бытия и, обобщив, выйти на закономерности, каким подчинены эти явления, сколько в недостатке решимости и воли довести исследования до конца да и в тех вынужденных оглядках на троны (президентские и премьерские дворцы и гигантские банковско-промышленные небоскребы, нынешние символы мирового господства), милость и немилость которых и сегодня, как и во все времена, не знает границ. Вообще-то вся наша жизнь обусловлена традициями, и, возможно, ни в чем они не проявляются так глубоко, как в подходах (или методах) изучения истории; традиционно мы забываем, что историческая наука должна быть столь же аналитичной, как и точные, то есть естественные, науки, традиционно не замечаем, что, следуя в фарватере античных и доантичных историков и философов (главным образом, в фарватере Сократа, Платона, Аристотеля), продолжаем довольствоваться лишь констатацией фактов, подменяя аналитические исследования истоков очевидным (внешним) драматизмом событий, наложивших отпечаток на ход становления и развития человеческого сообщества, и — хотим ли мы этого, не хотим ли — с отдалением веков отдаляемся и от присущего человеческому разуму реалистического восприятия жизни. Можно по-разному относиться, например, к Библии, но после Сократа, Платона и Аристотеля Священная Книга наложила, может быть, самый значительный отпечаток на историческое мышление людей; для многих она и доныне остается главнейшим учебником по древней истории, и это не случайно, поскольку события, изложенные в ней, носят не столько божественный, сколько исторический и поучительный характер; но и она, соединившая в себе Старый и Новый Заветы, если без божественного трепета подходить к ним и рассматривать не как священные, а как исторические писания, каковыми они, в сущности, и являются,— они тоже лишь констатируют Царствие Божие (пастыри и паства), то есть начинают исторический отсчет времени

от классового уже периода развития (от сорокавекового фараоновского господства и рабства), от государственного устройства с его насилием и поработительством, как бы спроецированного (хотя прямо об этом и не говорится) с небес на землю, и если верить Священной Книге, то никакого бесклассового периода развития у человечества и не было, а был и есть только единый Творец Вселенной, Творец жизни, представленный в лицах Бога-отца, Бога-сына и Святого Духа, и есть паства, рабы Божьи, и что так было и будет до скончания веков. Такое толкование истории при тогдашнем всеобщем или почти всеобщем историческом невежестве населения легко было выдавать за абсолютную (научную) истину, и оно редко у кого вызывало сомнение, а если и вызывало, то тут же и заглушалось сонмом господствовавших светских и религиозных «истин», еретиков распинали или тащили на костер, и человечество, как младенец, уложенный в люльку, вновь доверчиво погружалось в летаргический сон на столетия, на тысячелетия, подавленное тяжестью церковных и монарших устрашений; но затем, когда просветительство хотя и с трудом, но все же начало пробиваться к народу (процесс этот, впрочем, и сегодня не получил еще должного развития), поддерживать тронноразработанную сказку о человеческом бытии (о сотворении мира, пусть даже переложенную на светский манер и подкрепленную «научными» изысканиями) становилось все сложнее и сложнее, карательные меры, как и меры устрашения, уже не действовали на людей, как действовали прежде, и в этой обстановке народного пробуждения, отмеченной в истории эпохой Возрождения, эпохой протестантизма, перешедшей в эпоху революционных бурь и потрясений, хранителям фараоновской державности ничего не оставалось, как только вновь задействовать свой задремавший было «научный» потенциал, дабы с помощью новых усложненных риторик восстановить глянец правды или хотя бы правдоподобия на скрижалях (древних, а потому вроде бы и пророческих) истин.

XXVII

Однако я бы не сказал, что историкам и философам новейших времен удалось выполнить фараоновский державный заказ по наведению глянца правды или хотя бы правдоподобия на обветшалых скрижалях древних истин с таким же блеском и глубиной ума, как это в свое время было исполнено Платоном и Аристотелем; академические светила эпохи Возрождения, протестантизма, революционных бурь и потрясений (последняя, пожалуй, только еще набирает силы, и неизвестно еще, что можно ожидать от нее в будущем), хотя и не пошли по стопам составителя первой всемирной истории (истории четырех империй) блаженного Августина, отвергнувшего с позиций христианства языческие будто бы учения Платона и Аристотеля, а, отказавшись и от языческого, и от христианского объяснения мира, решительно, казалось бы, встали на путь реалистических толкований, но, как свидетельствуют их многочисленные труды, не только не смогли до конца развенчать стагнационную сущность религиозных учений, но и не сумели придать хоть какую-либо завершенность своим основанным вроде бы на естественных закономерностях теориям эволюционного (с признанием стихийности) развития. Как и предшественники, они, словно бы проскользнув мимо главнейших событий истории — истории становления общественных отношений и общественного бытия, возникновения господства и рабства как самоубийственной системы жизни и власти как аппарата насилия одних людей над духом и плотью других,— не сделали ни одной сколько-нибудь серьезной попытки даже приблизиться к уяснению этих исторических истин. У меня нет возможности перечислить здесь все возникавшие в этом плане теории, а потому позволю себе остановиться лишь на некоторых, получивших достаточно широкое распространение, как, например, теория происхождения человека от обезьяны, из которой вытекает, что будто бы только труд поднял человека с колен на ноги и сделал человеком; разумеется, в этой эволюционной теории есть нечто достоверное или, вернее, правдоподобное и даже привлекательное, но если бы предположение сие и в самом деле удалось доказать, то оно все равно не дало бы ответа на стоящий перед человечеством вопрос о возник-

новении власти как аппарата насилия и порабощения и об истоках господства и рабства, насквозь пронизавших всю общественную жизнь людей. Труд сделал человека человеком, но что делало и делает людей властителями и тиранами? Откуда взялись классы, что представляет собой хищничество, природную ли (генетическую) заданность человечества, отдельных личностей или народов или нечто привнесенное лишь необузданностью и произволом нашего разума? Неприятие теологического толкования мира подтолкнуло ученых к новому вроде бы взгляду на исторический процесс развития — поэтапному, из архивов древности вновь было извлечено священное число «три» (трюизм, или триада, как некая высшая предначертанность), и в рамках этой обновленной формулы жизни явилась поэтическая концепция Гесиода, согласно которой считалось, что «сначала человечество прошло через золотой век, потом — серебряный и наконец — железный» (ну чем не калька с предсказания древнеегипетских оракулов: век богов, век героев, век людей); предки наши, оказывается, чуть ли не «купались в золоте и достатке, но постепенно очередные поколения деградировали и обеднели, пока в конце концов у них не осталось ничего, кроме железа». Хотя концепция Гесиода и не была признана научной, но все же считалась шагом вперед в освещении прошлого и, как легенда, сохраняла влияние на историческое мышление людей почти до самого конца XIX столетия. Думаю, ее и сегодня нельзя списывать со счетов, как некий досужий вымысел, ибо в ней (пусть хотя бы по-эзоповски) обозначен трюизм соскальзывания человечества с высот заданной природной духовности в трясину войн, раздоров, разврата и порабощительства; возможно, что создатель трехступенчатой поэтической концепции развития человечества иносказательно, да, именно иносказательно (ведь противостоять религиозным учениям и сегодня непросто и небезопасно) хотел донести до нас познанную истину, что отвергнутая предками бесклассовая, идиллическая система жизни — вот золотой век нашей истории и что в переходный от бесклассового к классовому периоду мы, «деградируя», прошли сперва через серебряный век и, окончательно обезумев в своем разгулявшемся произволе, достигли железного. Так это или не так, не могу поручиться за полную достоверность, но, мне кажется, Гесиод был недалек от истины. Вслед за его поэтической концепцией на свет явилось еще несколько теорий столь же поэтапного, в рамках трюизма, развития, на которые небезынтересно было бы взглянуть в сравнительном варианте:

1. Век богов, героев, людей.
2. Золотой век, серебряный, железный.
3. Каменный век, бронзовый, железный.
4. Бесклассовый период, переходный, классовый.

Первое, что бросается в глаза,— очевидное различие и очевидное единство этих теорий; различие в том, что древнеегипетские оракулы соотносили свою теорию не с древом жизни вообще, а с древом власти, и тут нетрудно вычислить, что золотой век для правителей, то есть фараонов, единодержавно сорок веков господствовавших в Египте, был век богов, серебряный, связанный с трудностями добывания и удержания власти — век героев и железный, соответствующий веку людей,— наша текущая действительность, когда лишь подброшенный в массы соблазн власти позволяет все тем же избранным личностям и народам править миром и угнетать его. Три периода упоения властью, три периода барства и беспредела правителей и три периода жестокости и насилия для бесправных простолюдинских масс — рабство беспросветное, рабство античное, рабство религиозное и крепостничество. Самое печальное и, может быть, удивительное здесь состоит в том, что предсказание древненильских оракулов вовсе не оказалось для истории пустым звуком, и если их трюизм наложить на ход развития человечества, то можно предположить, что они либо и впрямь были сверхгениальными пророками, либо их тронноугодное предсказание настолько отвечало запросам и нуждам укоренявшейся тогда власти, настолько оказалось неотъемлемым от нее, что легло в основу неких могущественных тайн (закономерностей престольного долголетия, а возможно, и бессмертия), коими интуитивно и доныне, словно всосанной с молоком матери несчетно-вековой традицией самосохранения, пользуются правители всех мастей

и рангов, выстраивая историческую и текущую жизнь людей. Заслугой же Гесиода можно считать то, что он был одним из первых, кто решительно выступил против такого традиционного (в русле теологических учений) толкования истории как истории царств и царствований и обратился к древу народной жизни, к человечеству как целостному организму, который, «деградируя» (по причинам, о коих можно только догадываться), двигался не от дикости к прогрессу, а от прогресса к дикости (по крайней мере в нравственном отношении), и здесь, как и в пророчестве нильских оракулов, есть своя правда, может быть, даже более реалистичная, чем может показаться при беглом взгляде. Следующей попыткой раздвинуть мрак исторического невежества явилась теория двухполярного развития — от бесклассового общества к классовому (уже позднее, когда обозначился недостающий переходный период, она преобразилась в формулу трюизма), и хотя новоизобретение не имело вроде бы никакого отношения к поэтической концепции Гесиода, но в то же время по стержневой своей сути являлось прямым ее продолжением; прямым по меньшей мере в двух аспектах — в обращении к древу народной жизни и, соответственно, признании права людских масс на роль и место в историческом процессе и в противопоставлении эволюционного хода развития теологическим канонам бытия. Разработчики этой теории, может быть, сами того не подозревая, пришли к страшной, если ее выразить понятиями современности, мысли, что человечество, отказавшись от естественной, природной, идиллической заданности жизни, само навязало себе путь в хищничество. Они словно бы приоткрыли дверь к истине, но, приоткрыв, тут же и захлопнули ее. Что напугало их в их устремлениях, думаю, нетрудно предположить; а ведь если бы они пусть даже с неполной прямотой и откровенностью, но в русле неподкупного реализма попытались обнажить действительные причины, подвигнувшие человечество к столь странному переходу от гармонии в общественных отношениях к эпохам войн, раздоров, разврата и поработительства, мы находились бы теперь совсем на иной ступени познания, а историческая наука смогла бы совершить точно такой же прорыв в своих исследованиях, какой совершили и продолжают совершать естественные (точные) науки в области познания материального мира. Но то ли мужи от духовности и в самом деле были поражены глухотой к насущным проблемам человеческого бытия, то ли за тысячелетия (со времен пирамид) так и не смогли (или не пожелали) освободиться от фараоновской заданности по зомбированию масс,— не знаю, не знаю, но одно ясно несомненно, что за весь период своего развития наука о человеческом бытии так и не удосужилась приступить к исследованию коренных вопросов складывавшейся жизни.

XXVIII

Есть, на мой взгляд, два объяснения такому поведению ученых мужей: житейская зашоренность, да, самая обыкновенная житейская (психологическая) зашоренность, когда магнетизм окружающей обстановки, в данном случае магнетизм определенных исторических версий, идей, предположений, утверждений и разработок, сообразовавшись за века в некую зримо-плазменную основу научных представлений об историческом и текущем бытии людей, настолько стагнирует наше восприятие действительности, что даже сама суть жизни как постоянное движение и развитие — суть эта становится порогом, который исконный наш консерватизм не позволяет нам переступать, и тронноугодная заданность, которую, однако, нельзя воспринимать только как прямой диктат правителей, озабоченных укреплением престолов, но следует рассматривать в плане противоборства властителей и народа (противоборства интересов древа власти и древа народной жизни), когда в дополнение к оружию физического насилия берется оружие духовного подавления и создается та определенная (духовная) атмосфера ценностей жизни, возвеличивающих троны и тронных особ, которая, обретая свой (по принципу житейского) магнетизм воздействия, оборачивается той же стагнационной зашоренностью в области научных представлений о возможных исторических истоках человеческого бытия. Как видим, и в том, и в другом случаях действует одна и та же закономерность; но если в пер-

вом случае она органична, естественна и несет лишь оберегательные функции, ибо среда обитания человека хоть в материальном, хоть в духовном, хоть в каком-либо еще плане есть величина постоянная или, вернее, должна быть величиной постоянной и консерватизм наш в первую очередь связан именно с этой потребностью, то во втором, то есть в случае целенаправленного психологического воздействия, просто-напросто эксплуатируется житейская приверженность к основательности и стабильности, когда с помощью навязываемых канонов (ценностей) бытия создается, как уже говорилось выше, определенная (троннопродиктованная) социально-нравственная атмосфера жизни, и, завораживаясь этой атмосферой (этой богоданной будто бы аурой земного существования), все мы, в том числе и ученые мужи, подпадаем под ее психологическое давление и действуем в соответствии с органичной для нас и вполне объяснимой закономерностью. Точно так же, как мы живем в обрамлении нашего домашнего (семейного) бытия, люди науки, ставшие на стезю исторических исследований, осознают себя в окружении накопленных человечеством за века достоверных и мнимых истин; предметы древности, найденные в археологических раскопках, древние письмена, скрижали, папирусы, летописные своды, труды доантичных, античных и постантичных историков и философов, я не говорю уже об архивах, музеях, библиотеках, в которых сосредоточены все эти плоды многотысячелетних умствований народов, и о чувствах людей, входящих в эти святилища мудрости, чтобы погрузиться духом и плотью в невозвратный трагизм веков,— все, все это, объединенное в научную суть истории, давит на нас пластом прожитой человечеством жизни и удерживает не столько от критиканства и неприятия, сколько от разумных сомнений, ведущих к познанию истины. Я понимаю, что высказанное здесь может стать в некотором роде оправданием для тех, кто так ли, иначе ли (в тысячелетиях) составлял для нас писаное изложение исторических событий, комментируя, оценивая и выводя из своих комментариев и оценок назидательные постулаты для будущих поколений (стоило бы, наверное, поклониться их величайшим усилиям); но, во-первых, любые исторические деяния и, в первую очередь деяния духовного порядка, могут быть опорочены или оправданы только временем, только своей итоговой сутью, которая сегодня такова, что не нуждается в пояснениях, и, во-вторых, дело в конце концов не в зашоренности вообще, свойственной людям, не в традиционном консерватизме, который сопровождает нас всюду и служит своеобразной охранной грамотой, нарушение которой всегда чревато великими и малыми потрясениями (для славянства, к примеру, отлучение от самобытности обернулось тысячелетними нескончаемыми бедами), а в том, что, стараясь вникнуть в сложности духовного и материального мира, мужи науки оказались прежде всего зашоренными относительно своих собственных деяний. Воспринимая мир как некий законченный вариант господства и рабства, то есть сообразуясь не с возможностями гармоничной (идиллической) заданности развития общественных отношений и общественного бытия, что только и требовалось от них и могло в корне изменить ход исторического процесса, а с постулатами хищничества, врубленными в гармоничный (идиллический) мир людей и развратившими его, они служили не истине и науке, а лжи и насилию; действуя в рамках утверждавшихся социально-нравственных систем бытия, они вольно или невольно укрепляли (каждый в свою эпоху) эти системы, сопрягаясь, впрочем, как и сами системы, вокруг единого стержня господства и рабства, и, по сути, возводили в абсолют (в незыблемость и бессмертие) тронноустанавливавшийся среди народов хищнический — от древнеегипетского первородства — миропорядок. В руках сих ученых мужей, гласно и негласно действовавших от тронов, а затем и в руках теологов, продолжающих и ныне искать и подводить научную подоплеку под религиозные толкования мира, оказалась самая тонкая, нежная, самая чувствительная, податливая и не защищенная в древе жизни основа народного бытия, и вместо того чтобы обратить на благо людей эту обретенную духовную власть над массами, они как пиратствовали, так и продолжают пиратствовать в образе духовных поводырей, уводя нас от восприятия реальной действительности в мир догм, магических цифр, земных и небесных символов. Человечество должно твердо и ясно понять, какую роль в созидании

хищнического бытия сыграли правители, вышедшие после сорокавекового господства в Египте на просторы обетованных земель, и какую долю ответственности и вины должны принять на себя иерархи от исторических, философских знаний и религиозных учений как исполнители (иногда слепые, чаще зрячие) единомонаршьей (фараоновской) державной воли; кирпич за кирпичом они укладывали свои труды в крепостную стену невежества, отгораживавшую людской (простолюдинский) мир от познания как явлений материального, так и явлений духовного порядка (успехи же в области точных наук были достигнуты не в согласии, а вопреки насаждавшимся теориям), и — я не уверен, должны ли мы сегодня благоговеть перед академическими мантиями или предъявить носителям их счет за страдания сотен и сотен миллионов людей, доверившихся их просветительско-пиратским «ученым» разглагольствованиям. Сегодня все мы так же далеки от понимания исторической и текущей действительности, как и древнеегипетские рабы, илоты античной Греции или крепостные самодержавной России (то же можно сказать и о коренных народах африканского, азиатского и американского континентов), и это несмотря на то, что вместо Платоновской академии, десять с лишним столетий служившей тронам, и Аристотелевской, продолжающей и по сей день влиять своими узаконенными постулатами о правомерности господства и рабства на сознание соприкасающихся с исторической и философской науками людей,— вместо этих двух духовных властительниц, на содержание которых выделялись правящими элитами средства, равные или почти равные содержанию армий, ныне создано и задействовано такое количество подобного рода научных заведений (академии, академии, академии — в каждом государстве, каждой столице, каждом сколько-нибудь значительном провинциальном городе), что человечество вправе ожидать истинных открытий и рекомендаций; но этого не произошло и не происходит, количество в данном случае не переходит в качество, и все так называемые новейшие исследования в области общественных отношений и общественного бытия — это всего лишь перепевы уже известных, служивших еще древненильским правителям истин; мы, как заколдованные или зомбированные оружием духовного подавления, ходим вокруг да около того, что когда-то было и могло вновь стать гармоничной основой человеческого бытия, и продолжаем самозабвенно, да, самозабвенно укреплять эстафетно навязанный нам фараоновский (хищнический) миропорядок, облачая его в тогу «общего блага», доступного правителям и недоступного простолюдинам, и роль поводырствующих персон в этом всеохватном обмане (роль прислужников тронам, всегда умеющих скрыть свое холуйство под гримом высокопарной учености), отведенная еще со времен пирамид мужам науки, сегодня, как мне кажется, исполняется ими с еще большим рвением (большим услужением кормящему их хищническому миропорядку), чем исполнялась в античные, доантичные и постантичные времена.

(Продолжение следует.)

●

Алексей ПУРИН

Золоченое выцвело слово...

* * *

Морозный Рыбинск не разбудит
Евтерпу в кварцевом гробу,
и только даром горло студит
Архангельск, дующий в трубу.

У чукчей нет Анакреона,
зырянам хватит и Айги.
Но кто метрического звона
придаст стенаниям пурги?

Кто наш, хмельной от шири водной
и хищный от смешенья рас
российский мрак порфирородный
вольет в магический алмаз?

Напрасно ль северные реки
прекрасней всех паросских роз?..
Но вот путем из грязи в греки
скользит полозьями обоз.

Он «Рифмотворныя Псалтири»
тоской нагружен и треской.
И раздвигает тьму все шире
заря — багряною рукой.

Казанское кладбище в Царском

Золоченое выцвело слово.
И укус комариный припух...
О, когда бы ты знал — из какого
вырастаешь распада, лопух,
и каким невеселым обидам
служишь ты невесомым веслом —
сколок ангела, с полуотбитым,
но незримо несомым крылом!..

Или жизнь наша вроде валюты,
дабы лютый оплачивать счет,—
одуванчиков блеклых салюты,
лебеды караульной почет,
эти рвы и руины,— и, роясь,
утешенья не выищет взгляд?..
Лишь в махровой крапиве по пояс
Кифареды из луков палят.

* * *

«Все отнял у меня,— прочту,— казнящий Бог...»
Кожевенный, сырой сентябрь дрожит, как в мыле.
Два года не был здесь — Китайский городок
отштукатурили, почти восстановили.

И кровлю золотой коронкою зубной
надели. И войну надули, обманули...
Что ж я-то все не рад? Какой еще виной
Сальери отравил мое напареули?

Журнальчик издавать? В архивчики засесть?
Не мальчик, а весь век — лишь кислое варенье...
«Китайщину», гляди, отстраивают здесь —
Китаев, как страшны мне их поползновенья!..
Не странно ли: вся жизнь прошла среди руин?
Но бабочка зимы не знает иглокожей
и осени сквозной. И выбитый один
ей дорог летний день — расхоженный, расхожий.

* * *

Только те города, где уже побывал, где уже
ты оставил рассаду души, раскрывают в душе
запыленные комнаты памяти — жаждою Рима
почему же она все сильней смущена и ранима?
Там упругая бронза крестом в раскаленный июнь
упирается. Там с лепестков — только тронь, только дунь —
розы сходит магический образ Сильвестра II.
Там в любовном блаженстве латыни безмолвствует слово,
прижимаясь к другому на мраморном воске плиты...
Или в русской поэзии Рим — умиранья синоним,
и тоскует душа, что — покуда мы с нею слиты —
маслянистую ветку и пористый камень не тронем?

* * *

Б. Р.

То мальчик пишущий, то девочка —
читательница и болтунья...
Банальная, увы, распевочка,
а все мерещится, что юн я.

Так горячи деньки июньские
и эти льстивые попутчики —
кавалергардские, драгунские,
спаси их, Господи, поручики...

Хлопок шампанского от выстрела
неотличим, мои хорошие.
Не только Сербия и Истрия,
весь мир — принцесса на горошине.

Все те же путевые жалобы
и порох, вложенный под кожу нам!..
Родись чуть раньше мы — лежали бы
уже на Машуке некошенном.

А жаркие зрачки напрасные
в раю ли встретятся, в аду ли —
каленые и сладострастные
друг в дружку пущенные пули?

Из Тракля

По вечерам гремят рыжие рощи
оружием ржавым; золотые нивы
и синь озер под угрюмым меркнут
светилом; укрывает ночь
мертвых солдат, звериные стоны
их разорванных ртов.

Медленно собирается туч
красный клубок — в нем разгневанный Бог живет
кровопролития, лунный холод;
все дороги ведут в черноту распада.
Под золотой кроной звездного неба
сквозь дремоту ветвей маячат тени сестер
и кровавая ратников марля;
слабо звучат в камыше осени темные флейты.
О, горделивая скорбь! Жаркое пламя
бронзовых алтарей великая ныне питает печаль
неродившихся внуков.

* * *

Умывался на заре,
словно солью, снегом твердым.
В деревянный Назарет
плыли кворчущие орды —

над тесовой смотровой
башней, к небу заостренной,
над моею головой,
над травой посеребренной...

Нет, не властны надо мной
листья лавра жестяные —
не уйду из ледяной
удивительной страны я!

Потому, что только в ней —
как в хорошей, знобкой прозе —
кровь поэтов и царей
замерзает на морозе.

* * *

— Живу я, а Ты незаметен
за блеском сентябрьского дня.
Но столько теней и отметин
Твой свет положил на меня,
что верю: я — Твой отпечаток,
и ангел Твой рядом со мной
идет, не снимая перчаток,
сквозь город и дождь проливной.

— В осеннем саду изваянья
смущают немой белизной:
сияет — и меркнет в зиянье
ознобом пронизанный зной.
Смотри, Проявитель: чернее
душа моя день ото дня.
И, может быть, тот, рядом с нею
идущий, Тебе не родня.

* * *

Памяти Лидии Гинзбург

Словно бы — в песочнице, под хвоей
комаровской ясной и листвой...
Солнечный денек... Но что с того ей —
что золе печатный пряник твой?

Если есть душа — она далече,
ей нелепа вдумчивая речь...
Даром ли под идолами свечи
жгут и пеньем силятся отвлечь

от в песок натыканных звездинок?..
Нестерпимо мысли, стыдно ей...
Но — безверья жадный поединок
с собственной Тоской?.. Еще стыдней!

Спи. Белесой девочкой незрячей
бродит Смерть: в руке — недорогой
пластиковый ящичек щеглячий
и сачок ребяческий — в другой.

* * *

Брусничник — пружинящий, скрученный тесно,
курчавый, пластмассовый как бы... А рядом —
влажнее Ундины — черничник... Чудесно
ладонью сравнить их фактуру — и взглядом.

Так, словно записана разным размером —
и вот не узнать ее — фраза все та же.
Подмышка, и локон, и... к жарким примерам,
поверь, я склоняюсь не для эпатажа...

Здесь нет золотой середины! Объятья
и наши, как флора лесная, различны:
всё должен увлечь, уломать, настоять я,
а ты — делать вид, что тебе безразлично...

Мне нравится эта двоичность горящих,
сгорающих искр на прельстительной тризне.
И грех разговаривать в солнечных чащах
отдельно — о смерти, отдельно — о жизни.

●

Максим ГУРЕЕВ

Калугадва

Посвящается отцу

1. Комната

Женя проснулся оттого, что ему показалось — кто-то гладит его по лицу. Наверное, мама. Открыл глаза, но в комнате никого не было.

За стеной гости пели пьяными голосами. Выцветшими голосами. Старухи выли. Они не прекращали выть с тех пор, как вернулись с кладбища,— сначала от голода, потом от обиды, а теперь у них пучило животы.

Женя вышел в коридор — тут было темно, на ящике у двери спал отец Мелхиседек Павлов, его еще называли просто — отец Павлов, как отец Павел-Савл. Он развалил обросшие глиной гигантские кирзовые сапоги, ведь старательно же отслужил погребальный чин, совершенно вымок под дождем, замерз и проголодался изрядно — вот его теперь и сморило.

Гроб неровно вынесли из церкви и понесли через поле к погосту, ноги увязали в грязи, ветер раскачивал деревья, собаки дрались.

Женя наклонился, и поцеловал руку отцу Павлову, и погладил его по лицу, спящего, тот задергал головой, зарычал, но не проснулся, а вскоре так и вообще оказался на полу, подоткнув под себя лыжную палку,— столь умаялся за день, сколь смог. По долгу службы.

Дверь из залы открылась, мелькнула часть стола, гости. У окна сидела Фамарь в черной косынке. Женечка всегда знал старуху одинаково старой, поджимающей губы, и они у нее белели оттого. Рядом с ней сидел дед. Вернее сказать, истукан онемевшего деда, что не выпускал из рук мокрого полотенца,— интересно, однако, какое же у него было нынче сморщенное лицо, делавшее его похожим на больного плаксивого ребенка. Сидели еще какие-то родственники, древние подруги Фамари Никитичны, приживалки, затравленно озираясь по сторонам, ковырялись в салате из вареной свеклы и репы.

Женя присел на ведро, ведь все они тоже сидели в раме дверной коробки, сидели под портретом Лиды, перевязанным черной газовой лентой для волос.

В коридор вышел Серега, икнул.

— Вишь, как, малец-то, получилось, приказала мамка долго...— Его шатало.

Держась за стену, Серега добрался до туалета, потом вышел, дверь захлопнулась, перестав освещать Женю, отрезав тени.

Опять стало темно.

Женя на ощупь пробрался к комнате матери. Зашел. Тут вкусно пахло сырой затхлостью, обои вздулись и трещали, когда протапливали печь, зеркало задернуто сукном, а иначе и быть не могло, потому как лампу с налетом извести и клея вывернули, провода перемещались в поле стены, вдоль двери перемещались, а на потолке свет уличных фонарей рисовал ветки, раскачиваемые ветром. Женя подумал: осень, ежедневный дождь, волглые листья залепливают окно, жесть с крыши сарая улетела, скоро снег.

Теперь голоса звучали где-то очень далеко, и, может быть, впервые в доме сделалось тихо, и можно было спокойно смотреть туда, где существовала аллея, скамейки, зеленый дощатый забор без щелей, скелет кровати — пружинами в темноту, без полосатого, пахнущего мочой тюфяка, перепаханная кривая

дорога, тянущаяся к краю леса, часть поля и рыжие песочные горы на глиняных разработках, обозреваемые по касательной к плоскости пыльного, покрытого мушиными трупами подоконника. А еще дальше — на огороде — огромная ржавая бочка из-под топлива, в которой обмывали мышей, раздавленных железной рамой на пружине.

Женя подошел к подоконнику, воображая его почти настоящим кладбищем, на котором и похоронили его мать. Ну, разумеется, разумеется, игрушечным — кресты из спичек, ограды из клееных коробков, свежая земля (из горшков для домашних растений), размятая пальцем, и резиновые трубы-кишки, из которых на кафельные столы льется вода. Старые маленькие старательные девочки погребали тут своих любимых голеньких куколок — целлулоидных, целомудренных,— обряжали их в дырявые войлочные подстилки и... в добрый путь!

Потом Женечка прилег на мамину кровать и вспомнил, как в конце лета ему приснился страшный сон и он, в слезах, прибежал сюда и лег рядом с мамой, а панцирная сетка — продавленная — свалила их в кучу. Стало жарко, но он уснул, улыбаясь.

Женя стал раскачиваться на кровати, ведь теперь это можно было делать совершенно безнаказанно и не бояться старых, расслоившихся пружин, что прорвут блин тюфяка и вопьются в бока и попу... По крайней мере именно так ему всегда говорила мама: «Смотри, будешь раскачиваться на кровати, пружины вопьются тебе в бока и попу!»

Весело.

Кажется, еще утром Женечка сидел на лестнице, на старых деревянных ступенях, на мохнатых холмах, оставленных заколачивающими шаги-гвозди сапогами, тут же в матового стекла колпаке была лампа-дежурка. Бабка суетилась, скоро должны были привезти гроб из морга или даже уже везли его.

За забором у Золотаревых завыла собака: сначала она скреблась когтями в заколоченную калитку черного хода на огород, потом, исходя слюной, пыталась ухватить зубами собственный ошейник — столь идиотское занятие,— вертелась, приседала, облепила толстый, как труба, хвост куриным пометом.

И завыла, как почувствовала.

Во двор въехал грузовик, стал разворачиваться, сдавая задом к крыльцу. Свора каких-то родственников, теток, паломников, татар, газокалильных ламп, керосиновых ламп, стариков-канониров из инвалидной роты в медвежьих шапках, манчьжурцев, дребезжащих на сквозняке старух, клеенчатых, залитых кровью фартуков, разносчиков кипятка, горюнов и землекопов облепила высокие борта, колеса и кабину. Жене показалось, что многие уже были пьяны. Они приглашали водилу зайти обогреться — начал накрапывать дождь, обещали угощение и выпивку. Даже дед что-то бесшумно вещал, перемешивая ватой губ в беззубой дырке рта.

Соседские мужики уже сидели в кузове и с уважением щупали черный ситец, которым был оббит гроб, тихонько переговаривались, потом закурили.

Фамарь Никитична держала Женю за руку. Вдруг водила, его, кажется, звали Голованом, заблажил дурным ржавым голосом кирного дебила:

— Ну, чео-о, блядь, стали? Давай выгружай ее! Мне еще на лесопункт конец делать!

Женя вздрогнул. Как по команде бабки завыли, морща свои и без того маленькие лица, глазки копеечкой, куриные шеи, а мужики, покидав окурки, поволокли тяжесть по доскам кузова, перегружая гроб на подставленные для того плечи.

А потом был весь следующий день, расцвеченный жидким глиняным редколесьем поздней осени. Туман двигался вместе с низким небом. Пахло ледяным зубным настоем заиндевевших лежалых листьев.

Женя вышел со двора. Улица была завалена дровами, привезенными по случаю на лесовозе. Где-то за забором ревела бензопила, черной трухлявой корягой упиралась в небо вымороченная колокольня на Филиале, у соседей гудела паяльная лампа, тянуло бензином и вонючей щетиной — палили борова. В длинной дренажной канаве дрожал пуховый студень — здесь жили толстозадые прожорливые утки со своими костяными глотками.

Женя спустился к карьеру. У самой воды, на врытой в землю бочке сидел Леха Золотарев, трава была вытоптана совершенно.

Женечка представил себе, что на дебаркадере толпились люди и некто, столь малоразличимый из них, уронил в глубину мутной цементной воды суповой половник. Половник блеснул своим фальшивым серебром и исчез, зарылся в ил, а ведь его вполне можно было бы приспособить к ловле слизней в луже у водоразборной колонки или выкапыванию червей.

Леха ковырял матового цвета болячку на губе.

— Помочь? — усмехнулся Женя.

— Не-е, я сам, мне дома мать не разрешает ковырять, говорит, будет заражение крови — и все, помрешь...— Леха косил глаза, оттягивал губу, морщился.

— Паром ждешь?

— Ну! — Леха кивнул.— Тебе собака не нужна?

— Не-а, не нужна.— Женя отвернулся.

— Жаль, а то мать говорит — пусти ты ее в лесу или утопи где, старая, скотина, стала, воет, блажит, житья от нее нет.

Вообще-то тут все действительно ждали парома, чтобы переправиться на тот берег, ведь многие из стоявших на дебаркадере работали в мастерских, ждали эту ржавую лоханку, в каких, как правило, с полей вывозят навозные кучи, реже — глину. По дренажным путям.

— Говорят, к тебе отец приехал?

Женя вздрогнул.

— Злой, что ли?

— Не знаю, я с ним еще не разговаривал, он на похороны опоздал...

— А может, он даже и добрый? — Леха пожал плечами, в том смысле что он и сам сомневается.

—... а ты ее отрави!

— Кого отравить?

— Ну собаку свою и отрави, если старая стала, сам же говорил.

Леха уставился на Женю.

— Да жалко вроде.

— А утопить не жалко? — Женя усмехнулся.— Привязать к ошейнику камень и закинуть подальше в карьер, пускай поплавает. А она еще будет кричать: «Леша, Леша, спаси меня и сохрани!» Это так бабка моя говорит: «Спаси и сохрани». А потом и захлебнется, в общем, все как положено...

В водяных кустах запутались цветные пятна нефти, пошли волны. Кряхтя и отплевывая кипяток, к дебаркадеру подвалил паром, нарисовав в глазах лебедку, троса, длинные вытертые поручни, треснутое и заклеенное газетой стекло рубки. Кинули трап. На берег вышли приехавшие из мастерских и кирпичного завода. Кочегар делал неприличные жесты контролеру. Все вышли и стали подниматься на холм к поселку.

Женя встал.

— Ладно, пошли на Филиал костер жечь.

Леха обернулся.

— Можно вообще-то. Удобрением, например. Оно у нас на чердаке припасено, а матери скажу, что костью поперхнулась.

— Зачем это?

— Как это зачем? Удобрения нигде нет, а нам еще гряды присыпать.

— Ну присыпай тогда.

Леха продолжал сидеть у воды.

— Ты идешь?

Такой толстый ушастый воротник пальто, спина зашита в нескольких местах, какие-то узоры шитья и прилипшая глина. Резиновые сапоги выглядывают из норы, откуда пахнет горячей капустой, извалянной в каше. Шапки почти не разобрать, ведь она хоронится. Может быть, шерстяная.

Скользко. Здесь мелководье.

Женя подошел и толкнул пальто в воду. Оно мгновенно набухло и превратилось в колокол.

— Ты чео-о, Жень, одурел совсем? — заорал Золотарев.— Давай вытаскивай меня, чео-о уставился?!

Потом допоздна жгли на Филиале костер и сушили одежду.

Ночью Женя проснулся оттого, что ему показалось, что кто-то гладит его по лицу, наверное, мама. Открыл глаза, но в комнате никого не было.

Были только слова отца Мелхиседека: «О славлю тебя, жена, что подвизаешься здесь в кущах непроходимых, вознесенных трезвением и страстей строительством, столь влекущими твою натуру — тоскующую, одинокую, романтическую, а порой и одноглазую...» Фамарь Никитична одобрительно кивала головой. Вдруг все переглянулись и улыбнулись. Во славу Божию. Во славу Божию.

Гости засмеялись: смотри, смотри — приехал-таки.

— Что же ты опоздал, братан? — Серега приподнялся из-за стола.

Женя хорошо услышал этот вопрос и сел на кровати.

Кто приехал? Кто опоздал?

В комнате стало совершенно тихо, скорее непроницаемо для посторонних звуков — потолка было уже не различить, он растворился в вышине. Столь было странно и одновременно обыденно в этой сырой мгле вдруг услышать гудящий печной чугунной заслонкой голос бабки: «Женя, иди поздоровайся с отцом».

Потом Серегу поволокли из-за стола, он что-то кричал, выволокли на кухню, засунули в мойку головой и пустили воду.

Гости запели. Женя вышел в коридор: дед спал на скамейке у двери, Фамарь Никитична скрежетала зубами во сне. В зале.

Спустился по лестнице и вышел на улицу.

Женя подумал о том, что хорошо бы завтра пойти на карьер и посмотреть, как приходит паром, привозит работающих в мастерских и на цементном заводе. С собой на карьер можно взять и Леху Золотарева, а потом пойти на Филиал и пожечь костер.

Теперь с карьера доносился лай собак, ветер отсутствовал. Крыльцо, деревянная приступка, скользкие поручни и дорожка к воротам еще хранили воспоминания о Лиде разбросанными и уже почти ободранными еловыми ветками.

Через огород Женя пробрался к сараю — у входа горел свет.

Раньше здесь дед, как он говорил, «баловался с инструментом», потом сарай забросили, потекла крыша — жесть улетела, окно заткнули мешком из-под удобрения, пол погнил. Вообще-то малоприятная местность, какая-то безлюдная, глухая и чрезмерно сырая. Теперь же, по бабкиному хотению — «Не пущу ирода в дочкину комнату, пусть, как пес, в сарае ночует»,— здесь должен был спать отец — «Не пущу ирода в дочкину комнату, пусть, как пес, в сарае ночует, как живет, так пусть и ночует — под забором!».

И уже после этого разжились низкими скрипучими козлами, когда гроб стащили с грузовика, его поставили на эти низкие козлы, к земле расположив его тем самым, но исходил снизу холод, и даже лом не втыкался в смерзшийся песок, звенел, дудел, а еще разжились тюфяком, набитым соломой, дед приволок из кладовки старое одеяло.

Женя открыл дверь — тут было как в комнате: вкусно пахло сытой затхлостью, обои вздулись и трещали, когда протапливали печь, но ее никогда не топили здесь по причине ее отсутствия, зеркало, задернутое сукном, а иначе и быть не могло, ведь лампу с налетом извести и клея вывернули, полоска света с улицы проехала по отошедшим от пола и загнувшимся плинтусам, выхватила стол, обшитый картоном,— гвозди, скобы, проволока, висящее на ней чучело собаки, шкаф, раньше стоявший в комнате матери, ящик, на котором лежали вещи отца. Все столь знакомо...

За забором у Золотаревых, видно, проснулась собака, она загремела цепью в очке покосившейся конуры, зевнула, прилегла на ступеньку, шевеля своими острыми мохнатыми ушами.

Женя смотрел на отца.

Отец спал — он казался каким-то маленьким, укутанным, замерзшим. Женя воображал себе, как его отец завернулся в старое одеяло, как подогнул ноги, как сопел во сне, стонал, чесал заросшую щеку, как положил под голову свернутую дедову шинель.

«Зачем ты приехал? Зачем? Отвечай!» Вдруг стало душно. Отец завертелся на хрустящем тюфяке, Женя попятился к двери, наступив в темноте на банку из-под солидола. Банка с грохотом помчалась по непригнанным доскам пола.

Сквозняк.

«Кто тут?» — закричал спросонья отец. Этот крик из трубы в окружении зубов, в клоках желтой ваты в сравнении с погребальной урной или бетонной урной, выкрашенной нитрой, продолжал вертеться, продолжал вопрошать в темноту, ринулся, ринулся ведь по следам своих горячих слюней, сбегавших по узенькому желобку. Прикусил язык. Он завыл от боли.

Женя догадался: отец, наверное, испугался, подумал, что его пришли убивать среди ночи в чужом поселке, в сарае, где из щелей тянуло огородной дрянью перекопанной на зиму земли.

«Кто здесь?! Кто здесь?!» — ходящий и невидимый, смотрящий и дышащий кипятком. Женя захлопнул дверь, все погрузилось в темноту. Вот придет дед-дедушка, похожий на Николая Угодника с бородой, и побалуется с инструментом, с топориком, например.

Отец стал метаться, стал проситься, стал греметь полностию погребенным в бочке, стал вопрошать, извиваясь и кривляясь отвратительно: «Кто ты? Кто ты? Чего тебе от меня надо?»

— Дед, дедушка, а, дедушка! Не слышит, что ли? Приди сюда, завернувшись в простыню, примись сноровисто орудовать ножовкой, посыпая приступку желтыми опилками — «Вот сейчас несущие подрежем, а потом и само пойдет...».

— Открой дверь, слышь, открой! Кто тут?!

— Это же я, твой сын Женечка!

— Не знаю я никакого Женечку! Изыди, сатана!

Женя побежал по огороду. За спиной раздался треск рухнувших балок, хотя нет, сначала сарай зашатался, наружу полезли гвозди, и повалился набок. Отцовский голос, что исходил из недр, перешел на хрип. У Золотаревых за забором собака начала рваться с цепи, включили свет:

— Что у вас там происходит? Полпервого ночи! Совсем обалдели!

Вот и побаловались с инструментом, с каким-нибудь штангенциркулем степенным.

2. Собака

На следующее утро Леха вывел собаку со двора, с опаской косясь на окна первого этажа, где он жил с отцом, матерью и сестрой.

— Постой тут,— сунул Жене брезентовый поводок и исчез за дверью.

Женя посмотрел на собаку, на ее редкие слежавшиеся острова шерсти — старые, душные, что клочья драного ватного одеяла от татарина, на ее лысые бока, как вытоптанная трава в лесу, обнажавшие судорожное дыхание — отрывистое, от раза к разу — свист рваных мехов кузнечных, фотографических, фотографические щелчки, пронзительное фистульное сопение в трубу, дудение... Да, но довольно об этом.

Еще был мутный взгляд, казалось, она даже не замечала его — Женю,— уставившись куда-то перед собой.

А что было перед нею? — кусты, голые деревья, кряжи для распиловки — ну что еще? — улица, дома, наконец, были.

Собака утомленно зевнула, вероятно, после бессонной старческой ночи на сквозняке. Соблаговолила после подобной тошноты — ломило суставы, да и кормили не Бог весть как и чем: известковая скорлупа яиц и вода, картофельные очистки и изжога до умопомрачения,— соблаговолила-таки обратить внимание и на Женю. Понюхала воздух, окрест летающий, отвернулась.

Женя попытался погладить ее (то есть, то есть, может быть, даже и погладил бы ее), он присел перед острой слюнявой мордой, снабженной безразличными чешуйчатыми глазами, рука потянулась к мохнатым ушам, но почему-то (что же произошло?), Женя так и не понял почему, стал ощупывать мощный стальной карабин на ошейнике.

— Сильная вещь? А? Отец из части принес, таким парашюты цепляют.— Леха появился внезапно, правый карман его пальто оттопыривался.

Женя заметил выглядывавший оттуда целлофановый пакет с какой-то белой дрянью.

— Пошли.

Через огороды спустились в низину на зады квартала. Улица ушла вверх, изредка светясь глиной сквозь решетку черных ветвей деревьев. Голых. Собака медленно ковыляла, постоянно препираясь с натянувшимся в струну поводком, желая его укусить, столь ненавистен он был.

Остановились у поваленного дерева. Леха перемешал отраву с разваренными петушиными шкурками — красный гребешок, индюшачья бородка, утиные перепонки, кишки, комок желудка с приправой, сердце, цементная глотка — поставил жестяную банку на землю...

Фамарь Никитична рассказывала внуку Женечке, как совсем недавно повязывала белый клеенчатый передник и рубила голову петуху — пернатому обитателю двора — топором. Потом снимала клеенчатый, залитый кровью передник, а на поминках угощала всю свору гостей и родственников густым бездонным бульоном из огромной железной кастрюли, на дне которой мерцал ржавый половник.

Поставили банку на землю. И вот произошло то, что должно было свершиться тысячу раз, когда, еще будучи молодой визгливой сукой или кобелем (не столь важно!), она, эта собака, носилась по помойкам, выискивая съестное, так же (так же!) облизнулась, видимо, показалось мало, так же принялась обнюхивать жухлую траву... Леха отшвырнул пустую банку ногой.

...жухлую траву — ведь это была уже не трава на самом деле, а нечто, смутно напоминающее траву, некие таинственные бурые острые ленты, из тех, которыми заклеивают оголенные провода.

Провода, провода.

— Пошли домой.— Золотарев встал и поволок собаку обратно.

Она почему-то не упиралась, как прежде, но миролюбиво — нет! — умиротворенно потрусила за хозяином.

«Нечем ли подлечиться, любезный?»

Женя почувствовал, что готов ответить со спокойствием: «Отчего же нет?.. Есть... удобрением, например...» — с ужасом.

Потом Женя взял целлофановый пакет, оставшийся лежать на поваленном дереве, и сунул его в карман. Со спокойствием. Как дымящийся лед, как дымящийся уголь, как погружение и мгновенное, сиюминутное вознесение, рука как бы оказалась в воображаемой стороне от происходящего, в предположительном отдалении. В этой местности.

— Вот и все.

Женя встал.

Леха с собакой поднялись на улицу и шли вдоль забора. Женя двинулся за ними. У дома Золотаревых остановились.

Женя наклонился к собаке. Собака смотрела на него, и он увидел свое отражение в ее глазах.

...Он — на кого же он похож? Вот, у него такие торчащие ладонями уши (его четыре руки), подобные древесным грибам — чагам.

Глазами Женя более походил на мать, все родственники это находили — «Когда на поминках они сели за стол, я вызвался им подать чаю, ведь чем еще, кроме чая, я мог привечать их — своих родственников».

Подбородок, надбровные дуги, песчаные холмы и высохшая пойма могли бы изобразить Женю в довольно невыгодном свете лампы-дежурки, если бы не впалые щеки — низинами в предгорьях,— Женя вдруг схватил себя пальцами за нос и стал истово вертеть его: «Расти вверх! Расти вниз! Горой в облаках! Кучей в пирогах! Яблоками печеными! Стаканами толчеными! Вот так! И вот

так! А еще так!» Следовательно, в предгорьях птичьего клюва, следовательно, левая скула не имела ни малейшей возможности переговариваться с правой, к примеру, в редкую минуту одиночества, в некоем энергетическом порыве, движении ли.

Было что-то и от Фамари Никитичны: может быть, затылок, а может, и макушка — такая же, с низким трухлявым пнем, заросшим папоротником и цветистыми лишаями. (Забавное сравнение! Более того, когда нос — оставленный, отринутый, познавший пальцы, испытавший мучения, вкусивший насилия сполна, красный совершенно, потираемый благосклонно, почесываемый, более не привлекает внимания. Женя трогает собственную макушку и выдвигает подобное довольно душное, чтобы не сказать, дышащее лесом сравнение.)

Дед всегда обижался, приговаривая, бормоча: «Ну возьми хотя бы походку через шаг на второй, а через второй на сажень».

— Косая сажень в плечах! «До Москвы — две версты» — написано.

Женя ходил, устремив носки внутрь, отчего имел вечно сбитые под ус задники туфель. Ценное приобретение для загребания песка или земли, наращивая целые сугробы, с извечной легкостию исчезающие при наличии доброй воли: жестяной формочки, начищенного бузиной медного козырька или разросшегося, ветвистого, проведшего всю зиму в банке с водой березового веника. Веника проволочного, царапающего стекло, оставляющего за собой полосы-борозды.

В ту минуту худые ноги с острыми коленями, щелкающе резали воздух кухни. Поиск чашек, поиск сахара, нахождение кипятка.

Женя вспомнил, что, когда он уготовлял на кухне горький чай для родственников, почувствовал на себе взгляд. Оглянулся. На буфете стояли фаянсовые игрушки: Онегин и Татьяна, Пушкин и Гоголь, Борис и Глеб, Герцен и Огарев...

— Долго еще чаю ждать? Что ты там делаешь, поганец?

...Флор и Лавр, Минин и князь Пожарский. Еще прятались слипшиеся леденцы.

Женя ненавидел свое отражение в зеркале. В воображении он настаивал на пропорциях этих самых Минина и князя Пожарского (все же!): сидящий и совершенно облупившийся, но иной способен к сохранению зыбкой одежды из мела или снега, вернее, убранный изъеденным ситцем, стоит, воздев руку, стоит вровень с игрушечной петардой, начиненной соскобленной со спичек серой, что вот-вот взорвется и оторвет руку и ногу. Тому, кто сидит,— левую руку, а тому, кто стоит,— правую ногу и обожжет бровь и хвост... не в бровь, а в глаз... и в хвост, и в гриву, это, конечно, в случае наличия какого-нибудь устремляющегося за блохами зверя.

— ...Давай быстрей, мне уже идти надо.— Леха нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

Собака икнула, выпустив на всклоченную бороду желтые вспененные слюни.

Женя вздрогнул.

Калитка захлопнулась.

Когда уже совсем стемнело и по длине улиц зажгли фонари, Золотарев выволок окоченевшую собаку со двора и закопал за сушилкой в куче сбитого цемента. Наскоро, пока не смерзлось.

Смерзлось.

3. Отец

Вот и в наш город потянулись обозы с дровами и углем. Обозы выстраиваются где-то на извозных и дровяных слободах, на грузовых железнодорожных перегонах, разъездах и оттуда устремляются бесконечными грохочущими потоками. Значит — скоро будет тепло! Значит — снова придется ковырять ломом заиндевевшее очко в сортире! Но ничего, это даже и хорошо!

От извозчиков, тех же водителей, в стеганых ватниках, тулупах ли, пахнет табаком. Поднимается пар. Целое парное марево.

Женя с отцом пробираются сквозь эту шумную толпу однообразного цвета и звука: кто-то кашляет, но не закрывает рта руками, кто-то громко смеется, хохочет, тыкает пальцем, чешет ушанку-шапку, съехавшую на затылок, кто-то просто зевает, курит, сморкается в жестяную трубу соответственно трубно. Подвозят уголь в вагонах или тачках, подвозят и дрова на лесовозах.

Поодаль стоит тарантас цыган, и сам цыган, облаченный в валенки и рваный собаками тулуп, греется, прислонившись к дымящемуся боку мохнатой лошади. В руках держит лопату для угля, чтобы, лязгая, загружать железный сварной короб.

Никто не обращает на Женю и его отца никакого внимания.

Они выбрались в поле и пошли, оставив за спиной церковь, пошли к лесу, где находился погост.

Женя краем глаза наблюдал за отцом, который, не вынимая рук из карманов пальто, торопился, пытался попасть на полосу мокрого, липкого снега, но постоянно ошибался и проваливался в канаву, полную гнилых листьев, ботвы и вонючей воды.

— Как же здесь гроб-то несли? — вопрошал сам у себя.

Наконец вошли в лес. В темноте пропитанных влагой стволов, местами подмерзших и даже обледеневших, начинали свое движение навстречу идущим низкие, гнутые, едва ли доходящие до метра, крашенные в синий цвет ограды из проволоки, ножек кроватей, слежавшихся пружин и ребристых прутов — ограды могил.

Ограды могил.

Дорожки занесло снегом, и потому приходилось придумывать новые пути через кусты, кучи дерна, гравия, спиленные деревья и хрустящий лед осыпавшихся могил.

А ведь снег усилился тогда — он опухшим, отяжелевшим, бесформенным прокисшей комкастой кашей (Господи, каким же еще?), распаренным после неверного пудового бега сумасшедшим неистово рвался в глаза, в рот, в уши, за воротник, свисая, и рушился, раскачивая волосы и ветки, искусственные цветы и подставленные руки. Все, абсолютно все приводил в движение.

Женя был здесь как в кладовой, где под потолком по разъезженным рельсам и трубам перемещались отсыревшие куклы с пластмассовыми масками улыбок. Тут же были лацканы, полы, воротники, пазухи и запазухи, разного рода облачения и так далее. Все это несметное, но вполне обозримое по длине ангара-ризницы воинство шевелилось. Женя почти чувствовал объятия их душных рукавов.

Это все рисовалось его воображению...

Отец остановился:

— Кажется, пришли?

— Пришли.— Женя принялся разгребать снег с могилы, затем достал печенье.

Вдруг в тишине однообразного шума падающего снега, в темноте белого, синего и черного отец начал говорить монотонно. (Ты чео-о? Пап? А? Ты чео-о?) Говорить хрипло, даже распевно — может быть, он был голосом прозы, почти беззвучным? Раскачивался почти беззвучным, закрывал глаза почти беззвучным, вторил дрожанием полой трубы шахты лифта почти беззвучным. У него начала расти борода из снега. Борода из волос... тоже начала расти. Женя почувствовал дурноту.

Отец сел на скамью, закурил, стал рассказывать. Вот что Женя услышал тогда:

— В райцентре мотовоз обычно стоял три минуты. Подходил неспешно, газовал, свистел, громыхал тамбурами и агрегатами сцепки, сообщал: «Филиал — Кирпичный завод — Лесопункт Айга — Тихонова пустынь — Калугаодин — Калугадва» — все это, стало быть, пройдено.

На платформу, прибранную плешивыми кустами, еще на ходу выпрыгивали пильщики, водители лесовозов, мотористы, охрана. Выбрасывали деревянные обшитые железом ящики с почтой. А за поручни уже тяжело цеплялись

другие, волоча перетянутые ремнями мешки. Тут же нищие просили, скользя по коварному перронову льду (костыли, палки, клюки-крюки), кто быстрей получит воздушный поцелуй или кто верней распорядится собранной мелочью. Некоторые из этих нищих, разумеется, падали, истошно вопили, скорее всего по причине бессильной злобы.

Отец улыбнулся.

— Я успел тогда вскочить на подножку в самую последнюю минуту и закричал: «А ну, мужики, потеснись! Ехать-то всем надо!» В глубине тамбура послышались голоса: «Ну, ехай, ехай, солдатик!» и еще «О, сильные люди лезут!».

Мотовоз загудел утробно гудком, и мы тронулись.

Я оглянулся — «Калугадва» медленно поплыла назад...

Женя вообразил себе эту мерзкую картину отбытия-исхода: картину опоздавших на поезд, смеющихся, отупело-безразличных, пьяных, неизвестно откуда взявшихся бритых дебилов и нищих.

— Ну, поехали, слава Богу.— Отец встал со скамейки, прошелся вдоль могильной ограды, вернулся.— К Кирпичному заводу стало немного посвободней, и мне удалось пробраться в вагон. Тут было нестерпимо душно, а еще нарядчики с дальних лесоучастков — от станции два часа на вездеходе — столпились у совершенно распаявшейся печки-перекалки и курили. Пахло дымом и табаком. Окна запотели. Я подумал тогда, как все глупо, безнадежно и бессмысленно... Понимаешь меня?

Женя кивнул головой.

—...ведь, понимаешь, я хорошо знал, что никакого болота и даже самой незначительной, мало-мальски ощутимой сыростью топи здесь не было. Просто старые вырубки слишком медленно зарастали редкой голутвой и кустарником. А я все ждал, все надеялся, что наступит тот момент, когда шпалы, а за ними и рельсы, и наш вагон врежутся в мутную, густую киселем водорослей воду... и все, расталкивая друг друга, бросятся к аварийному люку в потолке, будут просить подсадить, больно ударяя по каше лиц каблуками коротеньких резиновых ботиков или кирзовых сапог.

Женя закрыл глаза.

— Тебе плохо? — Отец подошел к нему, наклонился.

— Не-е, нормально, просто тошнит.

— После Мастерских, где когда-то работал мой отец, твой дед, кстати сказать, Дмитрий Павлович, вагон опустел совершенно, и до леспромхоза мотовоз ехал почти пустой...

— У тебя был отец? — Женя открыл глаза.

— А как ты думал, обязательно... Ну вот, тогда я и сел на скамью в вагоне — такую, знаешь, плоскую, обитую дерматином или фанерой, сейчас не помню, дурного, резкого цвета. Сел рядом с Лидой. Рядом с твоей матерью.

— Да, да.— Женя улыбнулся.

— На ней было старообрядское пальто с вытертым мерлушковым воротником.

Лида.

Она мне напоминала мою мать, такую же слабую, раздраженную, вечно уставшую, что надорвалась-таки после войны, когда работала на погрузке леса, ведь тогда мужчин совсем не было и женщинам приходилось ворочать огромные сосновые стволы, подтаскивать к подводам, обвязав мерзлым корабельным канатом-тягой.

Мы молчали, смотрели в окно, за которым двигался назад рваный лес, какие-то заброшенные бараки, вагоны на путях и на земле, в них жили люди, вереницы грузовиков и трелевочных машин на переездах. Потом я спросил у Лиды...

— Что ты спросил,— Женя выдернул свою руку из руки отца и отвернулся,— ну, что ты спросил?

— Я спросил, где она работает, и она, то есть твоя мать, ответила, что работает в конторе леспромхоза, сидит в бытовке, которая не отапливается на зиму. Сначала она говорила как-то нехотя или делала вид, смешно путаясь в блек-

лой косынке, вырезанной из полосатого пледа с кистями и витыми колбасками — вязаными-перевязаными, колючими и безобразными, знаешь такие?

— Знаю, знаю...

— Поправляла волосы, но потом осмелела и даже показала неведомые списки и счета, сокрытые до времени в ее папке. Как ты себя чувствуешь?

— Нормально.— Женя улыбнулся.— Даже хорошо.

Ну, конечно, старообрядское пальто, ну, конечно! И принадлежало оно сначала Фамари Никитичне, его бабке, сухой, мрачной насельнице двухэтажного бревенчатого барака для бывших спецпереселенцев или их охраны, или черт знает кого еще!

— Вот... а потом она сказала: «Меня Лидой зовут, а вас как зовут?» «А меня зовут...» — и я сказал свое имя. Женя, ты помнишь, как меня зовут, как зовут твоего отца?

— Пойдем домой.

— Конечно, конечно.— Отец засуетился, принялся отряхивать снег с рукавов, шапки.— Уже поздно.

Теперь Женечке даже начинала и нравиться эта игра.

«Как звали моего отца? Владимиром? Александром? Иоанном? Иовом? Сергеем? Максимом? Валерием-Уалерием? Завулоном? Андреем или Иаковом? Нет, нет и нет!» Столь необычно он продолжал описывать происходящее, уподобляясь ветру, дыму, рваному подряснику, свитку.

Закрывал глаза. Подходил к окну с видом во двор. Ласкал сам себя, забравшись в рукав. Столь необычно все это, столь необычно. Придумывал чахлую мерцающую службу, жидкий ладан, слабые, почти немощные голоса, красный дребезжащий огонь свечей. Вспомнил, как поцеловал руку отцу Мелхиседеку.

— Лида тогда впервые привела меня на окраину поселка, в храм, который больше напоминал катакомбы, сырой подвал с бетонным полом, где еще год назад могли бы стоять циркулярные пилы и электрические ступы для мела, извести и гравия. Здесь на стенах, укрытых домашними полотенцами, изукрашенных припасенными образками, сохранилась бело-красно-зеленая пелена и лица были разбиты уступчатыми ямами в штукатурке...

Женя увидел: только ладони лодочкой и ризы колоколом в одной плоскости. Все повернуты, все смотрят, вносят огромный восьмиконечный крест.

По углам — печи, черные пробки дымоходов, топки забиты красным кирпичом и опилками. А зимой снег ложится здесь на подоконники и остатки растрескавшихся рам, образуя целые седловины и холмики. Ведь Лида впервые привела его в церковь, что располагалась на окраине поселка, где вполне можно было задохнуться от ладана, от гула чавкающих губ, шагов нескончаемым круговоротом и окна были непрозрачны. Отец Павлов обращался ко всем.

«На полях иконы обозримы клейма-жития — Рождество, Крещение, обращение к горнему (например, дикие звери приносят пищу), кормление хлебами и насыщение хлебами, подвиги веры, мученическая кончина, страсти и чудеса у гроба. Замкнутый цикл — идея круга. А также ряды-чины — идея последовательности, последовательного предшествования. Святоотеческий, пророческий — «сбылось реченное через пророка...», деисус, местный, Святые Врата, Евхаристия и, наконец, страшный пожар, неистовство огня — тябла выгибаются и с грохотом валятся на пол, проламывая его. Жар раздирает доски, и они раскалываются, уходя в темноту...»

Отец Мелхиседек выключает свет, и сразу наступает зимний вечер.

Отец усмехнулся:

— Сам-то я давно в церкви бывал, кажется, еще в детстве, у себя в городе. Все забыл или даже не знал толком. Понимаешь, совершенно как чужой, как в гостях, в которые не приглашали. Одним словом, заглянул по случаю.

Женя кивнул в ответ.

— ...на скамьях стояли забытые чашки с хлебной мякотью. Свечи вдруг начинали громко хрустеть в наступившей тишине, дымить, валиться и набрасы-

ваться друг на друга. Потом открыли потайные двери и вынесли пластмассовые ведра и корзины. Оранжевый воск капал, мутнел и застывал молниеносно. Пластмассовые ведра и корзины наполняли пакетами, мусором, бумагой, в которую заворачивали рыбу. Пластмассовые ведра и корзины ставили у стен, ставили их, таких пузатых, а они, как назло, падали и катались по бетонному полу, нарушая благоговейную тишину храма. Потом... что было потом? ...А-а, да, потом протирали стекла и становились видны огни и снег на улице. Пластмассовые ведра и корзины падают и катаются, катаются, рассыпая мусор по полу, и его вновь терпеливо собирают. Пахнет рыбой, что поджаривали на огне.

— Как это на огне? — Женя почесал нос.— Чео-то чешется...

— Очень просто — сначала поджаривают на огне на решетках или подвешивают за ребро над углями, чтобы запеклось, а потом колесуют, чтобы проветрилось...

— Как это?

— Вот лето наступит, поедем на рыбалку, тогда и покажу.— Отец улыбнулся.

Женя опять увидел перед собой: только ладони лодочкой в одной плоскости и ризы колоколом в одной плоскости, еще ступени, копья, черепа. «Все это напоминает Голгофу, Секирную гору»,— сообщает отец Мелхиседек. Боже мой! Боже мой! Отец Мелхиседек уходит, поклонившись.

— Потом мы с Лидой вышли на улицу. Она рассказала мне, что довольно редко заходила сюда, в храм, не знала толком ни праздников, кроме Рождества и Пасхи, ни служб, ни постов, ни молитв, ни чинопоследования, хотя ее мать, Фамарь Никитична, тут помогала церковному старосте, и все ее знали, и даже сам батюшка ее несколько побаивался за громкий стальной голос, была ли она права или неправа... какая разница?

Потом мы пошли с твоей мамой гулять. В пути следовало бы свернуть в переулок, чтобы сократить долгую, только что схваченную морозом дорогу по неосвещенной улице, но Лида повела меня на карусели — какие карусели зимой!

— Я знаю,— подхватил Женя,— мы там с мамой потом часто бывали. Я не люблю карусели, меня на них укачивает и начинает тошнить.— Женя подошел к могиле.

Теперь могила Лиды была чиста. Чиста от снега и черна от ночи бесформенной кучей дерна. Женя расчистил ее полностью, встал, вынул из карманов припасенное угощение — ломкий песок прошлогоднего печенья к новогодней елке, укутанной ватой, цветной бумагой,— к новогодней елке, ко дню ангела, к утренней службе, к службе вечерней, к маленьким, к крохотным таким вспотевшим ладоням лодочкой, совершившим свое слепое, но верное путешествие во влажной темноте карманов куртки, перешитой из ветхой бабушкиной кацавейки. К ладоням пристал белый порошок, рассыпанный повсюду.

Это был не снег, потому как не таял.

Женя вспомнил, что забыл выбросить целлофановый пакет, и теперь он разорвался. Значит, отрава перемешалась с крошками печенья, которым он только что угощал маму...

— Ты что? — Отец наклонился к Жене.— Замерз? Ну, пойдем домой, уже поздно, нам бабушка чаю согреет.

Но ведь она мертвая и, стало быть, не так страшно, что покушала это угощение. Она уже умерла. А бабушка говорила, что у Бога все живы...

— Я не виноват, я совсем, совсем забыл...

— Что ты забыл? — проговорил отец пустым, бесцветным голосом.— Сынок, пойдем скорее домой, пойдем, прошу тебя.

— Нет! — Женя отскочил к покосившейся, почти целиком погребенной под снегом ограде.— Нет! Не пойду с тобой! В глушь, в дремучую темь — там лешие, упыри, бесы и покойники!

— Что ты говоришь такое?!

— Я здесь останусь, рядом с мамой!

«Круг могилки я хожу, хожу, круг я келейки хожу, хожу, круг я новенькия, круг да сосновенькия, все я старицу бужу: «Уж ты, старица, встань, ты, спа-

сена душа, встань, уж к заутрене звонят. Люди сходятся, Богу молятся, все спасаются!» Все я матушку бужу, все я матушку бужу: «Уж ты, матушка, встань, ты, спасена душа, встань!»

— Ты поди прочь, пономарь! Ты поди прочь, молодой. Уж я, право, не могу, вот те Бог, не могу: ручки-ножки болят, все суставчики мозжат.

Круг могилки я хожу, хожу, круг я келейки хожу, хожу, круг я новенькия, круг да сосновенькия, все я старицу бужу: «Уж ты, старица, встань, ты, спасена душа, встань, как у наших у ворот собирается народ все со скрипочками, с балалаечками. Все я матушку бужу, все я матушку бужу.

— Ты постой-ка, пономарь! Подожди-ка, молодой! Уж и стать было мне, поплясать было мне, хоровод поводить с девушками, да лежу я в гробу — «круг я новенькия, круг да сосновенькия» — с медными пятаками на глазах».

Под вечер Женя заболел...

4. Женя

Под вечер Женя заболел.

Начался жар, поднялась температура, мокрые, расползшиеся валенки, оставленные в коридоре, повторяли форму влажных мучнистых ног, луж, хлюпающих шагов.

Дед старался не топать, прохаживаясь в темноте, лишь изредка озаряемый сполохами красного света из открытой топки печи. Часы с шипением стершихся шестерен и вытянутых вслед за цепями пружин пробили половину десятого. Отмерили границу тишины.

С кухни потянуло запахом настоя, приготовлением которого занялась Фамарь Никитична. Она специально для того пошла на неотапливаемую веранду и долго выбирала среди развешанных веников по окнам, среди трав и кореньев.

Сквозь цветной полусон Женя слышал голоса, шелест твердых, накрахмаленных углов подушки, шелест спиц, треск вздувшихся обоев, шум ветра и подвластных ему ветвей, шаги где-то очень далеко, шепот сухих губ, советовавших, как способней следует полоскать воспаленное горло. Женя почувствовал отвратительную горечь толченного в ложке анальгина, очень боялся пошевелиться, чтобы не растревожить такое слабое, постоянно сменяющееся ознобом, мерцающее тепло здесь, в огромных мокрых простынях. Ведь бабушка уложила Женечку к себе в кровать, накрыв стеганым одеялом.

Лежал, лежал да и свалил сам себя в кучу...

Под утро он уснул, однако вскоре проснулся: комната была освещена зеленоватым дымом перламутрового, давно заброшенного и заросшего водоема. Комната была пуста, комната была, и он — Женя — был. «А если я умру, как мама, то меня не будет... Все станут меня искать, звать, кричать: Женя, Женя, где ты? А меня уже давно не будет, и они пребудут в неведении и слепоте».

Посреди комнаты стоял стол, чуть шевелились благодаря горячему печному духу прелые занавески, газовые занавески, и страшила, страшила стена своим зимним рельефом побелки, отколотой штукатуркой и пролежнями замаскированных кирпичей, схваченных глиной, вьюшек ли. Речь, разумеется, идет о печной стене...

Под столом прятался грузовичок, доверху набитый игрушками, пусть даже новогодними, покрывшимися пылью. Окаменели за отсутствием — «гордо реет» — мятые первомайские флажки, услужливо снабженные подтеками казеинового клея. Когда-то Женя приклеивал их к уступам мебели, воображая себе парад на Красной площади, что транслировали по радио,— фанерный ящик, обтянутый колючим суровьем, светящийся ограненным стеклом и керамическими клавишами настройки,— радиоточка.

По столу ползали муравьи, но медная платформа для кускового сахара — фарфоровые балерины, тряпичные клоуны, лысые мраморные пасхи Фаберже и бумажные гномы, — круглая, подобная карусели, в центре стола, круглого, вздрагивала и начинала вращение.

Все быстрее и быстрее...

Женя вдруг становился невольным свидетелем этой нечаянной игры, нечаянной радости, и диспетчер по каруселям Афанасьевич пускал Лиду покататься бесплатно. Хотя Фамарь Никитична и давала ей двадцать копеек медными пятаками на завтрак, на мороженое, ... на глаза.

Да, на глаза, на глаза!

Диспетчер по каруселям в парке, где играла музыка, пускал покататься бесплатно. И они катались бесплатно вместе с кусковым сахаром, хозяйственным мылом, тряпичными клоунами и грудастыми физкультурницами.

Здесь все казалось реально и предельно знакомо, хотелось только иного света. И он становился иным — голубоватым утром, свежим, морозным, с наледью у водоразборной колонки и лаем собак, переживших эту ночь.

Женя пошевелился. Пижама высохла, затвердела, прилепившись к телу, и было столь приятно изуверски медленно отрывать ее от этого тела, распространявшего запах масел, зверобоя, загипсовавшейся марли и водки, которыми его (Женечку) натирали давеча.

Женя, кажется, был в беспамятстве и ничего не помнил из этого.

...вот они вернулись с отцом с кладбища, тогда мокрый, тяжелый снег сменился дождем, вот молча сели за стол и стали ждать ужина. Потом Женя почувствовал головную боль — сначала не сильную, но медленную, вязкую, напоминавшую мерный, однообразный звук внутри лба и бровей, будто там кто-то ползал на чердаке, заглядывая в слуховые окна, затыкая вытяжные короба из глубин низа пробками — тряпьем и мятой бумагой. Женя попытался встать, ноги не слушались, боль молниеносно усилилась, взорвалась, растекшись по рукам, губам, одежде. Женя вскрикнул. Отец обернулся. Он начал что-то говорить громко, даже, вероятно, кричать, а на лице у него была надета маска из плотной бумаги, которую он, судя по безуспешным попыткам, никак не мог снять.

Женя услышал совершенно чужой хриплый голос бабки: «...вот, пожалуйста, померили температуру — тридцать девять и пять! Додумался в такую погоду ребенка на кладбище таскать, ирод!»

Фамарь Никитична помогала Жене раздеваться, кричала деду: «Давай ставь чайник, чео-о уставился!»

Отца в тот вечер она к Женечке не пустила, и он остался сидеть в коридоре у открытой печной топки, сушил промокшее пальто и Женины валенки. Они курились.

Стало жарко.

Женя вспоминал лето, когда он рвал подорожники и обклеивал ими голые ноги и руки, рвал и цветы, восхищался их свежестью, терпким тошнотворным запахом, густым голубоватым духом сумрачных водорослей.

Женя помнил, как сюда, в тень кустов, мама всегда прятала банку с водой, забеленной молоком, и банка остывала здесь.

Лида укрепляла сорванные цветы на тарантасе, стоявшем во дворе. Лошади вздрагивали, становились добычей оводов, навозной духоты, прели, мечтали о пронзительном ветре.

Тарантас, который теперь более походил на большую корзину цветов, после полудня уезжал на дальние лесоучастки. По его сиденьям, фартукам и блестящим подлокотникам ползали жуки. Лесник готовил зеленые военные термосы с их курящимися внутренностями — с чаем ли, щами, кашей. Проверял ружье. Кучер-цыган смотрел на маму: она выходила на солнце, на солнечную сторону, и ветер слегка шевелил ее волосы.

Жила-была себе в этой местности, посреди старого парка с единственной аллеей, на берегу заболоченного дурно пахнущего пруда, вернее сказать, карьера (глинодобытчики постарались!), в комнате из парусины и веников зверобоя. Выходила на веранду, вдыхала этот самый зверобой, эти самые языческие благовония-услады, здесь еще пахло сырым луком, а на кухне всегда говорило радио.

Летом Женя любил ходить на Филиал один. Филиалом назывались окрестности поселка, где располагались кирпичный завод, лесобиржа и интернат. В

это время интернатовских увозили на торфяные разработки за болото Чижкомох, и поэтому интернат пустовал.

Площадка перед бревенчатым зданием школы зарастала травой, куча угля за котельной покрывалась теплым дымящимся мхом, и можно было, вполне обезопасив себя, избегая вопросов и погони по пятам, забраться на самый верхний звон полуразрушенной колокольни. С высоты после узкой, темной лестницы — крутого, крюкастого лаза, низкого, невыносимо низкого, скребущегося в голову потолка Женя принимался за эту территорию мира, разлитого под летним солнцем.

Конечно, ослепляло с непривычки, хотя этой минуты следовало ожидать с неотвязностью, борясь с волнением, не подавая вида в том, но все же, все же эта минута наступала внезапно — болели глаза, ломило голову.

Женя видел лес до горизонта, поселок, мутную зелень карьера.

В продолжение тишины улицы пустовали, расчерченные песчаной пылью, поднятой вероятным метанием камней или путешествием велосипеда. Деревянные мостовые возлежали в тени деревьев. Единственным местом, где происходило хоть какое мало-мальски различимое с вышины движение, была станция УЖД — узкоколейной железной дороги: мотовоз дышал черной копотью солярки и двигался игрушечной спичечной коробкой.

Потом Женя пробирался вдоль кирпичной монастырской ограды, и колокольня оставалась за спиной на фоне синего июльского неба.

...наконец лесник уезжал на лесоучастки, и ворота закрывались.

Женя очнулся. Дед сидел рядом с его кроватью на стуле и дремал.

Было уже поздно, часов одиннадцать, когда в дверь постучали. Отец открыл. На лестнице стоял Леха Золотарев. Он говорил быстро — «но Женя заболел»,— он постоянно оглядывался — «но Женя заболел»,— он чесал нос — «но Женя заболел»,— он переминался с ноги на ногу — «но Женя, говорю, заболел».

Женя почувствовал, что этот разговор, свидетелем которого он стал, теряет для него всякий смысл. Голоса сливались в какое-то однообразное гудение, вой.

— ...а как же звали твою собаку?

— Мухтаром звали.

— Стеклом, говоришь, подавилась?

— Да, она, зараза такая, все по помойкам лазила, дрянь всякую жрала.

«Я не понимаю, что он говорит».— Женя попытался встать.

— А ты его не слушай, не слушай.— Прямо перед собой Женя увидел усатое лицо Фамари Никитичны.

Оглянулся, деда уже нигде не было, а была только она... конечно, ведь Фамарь Никитична родилась в этом старом двухэтажном деревянном бараке, разгороженном печными трубами и фанерными ширмами, прожила здесь всю жизнь и знала свое заветное, укромное место под лестницей, где неторопливо располагалась с собственными опушенными холмами двойного подбородка, снопообразным пепельным париком и растянутыми, в сравнении с древесными грибами, мочками ушей. Естественно, чтобы никто не видел. Не дай Бог! Она разматывала свой серебряный тюрбан, сыпала на пол потоки стекол, конфетти, елочных украшений, снимала клипсы, закусив ими полысевший и потому скользкий манжет старой плисовой шубки элизабеты шварцкопф... Нет! Она не вкушала всего этого, у нее наличествовал гастрит, и ее частенько подташнивало.

Бабка всегда вспоминала зиму в той лишь связи, что в холодное время года на веранде хранилась картошка в корзинах на фоне засыпанных снегом деревьев. Веранда, на которую вела дверь, прорубленная в конце сумрачного коридора, была пересвечена солнцем, дымившимся пылью и паутиной. Последние недели, когда уже не могла выходить на улицу, Лида неподвижно сидела здесь, завернувшись в одеяло. Было свежо. Прозрачно...

Потом Женя услышал, как хлопнула входная дверь. Некоторое время шаги разносились на лестнице. Стукнула калитка. Золотарев ушел.

Теперь воцарилась тишина, и только из комнаты доносился сиплый голос Фамари, она что-то пела Женечке, который заболел.

Колыбельную песенку пела:

Приходи к нам ночевать,
Нашу Лидочку качать!

Пела распевно, закрывала глаза, раскачивалась, казалась совершенно беззвучной. Мертвой:

Уж ты, котенька-коток,
Я тебе, тому коту,
За работу заплачу:
Дам кувшин молока
Да кусок пирога...

5. Интернат

Столовая располагалась в бывшем братском корпусе монастыря. Первый этаж, лишенный перегородок, был переоборудован в зал и кухню с прилавком-раздачей, кафельными до половины стенами, электрическими плитами и жестяными закопченными вытяжками. Второй же этаж был превращен в склад, там стояли холодильники, а окна были снабжены решетками из арматуры.

Рассказывали, что года три назад интернатовские, воспользовавшись пожарной лестницей и выбив стекла, залезли сюда в поисках спирта. Кто-то пустил идиотский слух, что на нем работали холодильные установки, но, естественно, ничего не найдя, они разгромили продуктовые шкафы и разбили часть хранившейся здесь посуды. Тогда даже вызывали милицию на сине-зеленых с расшатанными рессорами УАЗах-буханках. Зачинщиков вскоре нашли и отправили в райцентр, после чего их больше никто не видел. Вся эта довольно неприятная история закончилась тем, что окна второго этажа забрали металлическими прутами, грубо и неумело сваренными между собой, а пожарную лестницу приковали цепью к здоровенному пню, оставшемуся после расчистки монастырского двора.

Стены столовки, прокрашенные синей масляной краской, сохраняли рельеф заложенных ниш, арок и разобранных контрфорсов. Потолок тут был необычайно низок и расходился к углам традиционными парусами, столь типичными для старых построек. В тех местах, где было возможно наибольшее напряжение, во время капитального ремонта воткнули бетонные сваи — ледяные колонны. Колонны — вечно влажные своей цементной подвальной сыростью. Столпы... В шесть часов утра зажигали свет на кухне и включали плиты прогреваться. Длинные острые тени от ножек перевернутых стульев, что ставили во время ночной уборки на столы, втыкались в окна и рукомойники — противорасположенные. Здесь, у рукомойников, всегда была натоптана грязь, потому что интернатовские никогда не выключали кранов за собой, как, впрочем, и редко мылись, приходя на завтрак заспанными, а в большинстве своем и неопохмелившимися. Мутило, конечно: запах хлорки, готовки, пара, горелых проводов.

Висел плакат «Соблюдай чистоту!». Висел себе и висел, пока его не сорвали со стены и не положили в лужу перед рукомойниками этаким шатким спревающим мостком.

Продукты из холодильников и шкафов всегда выдавали Серега или директор интерната Борис Платонович — из отставников.

Дежурный с трудом протискивал короба со строго размеренными порциями в узкий лаз, что вел на первый этаж. Спускался. Этот лаз остался еще с монастырских времен и вел раньше в трапезную церкви Святых Отцов Семи Вселенских Соборов, во время капитального ремонта уничтоженную. Тогда даже умудрились спрямить алтарь, выступавший из стены полукругом, превратив его в отхожее место, где водонапорные баки прятались высоко под потолком... прятались себе во влажной темноте и струпьях отошедшей штукатурки. Их почти не было видно, и едва ли вообще было возможным помышлять об их

уединенном существовании, если бы не среднего диаметра расцарапанные гвоздями трубы, вьющиеся вкруг яслей змеями, и гул, вой желтоватого оттенка воды. Ржавой воды, вонючей воды, которую изредка выпускали, как безумного зверя, чтобы неминуемо наблюдать ее исчезновение в подтечных коричневых глубинах унитаза со стопами. Со стопами на дне ... для получения удовольствия. Продукты два раза в неделю привозила вахтовая машина, идущая в сторону промзоны, а оттуда на лесобиржу. Там тоже работали столовки для кочегаров заводских печей и заготовителей.

Деревянные ящики с хлебом и консервами принимал сам Борис Платонович, все записывал в амбарную книгу, ругался с водителем, много курил, а иногда и помогал таскать ящики к продуктовым шкафам, если дежурный оказывался слабым или вида синюшного. В интернате многие болели...

Столовались тут и лесники, и водители лесовозов, свободные от смены. Они приходили часам к девяти утра, когда «синяки» — так они именовали интернатовских — уже уходили в классы или в мастерские. Брали с утра двойной суп, двойную кашу и два вторых. Запивали горячим чаем без сахара или просто огненным кипятком. Вообще-то суп готовили только к обеду, но для них — людей уважаемых, неторопливых и бывалых — всегда находилось что-нибудь из вчерашних запасов — суточное.

Хлеб нарезали толщиной в два пальца. Работать хлеборезом было престижно и неутомительно. Ведь хлеборез приходил вместе со всеми на завтрак к восьми часам, ибо подготовил ломти загодя, и сидел он за одним столом с преподавателями. Опять же от нарядов на службу освобождался.

Так вот, лесники и водители лесовозов, как правило, садились у запотевших к тому времени окон — это дальше всего от грязных рукомойников, сдвигали столы, развешивали огромные тулупы и телогрейки на свободные от своей молчаливой компании стулья, некоторые не снимали шапок, а некоторые и снимали, разглаживали морщины лба, волосы. Причесывались.

В их тарелках плавали капуста, лук, поленца моркови и извечный, как будто его перекладывали из супа в суп, из порции в порцию, изрядный кусок сала. Скользкий, горячим жиром он бежал с ложки, за ним охотились. Как правило, он оставался последним в обмелевшей тарелке, которую в конце концов водитель лесовоза, лесник ли хищно опрокидывали себе в рот, вонзаясь желтыми от табака зубами в этот вязкий парафиновый ком. Угощались, одним словом.

Плиты были старые и потому разогревались медленно. Дежурные ставили чаны с водой на варку. Снимали стулья со столов, включали свет в зале, отпускали дверь от замка, которую, однако, до поры припирали деревянным брусом, специально для этой надобности заведенным. Ведь вся эта интернатская свора ломилась сюда до срока, стучалась в окна, расплющивала свои носы и губы по стеклам, вопила: «Давай открывай помойку! Жрать охота!»

В обязанности дежурных также входила ежемесячная проверка труб в бойлерной в подвале здания, ведь пар поднимался через вентиляционную тумбу вверх, намерзая грязными тиглями на железную решетку. Комьями.

Немалую опасность представляли оставшиеся здесь после ремонта циркулярные пилы и электрические ступы для мела, извести и гравия, что совершенно загромождали узкий проход. А также — неподъемный чугунный люк, еле освещаемый слабосильной лампой в матовом колпаке. Вдоль стен перемещались провода, горячая вода в трубах шумела, грела влажный воздух, на полу в беспорядке лежали мешки с углем и паклей.

«...а я все ждал, все надеялся, что наступит тот момент, когда шпалы, а за ними и рельсы, и наш вагон врежутся в мутную, густую киселем водоросли горячую воду ... и все, расталкивая друг друга, бросятся к аварийному выходу в потолке, будут просить подсадить, больно ударяя других по лицу каблуками резиновых ботиков и кирзовых сапог», страшась затопления тамбуров, подвала, столовой и всего монастыря-интерната.

Жители поселка именовали интернат еще и Филиалом, подобием вольного поселения в виду казарм воинской части за бетонным формованным забо-

ром. Вновь прибывших тут селили в длинном двухэтажном корпусе, тянувшемся вдоль полуразвалившейся ограды из красного кирпича. Серега здесь работал военруком.

Серега здесь работал военруком, он вел гражданскую оборону (гроб) и энвэпэ. У него в классе висели плакаты по полной и неполной сборке-разборке автомата и пистолета, еще стояли столы, изрезанные заточенной ножовкой, а в несгораемом шкафу лежал единственный противогаз.

Одно время и Лида работала на Филиале воспитателем в младших классах, платили мало, но тогда другого выхода не было: Женя только что родился, и были нужны деньги.

Рассказывали, что как-то на ноябрьские праздники Серега достал из шкафа противогаз, напялил на себя это резиновое говно и вышел на спортивную площадку перед школой. Площадка была разворочена тракторами, тогда возили дрова, но кое-где из-под грязи и колотого асфальта проглядывала белая известковая арматура разметки для строевой муштры.

Серега что-то бубнил тогда в газоотводную гофрированную трубу, пытался достать спички, но промахивался мимо карманов, хотел закурить, но не находил рта. Несколько раз упал, провалился в заполненные жижей борозды-колеи, гонял квадратными носками ботинок комья земли — футбол...

Лида насилу оттащила Серегу к колонке, стянула с него противогаз, который он успел благополучно заблевать внутри, и отмывала его бледное скользкое лицо. Серега тогда вдруг заплакал, а в циклопических размеров луже, рядом, совершало свое плавание мятое ведро из-под угля, из кочегарки украденное за ненадобностью.

Через несколько лет, уже на похоронах Лиды, Серега опять заплачет, запричитает: «Вишь, как, малец-то, получилось, приказала мамка долго ...» — узнает в темноте коридора мальчика Женю.

Теперь все иначе...

Серега икнул. Почесал затылок. Закурил — до завтрака еще было время. Скоро построение.

«Дисциплина прежде всего для этих скотов,— сплюнул. Посмотрел на часы. — Ничего, ничего, есть еще время, есть...» Вспомнил, что вчера перед сном опять «увидел» родителей. Они давно умерли, они говорили ему: «Сереженька, Сереженька, тебе надо жениться, чтобы был дом, семья, а у нас будут внучки, наверное, они будут похожи на тебя. Ты помнишь, какой ты был маленький?»

Кажется, родился где-то в Средней Азии в русской семье, с трудом переносил жару, колыхавшую энцефалитные сетки, расставленные лохматые сети в ковчегах солончаков, марлевые пологи, растянутые по углам камнями. Потом был переезд в Крым к тетке, сестре матери, и медленное глиняное существование в глиняном хуторе — то ли Кзыл-Орда, то ли Кучук Янышар, то ли Гезель Дере, то есть под названием таким странным. В хуторе были кривые пыльные улицы и не было моря, до него было километров сорок по гравийной дороге.

— Стой! Ко мне! — Серега поправил шапку.— Фамилия?

— Вобликов.

Этот Вобликов — несуразный, худой, ушастый, с визгливым женским голосом, неловко волочащий безразмерные стоптанные ботинки. Серега увидел его выносящим чан с помоями из столовки. Скользко.

— Смирно... чан поставь... вольно, оправиться.

Вобликова не любили буквально все — в столовке кричали: «Вобла-сука, опять добавку зажал! Да это не вобла, черепа, какая же это вобла! Это петух вонючий! Самый что ни на есть петух! Зуб даю!»

Огрызаться было бесполезно и защиты ждать было неоткуда. Даже добродушная посудомойка баба Кланя, работавшая по найму, не упускала случая поддеть его. Придурковато улыбаясь, бормотала, тряся головой:

— Угости сигареткой, солдатик.

Эта Кланя жила где-то возле вокзала узкоколейной железной дороги. Однако приходила раньше всех, просыпаясь часа в три утра в неотапливаемой оштукатуренной пристройке к вагону с надписью «дефектоскоп», потому и кашляла, потому и отогревалась у плит и чанов с кипятком — «угости сигареткой, скотина».

— Не курю.

Вобликов брезгливо отворачивался, его мутило от запаха хлорки, а еще надо было выносить чан с помоями, а еще надо было подметать зал, а еще надо было отнести пустые ящики на двор и подняться за консервами на второй этаж, а еще со вчерашнего вечера плохо себя чувствовал, видно, простыл, когда снег убирали.

Да, наверное, точно так и получается: сначала мерз, затем разогрелся и даже вспотел, а потом целый час ждали на ветру грузовик, чтобы привязать огромный деревянный ковш и передвинуть снежную гору к ограде.

Пронизывающий ледяной ветер.

«Ну, зачем, зачем все это? Почему все так? Зачем я живу?»

— Значит, не угостишь даму сигареткой-то?!

— Я же говорю — не курю!

— Пожалел! Пожалел старой женщине даже бычка сраного! Падла! А у меня мужа и двух сынов на войне бонбой убило, понял ты? А у меня пенсия сорок рублев будет, и дрова не на что купить! Скотина! Самого маленького, малюсенького такого окурка, бычка обслюнявленного, и того старой женщине пожалел! Морда! — Она хватала Вобликова красными мокрыми руками, она тащила его в кладовку без окон, кричала: — Вот смотри! Видел? Видел?

Вобликов вырывался, ненавидел себя в тот момент, боялся быть застигнутым врасплох, как если бы он уединялся у зеркала, созерцая себя, страшился признания самому себе в том, что красные, вареные-перевареные мокрые руки посудомойки могут доставить ему неведомое удовольствие.

Из зала уже кричали: «Дежурный, где чай?»

В столовой всегда ели холодными мокрыми ложками, поданными на раздаче в тазу, хотя многие, в основном старшеклассники, доставали собственные приборы из карманов или из-за голенищ сапог (у кого они были). В этом случае ложки, как правило, были заточены вкруг — «Смотри рот не порежь!».

После завтрака проходили построение на плацу и развод в классы или мастерские.

Содержимое чана с надписью «отходы» двинулось в обратном направлении, снег залепил глаза. Серега размахнулся и пустил кулак куда-то в темноту, наудалую, потом еще и еще. Вобликов упал на асфальт, закрывая лицо руками, что-то кричал, корчился.

Чан перевернулся, и сразу же запахло какой-то дрянью.

— Что здесь происходит?

Серега обернулся, ему было жарко, шапка упала в снег, кулаки были окровавлены, пот заливал глаза.

— Я спрашиваю, что здесь происходит? — В дверях столовки стоял Борис Платонович, директор интерната.

— Да вот, дисциплину нарушает.

Рассказывали, что вчера на поминках Лиды Черножуковой Серегу откачивали под рукомойником и до общежития еле дотащили.

— Немедленно прекратите!

Борис Платонович постоял еще несколько минут в дверях, затем, почувствовав холод, быстро повернулся и вошел в натопленный коридор. Здесь он остановился и как бы улыбнулся сам себе... вспоминал весну, День Победы.

...в начале мая, когда просыхали подъездные пути и дороги освобождались от спускавшихся с холмов мутных потоков желтой жидкой глины, когда в лесу еще лежал снег, черный от сухой хвои и гнилой травы, когда болото Чижкомох по утрам курилось зеленым паром (может быть, и дымом) и всплывали оттаявшие черенки лопат, кирзовые бесформенные ботинки, грязно-оранжевые путейские спецовки, затопленные при торфяных разработках, и деревья падали с оглушительным треском, рвали телеграфные провода в сторону кирпичного завода, и паром открывал навигацию, хотя у берега в кустах еще плавали куски льда, и до лесоучастков можно было добраться уже не только на вездеходе, Борис Платонович приезжал в интернат на мотоцикле, на «Урале»...

Борис Платонович жил рядом с бывшим Сытным рынком.

Сытный рынок — это торговые ряды конца века с большими деревянными козырьками, каменными подоконниками и разбитыми колесами взвозами для продуктовых подвод.

Борис Платонович выкатывал свой мотоцикл из сарая, где тот стоял всю осень и зиму, и катил его по доскам к воротам. Хотя раньше, когда был молодой, катался на мотоцикле и зимой: надевал старое отцовское кожаное пальто, шерстяную кепку и очки.

Борис Платонович толкал мотоцикл. Толкал. Заводил мотор. Гудел, гудел. Глохло. Опять заводил.

Ему приходилось сначала ехать вдоль длинной штукатуренной стены, на которой еще сохранились стальные кольца и крюки-тяги. Потом мимо складов ящиков, потом по улице Плеханова, с нее на Красную переезжал, площадь Победы, Расстанная, затем срезал по Витебскому переулку мимо двухэтажных жилых бараков.

Борис Платонович выезжал на зады квартала и ехал в интернат, туда, где виднелась полуразрушенная колокольня, черной корягой торчавшая в небо.

Мимо двухэтажных бревенчатых бараков, разгороженных печными трубами и фанерными ширмами.

Когда еще Лида была маленькой девочкой, Фамарь Никитична часто говорила ей: «Не будешь меня слушаться, отдам Платонычу в интернат, где холодный подвал с мышами, вон, вон он на мотоцикле едет!» То же самое потом слышал и Женечка: «Не будешь меня слушаться... вон, вон он на мотоцикле едет!»

Женя смотрел тогда в окно веранды, что была пересвечена солнцем, дымившимся пылью и паутиной, и действительно там шел праздник Девятого мая, украшенный флагами, играла музыка. В тот день, по обыкновению, Афанасьевич впервые в сезоне запускал свежевыкрашенные карусели, и Борис Платонович пылил на мотоцикле по Витебскому переулку по направлению к интернату. Борис Платонович совсем не был страшным и совершенно не подходил на роль пугала. «Что ты там торчишь у окна, ну-ка немедленно отойди и займись делом!» — доносился с кухни крик бабки.

Женя не шевелился. У Бориса Платоновича на груди были медали.

Шел праздник Девятого мая: в воздухе разносился гул моторов, на аэродроме происходило наблюдение воздушного боя, разумеется, показательного, коего устроители, задрав головы, переговаривались, восхищались, спасая свои глаза сложенными козырьком ладонями.

— Ах, праздник Девятого мая, Девятого мая, что каждую весну, говорю, каждую весну наступает. Ведь, понимаешь, у нас другого-то праздника и нет.

— Это точно.

— Что наблюдаем, товарищи? — Борис Платонович глушит двигатель, слезает с мотоцикла, поправляет пиджак.

— Здравия желаем, Борис Платоныч, с праздничком! Вот, так сказать, воздушный бой обозреваем, наших, так сказать, соколов.

— Дело хорошее.— Борис Платонович задирает голову к небу и долго молчит.

К празднику приурочены крашеная бумага, фанерные щиты с надписями, газированная вода, пиво, чай, духовой оркестр.

— Есть попадание! — Борис Платонович как бы улыбается сам себе.

Самолет противника с воем проносится над самыми головами зрителей, оставляя за собой густой след дыма, качается, от него отваливаются какие-то куски. Потом он приподнимается, заходит над лесом и, нырнув за макушки деревьев, исчезает.

— Сейчас баки примутся.— Борис Платонович садится на мотоцикл и начинает заводить его.

Так оно и случается: раздается густой, гулкий взрыв, который окрашивает бледное мерцающее небо бурым вонючим дымом. Огненная струя поднимается все выше и выше...

Серега поднял шапку и отряхнул ее от снега. Борис Платонович уже ушел и закрыл за собой дверь. Вобликов все еще валялся на земле, выл, закрывал разбитое в кровь лицо.

— Встать! Два наряда на службу вне очереди!

Серега напялил шапку на голову, достал сигарету, закурил.

— Я сказал — встать!

Вобликов поволок чан за здание столовки, там находилась выгребная яма — затишье, пустынно, можно долго сидеть на сваленных тут досках, смотреть на дымящееся содержимое опорожненного чана и вытирать разбитое лицо рукавом грязной телогрейки.

Женя довольно хорошо знал Серегу — последний год он часто заходил к ним в дом, разговаривал с дедом, слушал радио, рассказывал об интернате, пил чай с матерью на кухне.

...Женя скорчился, поджал колени к подбородку, чтобы было не так холодно, не так страшно, чтобы все не так было. Отвернулся к стене и закрыл глаза, а Фамарь Никитична запирала Лиду в комнате, освещенной зеленоватым дымом перламутрового, давно заброшенного и заросшего ряской водоема, и, может быть, впервые в доме становилось тихо и можно было спокойно смотреть туда. А что «там»? Туда, где существовали аллея, скамейки, дощатый крашеный забор без щелей, кровать, спеленатая набивным одеялом, перепаханная кривая дорога к краю леса, часть поля и рыжие песочные горы на глиняных разработках, видимые по касательной к плоскости пыльного, покрытого мушиными трупами подоконника. А еще дальше, в воображении — существование целого кладбища, разумеется, игрушечного: кресты из спичек, ограды из клееных коробков, свежая земля, размятая пальцем, и резиновые трубы-кишки, из которых на кафельные столы льется горячая вода.

Старые маленькие старательные девочки хоронили тут своих любимых голеньких куколок — целлулоидных-целомудренных, обряжали их в дырявые войлочные подстилки, пеленали и... в добрый путь!

В добрый путь!

Женя смотрел на них...

«Интернатовские встречали его усмешками, жевали спички, сплевывали, презрительно приговаривая:

— Ну, тебе сейчас будет.

Серега мутно-тупо наблюдал за строем:

— Равняйсь, смирно, к перекличке готовьсь!..

Интернатовские выходили из столовки после завтрака, ковырялись в зубах, закуривали, лениво переругивались.

Горели фонари, но лиц-то не разглядеть.

— Ты где, пап, а?

— Какой я тебе «пап»?

Интернатовские дружно заржали, как-то по-свойски, по-домашнему, без должной угрюмости, притопывая по обледеневшему асфальту, пропуская поземку.

— Отставить!

— Это же я, твой сын, Женечка Черножуков!

— Не знаю я никакую Женечку, понял?

Как это было мучительно переносить, лучше бы его они всей своей кучей-сворой били, но не унижали смехом, молчанием ли, перенося срам слов и жестов в выразительность бесстыжих взглядов — от первого ко второму, от второго к третьему, а там и до указующего перста недалеко, или, как говорил дедушка Женечки: «Недалече... Да, недалече тут до лесопункта, верст пять будет».

«Благое молчание». Благое молчание?

Серега почесал ухо.

— Ну, чео-о уставился? — И улыбнулся: — Забоялся, штоль? Не боись, пацан.— И засвистел, и зашатался высохшим стеблем на пронзительном ветру».

Вообще-то в этих краях постоянно дуют ветры: летом — раскачивая сосны и поднимая песок, зимой — путаясь в снегу, блуждая в снегу, создавая заносы, сугробы, ледники, горы до небес.

И вдруг стало известно, ну, буквально всем стало известно, даже за пределами интерната, даже в мастерских и на кирпичном заводе, что Серега напал на дежурного, выносившего из столовки чан с помоями, на ушастого придурка Вобликова. Это наверняка была истерика, припадок в том смысле, что внезапно произошел, ведь раньше за ним такого не замечали, хотя выпивал, конечно, истерика морозного утра и сухих мглистых сумерек вечера, потому как не бы-

ло сил больше терпеть эти скандалы, эти звуки — капель из крана, шепота, этого плача и нищеты, этих праздников и похорон, этого ада кромешного, в который попал, сам того не желая, этого сарая без крыши, этого нефтяного ежедневного чая, этих пьяных голосов за стеной, этого старушечьего воя...

Ведь они не прекращали выть с тех пор, как вернулись с кладбища,— сначала от голода, потом от обиды, а теперь у них пучило животы. Икота замучила.

6. Лида

Кажется, прекратились судороги.

Сумерки эмалевые, выцветшие миниатюры в летописи — заглавные буквицы, увитые виноградом и змеями, сухая кора и летний кинотеатр в поселке.

Женя проснулся, встал и почувствовал себя прозрачным, промытым совершенно, только что покинувшим серебряную купель и необычайно легким.

Женя воображал, что раскачивается на качелях с удовольствием, смотрит по сторонам, недоумевает: почему же эта буквица «П», увитая проволокой и плющом, столь напоминает лобное место? Голгофу? Например, каждое Божье утро просыпается, и каждое Божье утро — напоминание о Казни!

«Казань, Уфа, Ораниенбаум, Рай-Семеновское, Остафьево — «оставь его», Пюхтицы, Иыхве — язык можно сломать во рту».

Во рту, а полный рот-то, набитый тополиной ватой, сахарной ватой. Из переполненного рта можно и кадить нагретым духом, песком, ветром, можно и просто дуть окрест, оставляя на стекле матовые пятна.

Женя воображал, что заново учится ходить, хотя постоянно ловил себя на том, что все же умеет это делать, противоестественно кривил стопы и коротил шаги. Нет, нет — умеет, однако, соразмерить свой шаг с пространством комнаты, кухни, коридора.

За неделю болезни, когда Фамарь Никитична не позволяла ему вставать с кровати, даже после того, как спала температура, Женя вдруг ощутил себя таким уютным, самодостаточным, необходимым самому себе в этой столь прихотливо свалявшейся норе из одеяла и множества разноцветных подушек.

Конечно, слабость еще давала о себе знать, особенно по утрам, когда дед приносил к кровати банный помятый тазик с водой для мытья, мыло в пластмассовой мыльнице-кувуклии и полотенце через плечо.

Дед садился на табуретку и терпеливо ждал благорасположения внука — как будто так было всегда! Да так было всегда! Так будет всегда!

После завтрака Женя разрешал себе несколько прогуляться по коридору до двери и обратно. До первой приятно-ноющей усталости.

Теперь встречи с отцом, проводившим отныне ночи в пустующей комнате на первом этаже — спать в сарае было уже невозможно,— стали даже занимать Женечку. Ведь он признавался себе в том, что ждет этих встреч — таких никудышных, таких никудышных.

Отец и сын молча сидели в коридоре у топки печи до тех пор, пока Фамарь, застигнув их в уединении, с криком не выгоняла внука обратно в залу, где «потеплей будет», со сквозняка. Отец только улыбался, мол, «что поделаешь, надо так надо», но получалось у него как-то грустно, беспомощно, прощание получалось грустно у него. Жене становилось обидно в ту минуту, он начинал злиться на отца: почему он молчит? Почему не отвечает бабке? Боится?

Уходил в комнату, ложился на кровать поверх одеяла, поворачивался лицом к стене, закрывал глаза, забавляясь томлением, собственной беспомощностью, слабостью, жалел себя, издавал какие-то бессмысленные звуки Азии, узких улочек и расставленных лохматых сетей в солончаках — заунывные песни, «папкины песни», потом закрывал глаза.

Потом открывал глаза — на противоположной стене висело радио. Это было трофейное радио, светящееся ограненным стеклом и керамическими клавишами настройки, фанерный ящик, обтянутый колючим суровьем, собственно мануфактура, маленький свечной завод со своими голосами и приводными ремнями, шитье крестом. Кажется, дед рассказывал Женечке, как нашел это

радио в каком-то разрушенном доме в Кенигсберге, что дымился развороченной помойкой, и взял его себе, правда, пришлось немного потрудиться, в том смысле, что что-то там перепаял, провода заменил, стекло и медную сетку динамика зубным порошком начистил.

В комнате было тихо, словно в плену устоявшихся запахов лекарств и трав, веток и листьев, кореньев и ссохшихся, морщинистых плодов шиповника, что плавали в стакане с горячей водой. На полу лежали чешуйки ореховой скорлупы, прозрачные золотистые семена кедра, перепонки или маленькие еловые деревья — маленькие копии деревьев, которые с хрустом распрямлялись, высыхая. Еще фанерный ящик, стоявший на шкафу, окружали остро срезанные ветки терна и обожравшаяся трупным теплом и кирпичной непроточной водой прошлогодняя верба. Женя вспоминал Вербное воскресенье, о котором всегда напоминал фаянсовый мох на разбухших от сырости досках забора. Вкруг ящика-дома-обители-кельи-склепа-пустыни-гроба стояли черные башни просохших дров напоминанием средневекового города, по улицам которого можно было ходить, постоянно плутая, но нечувствительно, совершенно нечувствительно, отыскивать теряющиеся в темноте лестницы и двери, трогая медные вертушки звонков.

Женя трогал языком и губами горячие, вернее, дымившиеся, красные ягоды шиповника, их можно было прокусывать, выискивая тягучий сок и самое мякоть.

Вечером Женя вышел немного погулять во двор.

«На свежий воздух» — Фамарь Никитична так говорила. Она долго одевала внука, кутала со всевозможным старанием: это, чтобы ноги не промокли, это, чтобы спина была в тепле, это, чтобы шею не надуло, а это, чтобы холодного воздуху не надышаться с непривычки.

Женя медленно спустился по лестнице, от которой уже успел отвыкнуть за время болезни. Она ему показалась чрезмерно узкой, а перила, лишенные привычной заботливости, выглядели со своим блеском в темноте заваленными и скрипучими, целым заваленным трещащим городом, тем же Кенигсбергом после войны, той же Калугойдва.

Скрипучие, светящиеся во мгле перила...

Женя вышел на улицу. С карьера доносился лай собак, ветер, как ни странно, отсутствовал. Крыльцо, деревянная приступка и дорожка к воротам хранили воспоминания. Воспоминания о Лиде — разбросанными и уже почти лысыми, ободранными еловыми ветками. Воспоминания и об отце Женечки с воем, с ветром, с духом, что скрипел, дудел, шумел, чтобы не сказать, разорялся в заброшенном дровяном сарае с проваленной крышей. Вот.

Вот этот огород, вот — вода, замерзшая в бочке, вот этот город-городок.

Было тихо.

Ведь сумерки только начинали спускаться с низкого неба. Да и небо было выкрашено полосами: пока крепкий матовый сердолик Коктебеля чешется о красное, белые паровые пути-линии на востоке грядут в клубах ладана и фиолетовый дым исходит слоистым треснутым халцедоном, а красное медленно угасает — гаснет, неотвратимо притом.

Итак, кровяное медленно угасает в базальтовой темноте гор, предгорий, холмов, горовосходных холмов, покрытых лесами, а в нашем случае — рваными тяжелыми облаками холода. Льда.

Значит, завтра будет морозно.

Значит, солнце будет погружаться в стекло снега, оставляя за собой вертикальный оранжевый столп углей.

Так вот, значит, завтра будет морозно, и карьерный паром, эта ржавая сварная лоханка, в каких, как правило, с полей свозят навозные кучи и глину по дренажным путям, еще крепче вмерзнет в грязный, щербатый лед у дебаркадера.

Значит, снова придется ковырять ломом заиндевевшее очко в сортире: «Но ничего, это даже хорошо!» — приговаривая.

Женя прошелся по огороду до сарая, вернулся. Показалось столь недостаточным даже для самой избыточной, болезненной, неврастенической мнительности его: «Ведь ты мучим различными думами, страхами, страстями, наконец...

да и немного горчит на вкус, бок побаливает, пугает воспоминание о головной боли». Открыл калитку на улицу.

Женя открыл калитку на улицу. Фонари только что включили, и они неровно мерцали, разгораясь в полную силу.

Ранней весной, где-то в начале марта, Лида — мать Женечки — выбиралась в Калугудва.

Снег тогда становился мягким, рыхлым. Дул теплый ветер, бешено терзая серую мглу — сонную, устоявшуюся, прокисшую за долгие зимние месяцы. Кое-где уже проглядывала земля со своими помятыми, свалявшимися клочьями-волосами перегнившей травы, клонились кустарники долу, на деревьях находили свое последнее отдохновение улетевшие тряпки со старой чугунной фабрики «Зингер и Гершензон».

Март — в понимании отвратительной погоды, мокрого колючего снега и ветра-первоотца.

Март — нахождение последнего отдохновения: как хорошо тут! Как славно! Столь пустынно, сколь и одиноко!

Март — прелести известны, хорошо известны всякому.

Женя поцеловал руку отцу Мелхиседеку и погладил его по лицу — спящего, а он задергал головой, зарычал, но не проснулся.

Не просыпался и пастух, и стадо разбредалось в эти часы сна, пожирая молодые побеги клевера и травы-кислицы, ломая себя в волчьих ямах, погрязая в чаще леса, становясь легкой добычей одичавших собак.

Значительную опасность в начале марта представляла только что вскрывшаяся ото льда теплая река сточных вод, потоков, каналов, проток, которая разрывала мосты-лавы и заборы по берегам, подмывала и обрушивала целые песочные, земляные, глиняные уступы-города. Тут же — лодки, слепленные гудронной смолой, бревна сплавного леса, вырвавшиеся из мрачного, заброшенного централа-биржи в районе Высоковской Запани, полузатопленные лесовозы, трелевочные трактора, погрузчики, вросшие в прибрежный ил буксировочные тросы и ржавые цепи, что казались совершенно неподъемными.

Лида.

Она надевала старые дедовы военные ботинки поверх сапог, потому как сапоги промокали, и отправлялась на станцию.

В Калугедва Лида останавливалась у дальней родственницы со стороны матери — Анны Исаевны Лавровой. Анна Исаевна жила в центре города в коммунальной квартире одна, была глуха к тому же совершенно. Лида писала ей записки на огрызках бумаги, а Анна Исаевна сначала долго искала очки, потом долго пристраивала их на своем неподвижном, малоприметном, едва различимом в оконных зарослях алоэ, неведомом ей самой лице, по крайней мере ей казавшемся постоянно бледным. Затем медленно читала записку, не понимала букв, слов, смысла, кажется, тоже не понимала, молча кивала Лидии в ответ после всего этого, зажигала свет в прихожей. Проходило минут двадцать, если не полчаса.

Вообще-то Анна Исаевна ждала гостинцев, а Лида говорила ей очень громко, хотя прекрасно понимала про себя, что старуха все равно ничего не слышит, хоть ты ором ори, хоть ты шепотом шепчи:

— Вот тут вам мама гостинцы прислала!

— Перестаньте орать! — раздраженно доносилось из-за стены.

— Гос-тин-цы!

Анна Исаевна опять кивала головой, кажется, она это делала безотносительно к происходящему, просто трясла головой, прикрученной телефонными проводами к острым, выпирающим ключицам, принимала дары и прижимала их к груди.

Потом проходили в маленькую комнату-купе. Здесь было слышно, как за стеной соседи купают ребенка в корыте. Ребенок плакал.

Анна Исаевна смотрела на Лиду, но узнавала в ней почему-то Нину Ниловну, умершую от голода во время войны, бабу Катю — монашку из Тихоновой пустыни, Фамарь Никитичну из лесопоселка: как же тебя зовут на самом деле?

— Ольгой? Марией? Варварой? Анной? Светланой? Анкилиной? Бавкиндой? Евдокией? Елеусой? Параскевой?

— Нет, нет и нет!

— Запамятовала.

В окне маленькой комнаты-купе был изображен клуб вагоноремонтного завода с деревянными стволами колонн, гипсовыми вазами при входе и двухскатной жестяной крышей.

Вот и Анна Исаевна тоже была изображена тут как уже довольно пожилая женщина, состарившаяся и увядшая «юбилейной» отекшей свечой, свечой «тощей», которой неоднократно и безо всякого разбора пользовались неизвестные, крикливые, постоянно переезжающие с места на место со всем своим скарбом шкафов и ящиков, пропахшие кислой капустой и табаком соседи — то ли Быковы, то ли Зверьковы, — в ванной комнате. К примеру, разогревали воду в газовой колонке, пускали пар, размачивали закостеневшие губки и пемзу-камень, взрывали пеной дегтярное удушливое мыло в руках. Окно под потолком запотевало.

— Слышь, бабка, потри спину!

— Да она же глухая.

— Шучу, шучу...

Потом Анна Исаевна, стало быть, «юбилейная» свеча, возвращалась к себе такой мучнистой, с совершенно пересохшей кожей, доставала из комода-поставца глубоко и далеко запрятанный гостинчик и вкушала его степенно.

— С легким паром, тетя Аня,— говорила Лида и улыбалась.

— Поди, поди...— шептали залепленные крошками губы: открывались и закрывались, отворялись и затворялись.

Лида снимала дедовы ботинки, вослед им — сапоги, пальто, косынку и ложилась немного передохнуть с дороги на специально для нее установленную раскладушку у самого окна и труб парового отопления.

После обеда, который, как правило, состоял из жидкого непрозрачного супа и слегка подсохшего черного хлеба в придачу, после обеда, проходившего за отдельным, покрытым клетчатой клеенкой столом в просторной слабо освещенной кухне, ведь окна были наполовину заставлены банками и кастрюлями, Лида шла в город за покупками, за спичками, за газетами, за впечатлениями. Ей так хотелось сходить в клуб вагоноремонтного завода на фильм, ну хотя бы на дневной сеанс.

В неоднократно крашенном коричневой краской деревянном кивоте, что был прибит к стволам колонн рядом с гипсовыми вазами при входе под двухскатной жестяной крышей, канцелярскими кнопками был приколот лист ватмана. Густой парафиновой гуашью на нем были выведены название фильма, сеансы, а в скобках таинственное сокращение «АРЕ» — арэ, арэ,— что это?

— Арабская Республика Египет! — рявкнул билетер, только что прополоскавший свой рот с зубами этим странным сокращением.— Арабская Республика Египет, понятно? А сама-то ты из каких будешь? А? Из мещан аль поповского сословия, может, ты из батраков или фабричных, так их здесь не уважают... Да, так что шла бы ты отсюдова, красавица, а то, сама знаешь, нынче-то как, народ лютует, все больше балует по дорогам и хуторам, хотя и у нас, бывает, случается оказия какая, не без этого, не без этого, опять же снасильничать могут, стервецы! И на что, спрашивается, милиция, всякие там начальники разные?.. Бог им судия, Бог им судия...

«Ишь, ходют здесь всякие разные нищие! Прочь отсюдова, падла!» — звучит вслед. Голос закашлялся, потом, кажется, почесали голову железной линейкой для отрывания билетов, и окно кассы закрылось.

Потом Лида шла на колхозный рынок через площадь, и на площади уже стояли грузовики с прицепами, подводы, среди которых можно было разглядеть изукрашенный тарантас цыган,— шла торговля ворованным картофелем. Тут же в колясках мотоциклов под брезентом прятались банки с соленьями, капуста, прошлогодние, перележалые овощи не вызывали интереса. В окнах до-

мов, а колхозный рынок окружали старые довоенные постройки в ряд, соединенные одним невероятной длины забором, стояли пустые бутылки на подоконниках или на самодельных полках в междуоконном пространстве, герань, алоэ, жасмин источали соль из только что политого и удобренного чернозема, занавески прятали цветастые безвкусные интерьеры, где включали пластмассовые паникадила под низким потолком и заунывно читали канон на сон грядущему. Во дворах, как правило, загроможденных дровяными сараями и вросшими в землю яслями, наблюдались колонии почтовых ящиков — целые поселения, предусмотрительно снабженные шиферными навесами.

Эти цветы собраны в Гефсиманском саду и не имеют цены, против ваших кастрюль, против вашего хозяйственного мыла, натертого на свекольной терке, и прочего рыночного барахла. Они пропускают свет, идущий из окна, что напротив двери. А над дверью, между прочим, четыре счетчика электричества! Четверо соседей: Быковы, Зверьковы, какие-то татары из-под Казани и глухая пенсионерка Лаврова. Одиноко проживающая. Эти цветы мне достались от моей прабабки. Я ничего не имею против ваших цветов и тем более вашей бабушки... Прабабушки! Друг мой! Прабабушки! Прабабушка, княжна Мальчикова, генерал Растопчин — шелестят. Цветы, цветы шелестят на сквозняке, целлофаново шелестят на сквозняке! При чем тут прабабушка вместе с генералом и княжной? Кстати, княжной или княгиней?

Лида возвращалась к Анне Исаевне, и Анна Исаевна собирала раскладушку, ставила ее в коридор: «Может, еще погостишь денек, другой?» «Нет, мне ехать пора». В городе вдруг становилось пустынно с вечным библейским ветром, сухими листьями, ветвями, с заунывным гортанным пением среди мертвых каменных разработок и этим небом-потолком, разрисованным весьма незамысловато бабушкой Фамарью Никитичной — как бы в обличье горнего града Русалима.

— Почему так тихо, мама? — спрашивает Лида.

— Почему так тихо, бабушка? — спрашивает Женя.

— Да потому, что вечер наступил, чуть дыханье различимо — не колышется ли мох? — и дым стелется по воде, и крестопоклонная неделя на исходе, а там и до недели ваий недалеко...

— Мама, я себя плохо чувствую, у меня болит вот тут — внизу живота,— говорит Лида, заходит во двор, где стоят качели буквой «П».

Лида проходит вдоль стены и садится на скамью возле вытоптанной детской песочницы.

—... но ты не волнуйся, я сейчас посижу немного и пойду дальше.

— Да что уж там, сиди себе на здоровье.

...напряженно послушать руку, приложенную эндоскопом, а во дворе, куда приходят ночевать сумерки из долины реки Оки, ничего не будет слышно, кроме как — судорожное дыхание, отрывистое, от раза к разу — свист рваных мехов, кузнечных, фотографических ли, фотографические щелчки, пронзительно-фистульное сопение в трубу. Дудение.

— Но ты не волнуйся, я сейчас посижу немного, отдохну и пойду дальше, тем более что и Анна Исаевна — «юбилейная» свеча, наверное, уже заждалась меня к прощальному чаю на дорожку, ведь здесь, в Калугедва, я живу три дня, не более, и в пятницу вечером уезжаю домой в лесопоселок.

Лида оглянулась: двор, куда она вошла, был скорее всего традиционен в своей похожести на другие дворы, как будто тут жил один и тот же угрюмый человек-сатана-архангел Сатанаил, чтобы по утрам выйти на порог, проверить ясли, чтобы «среднего диаметра расцарапанные трубы вились вкруг яслей змеями», поклониться им, потом задать лопатой кашу из картофельных очистков и яичной скорлупы на корм, вынести ведро из-под рукомойника, проорать своей вареной глоткой в пустоту серого снега, домов, голых деревьев, улиц: «Ну, чео-о орешь-то, оглумел совсем?» — потом захлопнуть дверь со всей силой, так что посыпется штукатурка с дверной коробки, запереться на щеколду... и все.

Вот и все.

У соседнего дома ходили какие-то люди, разговаривали, курили, мигая сигаретными огоньками, смеялись даже, смеялись как-то необычно хрипло, надрывно, как в последний раз смеются — на себя глядючи, раскрывали широко рты и закатывали глаза, раскачивались и запрокидывали головы от удовольствия. Из их ртов исходил жар — теперь Лида все видела как бы в тумане.

— Может быть, это действительно досужие вымыслы и у меня ничего не болит... Женечка — такой же мнительный мальчик: весь в меня. Весь в меня. Я уже скучаю по нему. Я не видела его три дня. Я вспоминаю, как мне было страшно, томительно и скучно, когда меня, еще девочку, мама привела в церковь, и там было темно, а какие-то старухи, вероятно, из прихода, подвизавшиеся здесь, раздевали статую, что стояла в нише. Сначала я подумала, что это человек, и очень испугалась, что его раздевают прямо в храме. Но это была статуя, слава Богу. Это был Никодим. Это был он, к тому моменту совершенно голый, ссохшийся потрескавшимся деревом, склонивший голову в шитом прозрачном куколе. Никодим плакал.

Фамарь Никитична припадала к его тоненьким косолапым ножкам и лобызала их.

— Мама, почему он плачет? — спрашивала Лидочка.

— Потому как ему больно и горестно,— отвечала Фамарь Никитична.

— Горестно — почему?

— За грехи наши горестно, за ослушание и непослушание, а еще за гордость нашу...

— И холодно еще... наверно...— добавляла Лидочка.

— Ну да, холодно, не жарко...

— Иди сюда, пташка Божия, иди, я тебя обниму,— говорила Лиде одна из своры старух, замотанная в черный шерстяной платок.

— Не хочу!

— Иди, не бойсь!

— Нет! Не пойду в глушь, в страшную темь — там лешие, упыри, бесы и покойники, я здесь останусь, около мамы!

«Все я матушку бужу: уж ты, матушка, встань, ты — спасена душа — встань, уж к вечеренке звонят. Люди сходятся. Богу молятся. Все спасаются!»

Женя открыл калитку на улицу.

Фонари только что включили, и они неровно мерцали, разгораясь в полную силу.

Было пустынно с беспорядочно летающим мокрым снегом. Дорога поднималась на холм черной бездонной скважиной. Жене показалось, что по дороге кто-то идет в сторону лесопоселка. Это было странно, потому что в это время на станции УЖД не могло быть поездов да и попутные машины с лесоучастков, на лесоучастки ли отсутствовали.

— Откуда он мог взяться? — Женя остановился у калитки.

Меж тем, выйдя в свет фонарей, человек остановился — теперь его можно было разглядеть: на нем было короткое пальто старого фасона, на ногах сапоги, поверх которых были напялены военные ботинки, на голове — лысая шерстяная шапка, из-под которой выглядывал платок.

— Боже мой, кто это? — Женечка попятился к дому.

Вдруг человек обернулся.

« — Постой, сынок, оглянись, сынок, проводи меня вослед за собой, возьми меня за руку бережно, не бойся, и введи в ту комнату на первом этаже, где оставили свои вещи уехавшие навсегда жильцы...»

Женя вспоминал: электрическая сгоревшая плитка, укутанная травой синей изоляции, крашеные камыши, сухие цветы на подоконнике, опять крашеные камыши, что же еще там было?

«— ...Женя, сынок, ведь ты помнишь, что уже перед самой осенью я перестала принимать лекарства и лежала, отвернувшись к стене.

— Да, я помню, ты еще плакала...

— Мать, твоя бабушка, все еще чего-то хотела от меня, предлагала поесть, но я отказывалась, потому что не могла есть. Понимаешь, совсем не могла — от-ка-зы-ва-лась. Да, еще вот что... Женя, ты обязательно разбуди меня и попроси не храпеть, когда я забудусь, только обязательно, слышишь, обязательно...

— Мама, не храпи.

— Правильно, молодец — «все я матушку бужу, бужу...».

Жене теперь стало невыносимо стыдно, что тогда он следил, наблюдал за собой, как вор, и тайно боялся заразиться от мамы, заболеть так же и умереть — «ведь я еще совсем маленький».

— Пойди сюда, сынок, не бойся, я не заразная».

Женя не помнил, как очутился в доме, на лестнице, в коридоре, у окна. За окном падал медленный, тяжелый снег, улицы было уже почти не разобрать, горели фонари, освещая бревенчатые фасады домов. Здесь никого не было.

Пустынно...

7. Калугадва

Когда дед засыпал, не раздеваясь, не снимал и ботинок.

Когда Анна Исаевна Лаврова засыпала на своей высокой кровати, снабженной картонными ящиками и обклеенной бумажными образками, Лида выбиралась из своего брезентового гнезда раскладушки, специально для нее установленной, вставала, вопрошала сама себя:

— А помнишь ли ты эту станцию, на которой, собственно, и происходило все это? — А что «это»? — Ну, как... у котлов грелись какие-то женщины, некоторые из них даже разделись совсем и отпаривали въевшуюся в кожу копоть. Вот так. Вот как... И был ли тут хоть самый ничтожный город-городок, в котором жили путевые обходчики, лесорубы, диспетчеры, истопники и их дети, катающиеся зимой в снегу, а летом купающиеся в карьере? Конечно, были!

Лида улыбалась: станция, вокзал, полустанок, платформа Спасс, заброшенная лесобиржа, перегон, прогон для скота, река, карьер, дорога через топь, гора, сосновый лес на горе, деревянная церковь в лесу, кладбище и тому подобное — все это было видно из окна. Из окна пристанционного буфета. Уборщица мыла пол. Ведро, что оно волокла за собой, тошнило грязной водой, налитой через край. В кафельных внутренностях предбанника курили. До мотовоза Калугадва — паровая станция Калужской заставы — Тихонова пустынь оставалось еще больше часа.

Лида поднялась в зал ожидания, где на кривых продавленных скамейках спали старики и женщины. Удивительно, но все они, завернувшиеся в тряпки и прикрывавшие головы сумками, шевелили пальцами рук. Ног. Они хотели забыться, как забывался прежде маленький мальчик Женечка: носился по комнатам и коридору, кричал, расстегивал тугой ворот фланелевой рубашки, а Лида ловила его, запускала руку за шиворот и, определив, что чрезмерно разгорячился, усаживала рядом с собой поостыть малость...

Так вот, они хотели забыться или отведать густого жирного кефиру, они помышляли, что когда откроют свои маленькие заспанные глаза, то уже будут на другой станции: Филиал — Промзона — Мастерские — Кирпичный завод. Все они клали под головы завернутые во влажную марлю кусочки черного хлеба, чтобы потом хором и отвечать: «А вдруг во сне кушать захочется?»

Потом на вышках включили прожектора, и металлический голос по громкоговорителю что-то там объявлял. Мотовоз дернулся. Лида столкнулась со стеклом, за которым неспешно поплыла назад платформа. На платформе стоял и курил отец Жени. Стало быть, она увидела его в последний раз, а он и не заметил ее. Нет, нет, не заметил. Ее.

Лиду похоронили на седьмом участке — это уже за церковью, ближе к оврагу. Действительно, ведь был же седьмой участок, который можно было узнать по большому высохшему дереву с нарисованной на нем цифрой «7». Участок с серебряным куполом и дуплом на высоте затопленных часовен. Участок

с невысоким кирпичным забором на высоте подбородка, если встать на носки буксующих, проскальзывающих сапог. Потом и овраг.

Еще можно воспользоваться в этих краях свежей штыковой лопатой с наждачным желтым черенком. Лопату эту необходимо прятать, только лишь строго зная место — под навесом, возле кирпичного крепкого-крепкого дома сторожа, — и сохранять в тайне это место. Место упокоения лопаты.

Вообще-то это грибные места, и седьмой участок не составляет исключения: даже терпкие весенние запахи (когда все раскисает, потому что отпускает самую малость) обнаруживают картофельную гниль и предстоящие ягоды, резиновую гарь и дыхание Предстоящих, разбросанные по талому снегу грушидички, яблоки, более земляного происхождения, и сушеные белые грибы. Летом и осенью чистка грибов традиционно удручает.

Чтобы украсить стол, необходимо пройтись взглядом по целлофановым покровам, аккуратно прибитым гвоздями, железным высоким саням и врытым в грунт стульям седьмого участка. Все тут, ничуть не тронутое тлением, если, конечно, недопитый чай с дождем и снегом, песком и куриным пометом, покусанный птицами хлеб и консервная свобода, то есть после консервного заточения и темноты, не вызывают отвращения. Отчего же? Отчего же? Не вызывают...

Итак, до поры не стоит подглядывать за снедью, столь расторопно подаваемой, преподаваемой, предуготовляемой! Следует отвернуться к окну, или к двери, или к шкафу с наклеенной на нем географической картой материков. Невозможно даже утруждать себя просьбами, мольбами, потому как внезапное великолепие убранного стола стоит того. Стоит ведра яблок, кастрюли куриного бульона, натертой в миску свеклы.

Фамарь Никитична накрывала на стол.

— Вот уже целых девять дней минуло. Даже и не заметила, как они прошли, пролетели. Лидушке, наверное, сейчас хорошо... тепленько, она все жаловалась, что мерзла, и спокойно... Это я, я во всем виновата!

— В чем, бабушка, виновата?

— А ну ступай отсель, ишь, умник какой!

— Я не умник.

— Не дерзи, не смей дерзить старшим!

Женя подумал о том, что все нынче повторяется: и морозное утро, и мглистые сумерки, и кухонные скандалы, и капающая из крана вода, и шепот, и плач, и нищета, и пьяные голоса за стеной, и старушечий вой, и нефтяной ежедневный чай — и так до бесконечности.

Раньше к семейному столу собирались родственники, которых Женя толком-то и не знал. Нина Ниловна, например, которая всегда приходила в тяжеленном рукастом пальто из грубой шинельной ткани и в полосатой вязаной шапочке-сольвейг. Потом еще баба Катя. Кажется, она была монашкой из Тихоновой пустыни (тоже с седьмого участка, кстати сказать) — маленькая высохшая старушка, забранная в черное, с блестящими костяными четками, к которым был привязан кусочек хлеба. Баба Катя приходилась Фамари троюродной сестрой. Уже после того, как разогнали монастырь, она еще долго жила в бывшей, несколько переоборудованной под жилье бане на задах лесникова дома. Летом и осенью ходила собирать синий мох на дальние заброшенные лесозаготовки, бывало, что приходилось ночевать в старых, полусгнивших зимовьях на болоте. Там ее довольно часто встречали сборщики клюквы из райцентра. Когда баба Катя видела незнакомых людей, как, впрочем, и знакомых, особенно в последние годы, то ложилась на землю лицом в траву и так покоилась в полном безмолвии, разве что шептала молитву, дожидаясь, пока незнакомые, внезапные встречные не уйдут в совершеннейшем смятении. Потрясении чувств. Руки она расставляла крестообразно.

В семьдесят пятом году баба Катя умерла.

Женя дождался, пока гости уселись за стол, и вышел из комнаты в коридор. Здесь было пустынно, хотя дверь из залы вполне могла бы открыться, по воле сквозняка, например, и тогда бы мелькнула часть стола. У окна сидела Фамарь Никитична в черной косынке, Женечка всегда знал ее одинаково ста-

рой, поджимавшей губы, и они у нее белели оттого. Дальше — истукан онемевшего деда, который не выпускал из рук мокрого носового платка,— интересно, какое у него было теперь лицо — сморщенное, плачущего ребенка. Еще сидели какие-то родственники, ветхие, старинные подруги Фамари, приживалки. Они, затравленно озираясь по сторонам, ковырялись в салате из вареной свеклы и репы.

Все, все — под портретом Лиды, перевязанным черной газовой лентой для волос.

Потом дверь захлопнулась бы, перестав освещать Женю, отрезав тени.

Все повторялось. Миновал срок. Была уже настоящая зима — с наледями, ветром, однообразием быстро стынущей пищи. И было так приятно думать об этом повторении, ощущать его. Впрочем, отдавая себе отчет в том, что нечто должно и измениться. Медленно проживать каждую последующую минуту, чувствовать: вот гости пробуют голоса, прокашливаются, переругиваются.

Женя вышел на улицу. Было уже темно. Пока пришли с утренней службы, пока все собрались, пока печь протопили до трещащей сухим клеем духоты, пока на стол накрыли ... так и потемнело. Даже не заметили.

В соседнем доме на первом этаже у Золотаревых включили свет. Наверху хлопнула дверь, по ступеням вниз загремели шаги. Женя рванулся к сараю на огороде и только успел заскочить за угол, как на крыльцо вышел отец.

— Жень, ты где? — спросил он в темноту двора.

Отцу было жарко тогда: он закатал рукава рубашки, его слегка шатало. Не дождавшись ответа, он прислонился к дверному косяку, стал искать спички, но промахивался мимо карманов, хотел закурить, но не находил рта, приговаривал еле слышно: «Поди, поди...» Казалось, что предмет его путешествия уже забыт безвозвратно. Ну, так просто вышел покурить, подышать свежим ночным воздухом, справить нужду, поодиночествовать, чтобы гудеть себе под нос с усмешкой: «Приходи к нам ночевать, нашу Лидочку качать... ну, ну...»

Потом отец спустился с крыльца, зашел за черную башню дров, то есть высохших серебряных дров — «с серебряным дуплом на высоте затопленных часовен»,— на ходу расстегивая штаны.

Женя смотрел на обшитый тесом фронтон дома, на бревенчатую стену торца, на крыльцо, на дверь, пока отец вновь не появился тут на фоне плоской крашенной водяной краской декорации. Появился и, как бы вспоминая, прокричал:

— Жень, пойдем домой, где ты там прячешься?.. Я завтра утром уезжаю!

Потом и за столом отец сказал то же:

— Я завтра утром уезжаю...

— Может, останешься еще на недельку? — проговорил дед.

— Заткнись, старый, совсем одурел!..

Вот дед, когда его уволили из райотдела милиции, работал на станции УЖД сторожем, охранял склад с путейским и дворницким инвентарем через ночь на третью. Заходил в пустые темные вагоны, что стояли в отстойнике, присаживался у окна, разворачивал истрепанный бумажный пакет с ужином, который перед уходом на смену ему готовила дочь Лида.

Дед ел хлеб, выискивал по изломанным путям несколько микроскопических колец выращенного на веранде в затянувшейся плесенью стеклянной банке лука-севка, откусывал немного вареной колбасы, на хлорный запах которой прибегала неизвестно откуда взявшаяся собака. Похоже, лесникова. Вечно голодная, но добрая. Ну, что, нужно было угощать: собака ложилась на оббитую дерматином скамейку и тщательно кушала. С благодарностью. Шевелила ушами и головой.

Потом дед приступал к жестяному ящичку из-под леденцов, что сохранял еще какой-то штампованный орнамент и полустершееся название фабрики, кажется, Бабаева. Дед открывал крышку-люк, сюда, в сладкую темноту, Фамарь Никитична снаряжала немного соленых грибов. А тем временем собака вставала, клала морду на колени деда и ждала новой порции вареной колбасы или в крайнем случае просто черного хлеба...

Он любил вспоминать войну, потому как у него больше ничего не осталось с тех пор. Он рассказывал внуку Жене, как в сорок пятом году они играли в

футбол на большом выстриженном газоне перед литовской резиденцией Тышкевичей где-то под Клайпедой. Гоняли тяжелый тряпичный мяч, перетянутый телефонным кабелем, коего пуки были разбросаны повсюду в связи со взрывом местной телефонной станции. Играли ребята из роты минометчиков, проспиртовавшиеся санитары, раненый летчик, у него была прострелена рука, автоматчики из полковой разведки, а на воротах стояли долговязые бритые наголо курсанты из спецдивизии НКВД.

По возвращении с фронта дед и жил тут, в двухэтажном бревенчатом бараке на втором этаже, с Фамарью Никитичной и дочкой Лидой.

Вечерами после работы любил побаловаться с инструментом в сарае, который стоял на огороде. Запускал точильный камень, примерялся к стамескам, напильникам, разводил ключом ножовку, вырезывал топорище, приспосабливая по руке острейшим сапожным ножом, включал электроплитку, чтобы растопить канифоль, припой, свинец, пластмассу, ставил топор у двери...

Когда Женя вернулся в дом, то гости уже раскачивались вместе со скамейками, взятыми у соседей, перемещали тарелки по залитой вином и жиром клеенке. Было слышно, как кто-то встал, опрокинул пустые бутылки, отставленные к стене, и бутылки загремели, помчались-покатились по непригнанным доскам пола. Гости неожиданно запели, как если бы пели немые, размахивая руками, показывая так свою песню, которую сами они не слышат.

Фамарь Никитична вдруг подхватила пронзительно громко: «Эх, вы, туры да туры, малы деточки!» Она пела о том, что еще один день прошел, много забот принес и унес и в храм Божий сходила, и пироги испекла, и Лиду не забыла помянуть, а за поминовение усопших — аж десять «рублев» или пятнадцать, белье после Женьки стирала, а дед совсем старый стал, глупый — «Ну, что, ну, что ты, отец, плачешь? Спой со всеми, спляши на потеху людям, выпей вина, заешь луком... Нет, ничего не понимает!».

— Помирать скоро нам, отец. Слышь, чего говорю?

— А?

— Помирать-то по чину!

— Чево?

— Дурень...

Серегу выволокли в коридор и потащили к умывальнику.

— Вишь, пацан, как вышло, приказала мамка долго...

На следующее утро отец уехал, и почему-то сразу Женя вспомнил, как его зовут — Павлом, только теперь сказать об этом было некому.

Эпилог

С того дня теперь уже прошло много лет.

Но все равно, как в дымящемся пылью и вонючим дыханием поселковом синематографе, где в кожух радиатора заливают воду на предмет охлаждения, а на простыне...

...На простыне миновала осень, нарисованная со стуком дождя в разбухшие рамы окон веранды. Миновало и лето, запечатленное с заросшим высокой травой полотном узкой колеи до лесобиржи.

Запах сгоревшей пузырящейся пленки и закрытое на зиму окно кассы.

Каких-нибудь десять, пятнадцать лет, и все исчезло куда-то, как и не было ничего, существуя лишь в далекой, едва различимой памяти сновидений. Ведь многие перебрались тогда в Калугуодин, потому как глиняные разработки и кирпичный завод закрыли. Интернат перевели, кажется, в район Белевской колонии, а совершенно нищий приход угас, и до заброшенных лесопунктов было уже не добраться.

Это память сновидений — высохших цветов по подоконникам и заколоченных дверей. Откуда-то из глубины по оборванным проводам (телеграфным?) могут передаваться сообщения, гудки, треск в эфире, сигналы маневровых тепловозов, неразборчивые команды по громкоговорителю: «Вот, вот ты, оказывается, какой сентиментальный, вспоминающий свое детство, существовавшее только летом. Но это тебе ошибочно казалось, потому что оно сущест-

вовало и потом... после лета. А летом... разумеется, разумеется, в прохладной тишине старого дровяного сарая, в тенистых подвалах кустов с их голубоватым духом сумрачных зарослей, вариант — водорослей, где прячется банка с водой, забеленная молоком».

А нынче?

В лесопоселке осталось только несколько жилых домов около Сытного рынка и путейские мастерские, двухэтажные же бараки на Плеханова и в Витебском переулке, около карьера и в заречье, пустовали, некоторые из них уже горели.

Заречьем местные жители именовали плешивый пологий холм за оврагом. Вернее сказать, даже не заречье, а завражье, где вечер всегда наступал много раньше благодаря низко идущим тучам, скрывающим свет, и старым, раскоряченным ветлам, рвущим своими сухими ветвями эти низко идущие тучи, вскрывающие снег. Были еще и мешки с цементом, и горы песка, и горящая на фоне неба пакля...

Небо.

Удивительно, но в эти края почти никто не приезжал из прежних обитателей, в том смысле что — «А чео-о там приезжать, нам и своих помоек хватает», при том что многие из них родились тут, прожили всю жизнь, похоронили на этом смиренном кладбище через поле к лесу... на глине через сосны... на досках через ворота и низкий завалившийся забор... на этом погосте похоронили своих родственников где-то в районе шестого, седьмого участков.

С трудом и неохотно вспоминали они свою жизнь в лесопоселке, путали события во времени, годы рождения и смерти, имена соседей, номера почтовых ящиков.

— Это Калугадва? — спрашивают путешественники и новоселы.

Место придумок геликоптеров и ракетопланов — из пушки, и на луну собирался всё, собирался и никак не мог собраться, место воздушных парадов, место нахождения воздухоплавательной станции.

— Да, это Калугадва, а это старенький Циолковский.

Старик смотрел вниз на землю из-под густых, тяжелых, скалистых, каменных, снежных вершин, то есть бровей.

На стенах с отслоившимися обоями висят фотографические изображения: «Гуляющие на набережной реки Оки. Духовой оркестр пожарной команды города Калуги».

«Красные струганые наличники. С кремля к подолу по улицам неслись потоки воды после дождя. На бору торговали гильзами и творогом».

«На вражке лотошники собирались — верба, искусственные цветы, аптечные склянки, рваная бумага. У ворот жили воротники».

Что еще? «Записан в поминальнике за здравие и за упокой под именем епископа Евгения священномученика или преподобного Павла Прусиадского — 7 марта по старому стилю».

Пахнет прелыми листьями, тряпьем, сыростью. В заброшенном сарае на одичавшем огороде возможно было обнаружить какие-то старые вещи — кастрюли, велосипедные рамы, ржавые, страшные напильники, игрушки...

— Так это же Женьки Черножукова! С бабкой тут жил!

— Не пожил, не пожил...

— То есть как это — «не пожил»?

— Не-е, ну, в том смысле, что жил тут, конечно, с матерью, бабкой и дедом вот в этом бараке на втором этаже. Потом у него умерла мать, кажется, осенью умерла. Она до того все время болела, мучилась, мучилась... Хотя еще летом выходила на крыльцо, на солнце, и ветер слегка шевелил ее волосы. Ее звали Лидой. На похоронах собралось много народу — гости, соседи, родственники.

— Вроде у Женьки был еще отец? Почему ты о нем ничего не говоришь?

— Да, был... Павел из Калугиодин. Он не приехал на похороны, говорил, что опоздал, понимаешь, приехал только на следующий день или к вечеру, не помню точно, винился, просил отвести его на могилу Лиды. Он ведь тогда впервые увидел своего сына. Так они и жили вместе девять дней.

— А что Женя?

— Ничего... Ведь прожил всю жизнь без отца, и бабка Фамарь Никитична воспитала его в постоянном страхе. «Что такое постоянство?» — довольно ча-

сто вопрошают меня паломники в этой связи. «Да и хотя бы привычка к однообразию». Женя был частью этой медленной жизни, вернее, не жизни, а бытования, тягучего бытования, рассуждать о цвете которого я бы не взялся. Итак, вообрази себе однообразный вой или гул, внезапно потрясаемый трубным ударом вечевого колокола. Смерть матери, внезапный приезд отца, похороны, бесконечные бессонные ночи в пустой комнате на пустой кровати в плену пустых, уверяю тебя, совершенно пустых кошмаров. Например, ему могла являться мать и заученным жестом умершей нежности, гладить сына по лицу, по глазам. Женя узнавал этот жест — плакал, мучился, получая в ужасе удовольствие от прикосновения. Потом отец уехал. А они с Лешкой Золотаревым полезли на колокольню на Филиале. Забрались на самый верхний звон... На колокольне все перила проржавели и были кое-где прикручены проволокой, пол прогнил, а по углам висели грязные наледи бутылочным стеклом: тигли. Ночью шел снег, а днем светило солнце, и было как зимой с мутными наварившимися языками льда, пробравшимися сквозь железную ограду и окаменевшими тут. Вот он и сорвался.

— Сорвался или бросился?

— Не знаю... На похороны приехал Павел.

«Женечка, а Женечка, но все равно твоя голова обнажена! И лучше б с неба, с горы, с тучки златоверхой, с последнего звона монастырской колокольни на эту грешную голову лилась холодная вода! А потом выйди в январский ветер, кусая шершавый снег-наст — бьет промозглая дрожь, поклонись, как должно, и тут же у стены, обшитой тесом, сиди, замирай, подвизайся, одиночествуй, катаясь ладонью по мокрым дымящимся волосам, натертым лампадным маслом, так что задохнуться можно от умиления, жалости, смирения и собственной ничтожности...»

И Жени не стало. Еще совсем недавно он был тут: «А если я умру, как мама, то меня не будет. Все станут меня искать, звать, кричать: Женя, ты где? А меня уже давно не будет, и они стяжают неведение и слепоту».

Вспоминалось: можно было, вполне обезопасив себя, избегая вопросов и погони по пятам, забраться на самый верхний звон полуразрушенной колокольни. С высоты после узкой темной лестницы — крутого крюкастого лаза — низкого, невыносимо низкого, скребущегося в голову потолка Женя принимался за эту территорию мира, разлитого под солнцем. Конечно, ослепляло с непривычки, хотя этой минуты и следовало ожидать с неотвязностью, борясь с волнением, не подавая вида в том, но все же эта минута наступала внезапно — болели глаза, ломило голову.

Женя видел изумрудный лес до горизонта, поселок, мутную зелень карьера. В продолжение тишины улицы пустовали, расчерченные песчаной пылью, поднятой вероятным метанием камней или путешествием велосипеда. Деревянные мостовые возлежали в тени деревьев.

Единственное, где происходило хоть какое мало-мальски различимое с вышины движение, так это была станция УЖД — мотовоз дышал черной копотью солярки, трогался, уезжал, подобный спичечной коробке.

Женя вспоминал, как отец говорил ему, что летом они обязательно пойдут на рыбалку — смешно, а теперь лес, уводящий к горизонту, поселок, холмы, поросшие кустарником, мутная зелень карьера. Бараки...

И шагнул.

На следующий день Павел уехал, и больше его никто никогда не видел. В поселке через три года начались расселения, еще что-то там началось, вывозили лес, шпалы, рельсы, погрузчики и трелевочные машины разрывали кривые улицы. Кинотеатр горел. Паром потопили, но это уже неинтересно...

●

Татьяна РИЗДВЕНКО

Четыре стихотворения

* * *

Черна, жирна лежит природа,
вся разметавшись, как дитя.
Весна,— я думаю пространно,
в полметре над землей летя.

Влюбленных дев самозабвенных
и невлюбленных грустных дев
стоят отдельные фигуры,
собою небо подперев.

Апрель в тревожном платонизме
треножит страсти и слова.
Болтается на стебле шеи
бессмысленная голова.

Какое счастье — благодушно
взирать на токи этих сил,
попытки первого цветенья
и возмужание светил.

Так день силен и полновесен
и ночь настолько коротка,
что утро приникает к стеклам,
не сняв ночного колпака.

* * *

Все, что случилось в страшную жару,
понятно, почему оно случилось.
Все жидкое кипело, даже твердь
вибрировала в честь температуры,
немыслимой для средней полосы.
Быстрей рождались дети, и быстрей
другие, грустные сбывались сроки.
У тех случилась бурная любовь,
у этих — оголтелое зачатье.
Лишь были мы несмелы и тихи,
ходили погулять в Нескушном саде,
почти не ели, о совместном сне
мысль самая была невыносима.

И этим мы унизили жару,
в Москву вернули восемнадцать — двадцать.
Не поддались, по крепкому имели
внутри по ледяному стерженьку.

* * *

Венецийская тема снедает тебя и ведет,
и ведет, и уводит от красновоинственной глины.
Вот и млечные груди, и нос с куртуазной ноздрей,
и дымящийся свет, воспаленный азарт карнавала.

Впечатлительна дева, нет спору. Слезины смахну:
слезы слабости, зависти, слезы чужого веселья.
Пропустите меня, небольшую, на ваш карнавал —
белый верх, черный низ да лица искаженного маска.

О, какая свобода — придать грациозный извив
белой шее сюжета — беги, мол, направо, налево,
и какое бессилье и немощь — при этом стоять
и лакричные слюни пускать восхищенья и жажды.

* * *

Как беспощадно солнце марта
разоблачает пыль жилища,
и неухоженность природы,
и тела бледные столбы.

А ты себе купила шубу,
прости, буквально накануне,
беспомощная перед жизнью
и оглупленная весной.

Куда бежать, куда стремиться,
куда унять горячку духа,
каких писать стихов прекрасных,
чтоб посвящать их никому?..

В окно влетают звуки мира,
провинциальные, незлые;
сейчас набуешь полботинки,
сбежишь в Москву.

●

Олег ПАВЛОВ

Из нелитературной коллекции

Рабы в солдатских робах

В казарме солдатской есть такая рабская надежда, когда уж не на что становится надеяться, а собственных сил хватает, только чтоб не утерять рассудок от каждодневной рутины побоев, унижений, муштры, полуголода и недосыпа: все ждут конца. Но все хотят выжить. И даже если ты думаешь о смерти, то хочешь дожить до того дня, когда руки наложит на себя другой. Если грезишь как сумасшедший убить мучителей, то дожидаешься не иначе, когда у другого первей сдадут нервы. То же самое и с мыслью о побеге. На одного дезертира — десять солдатиков тех, кто выживал в казарме ради мысли сбежать. Должна быть надежда, такая вот каждодневная, как и боль твоя, и в этих мыслях ты ее обретаешь — выживаешь. Бегут же, кончают с собой и совершают преступления не те, кто слабей физически, а у кого не выдерживает душа. Кто надорвался, устал ждать конца, тот потерял надежду, а с ней — и свободу, жизнь. Такой солдатик выбрасывается из глухоты и черноты казарменной навроде горящего факела. Он сгорает уж с последней истошной верой — что простят за правду! Успеют спасти!

Дело рядового бригады по охране объектов центрального аппарата Минобороны Романа Минина стало известно за три дня беспрерывных репортажей и информационных сообщений всей России и всему миру. Три дня иезуитской лжи. Три дня стыда нашего национального и позора, который и пытались скрасить не иначе, как перед мировой общественностью, ведь вещали наши общенациональные телевизионные каналы, агентства и т. п.

Целые сутки вообще ничего не сообщалось. Если бы дезертира быстренько обезвредили или если б след его простыл из Москвы, то никто бы так и не узнал о его судьбе. Был человек — и не был. Но автомат выстрелил, и не где-нибудь, а в центре столицы, в близости невероятной от самого Кремля! Первая розовато-сладенькая ложь, озвученная в новостях Общественного российского телевидения, что рядовой Роман Минин бежал из части, «получив известие об измене любимой девушки», была ложью именно не для ушей российского слушателя, которому давно известно, отчего бегут голодные, забитые солдаты, да прихватывая-то еще натощак оружие. Романа Минина рассчитывали изловить до утренних выпусков новостей. Но когда и к началу новых суток дезертир оказался не пойман, то ложь изменила свой характер, оставаясь, однако, удобной для тех же «сказок новой России». Стали сообщать о психически ненормальном солдате — получалось, что новый русский солдат Роман Минин получил известие об измене любимой девушки и сошел от ревности с ума. Между тем в руках у бригадного генерала Зенькова были, не могли ж не быть, те письма, которые всего-то через день зачитывал он с такой помпой в телекамеры. Имеется в виду «полное мата» письмо отца к сыну, в котором любовью никакой и прочими телячьими нежностями не пахло, а шибало вонью — полной мата жизнью, которой, думается нам, только генералы и только в Москве подзабыли вкус, запах и цвет.

Нам лгали «со смыслом», с идеологией. Лгали те, кто заботится не о сермяжной чести мундира и служебном благополучии, но о чем-то большем — о благополучии жизни общественной. Потому независимые средства массовой информации узнавали и сообщали больше правды, а зависимые от своего благополучия — больше лжи. Но уже в обществе правда мешалась с ложью и нельзя было ничего в су-

масшествии этом изменить. Роману Минину выносили приговор за приговором, управляя и сознанием общественным как рабом. Чтобы изловить Романа Минина, нужен был террор, чтобы каждый московский обыватель трепетал в ужасе и жаждал его поимки, даже смерти,— и вот сообщалось, что есть жертвы. Дезертир ранил! Потом дезертир еще расстрелял, убил человека!

Никто так и не объяснил, откуда взялась эта дикая ложь. Милиция не справлялась своими силами. В больницы, школы и т. п. в округе Хамовников, Лужников, Пироговки ходили милицейские чины, оставляя ксерокопии фотографий дезертира и сообщая, что вполне-де вероятен захват заложников этим маньяком, которому нечего теперь терять. Однако ни в одной школе или больнице этого жизнеопасного района не был выставлен для охраны ни один вооруженный милиционер. Оставался ужас. Да и матери звонили в ту же милицию, спрашивая, пускать ли им на занятия школьные детей. Предупреждали автовладельцев, чтобы остерегались человека в камуфляже. Всех подозрительных в камуфляжах хватали три дня по всей Москве. Но это и было, как ни дико, ситуацией общественного благополучия, общественного порядка, общественного единодушия и примирения. Казалось, что избавляют чуть не всю Россию от бремени дезертиров, в том же масштабе, точно б начали травить не тараканишку, а все их семя, всех этих вредных насекомых, не мышку серую, а всех этих расплодившихся паразитов-грызунов.

Трагедия бесправия и затравленности человека — по сути, рабства, когда человек не принадлежит сам себе и жизнь его сжевывается без вести в той рабской армии как рабсила, оказалась с помощью лжи обращенной в криминальную хронику, телевизионный триллер и эдакое уже массовое и зрелище, и судилище: общество против беглого солдата Романа Минина!

Однако неслыханная огласка, когда достоянием общественности стала даже личная переписка, неизвестно каким образом добытая, ведь писал отец солдата, а получателем был не генерал же бригадный Зеньков, окончилась вовсе не вынесением приговора. Все обнаруженные за три дня факты повисли в воздухе от одного только явления живого Романа Минина, при первом же взгляде в сторону газетных репортеров и телевизионных камер тех живых затравленных солдатских глаз. Милиция обнаружила его спящим на чердаке заброшенного дома, где дезертира взяли в свой оборот и скрывали сознательно бомжи. Если верить газетным сообщениям, то один из бомжей и продал беглого солдата милиции за сорок тысяч рублей. Сами репортеры сознавались, что испытали при виде Романа Минина шок и потрясение, видя не маньяка и т. п., а затравленного, ничего не понимающего тщедушного паренька. Так обнаружилось, что Роман Минин — не помешанный и жаждущий крови преступный тип, а жертва преступления, рутинной казарменной преступности.

Теперь, когда со слов рядового Романа Минина известно, что он бежал из части от побоев и поборов, дело его обретает давно привычный поворот, но становится закрытым для слуха и глаз. Иначе сказать, мы больше ничего не узнаем об этом солдате. Факел живой вспыхнул и погас. Длительное тюремное заключение должно покарать Романа Минина если не за дезертирство, то за кражу оружия и за пенсионера Астахова, которого он легко ранил по случайности, но и по той же случайности в завязавшейся борьбе мог убить. Хоть Роман Минин и бежал, но уже за воротами части бежать было ему некуда. Он отсиживался остаток ночи в подъезде первого попавшегося дома. В одиннадцать часов утра на солдата с автоматом только и наткнулся пенсионер Астахов, он выносил мусорное ведро. Астахов спросил солдата, что он тут делает. Солдат испугался — наставил на пенсионера автомат, но тот не попятился, а устремился обезоруживать дезертира, оставляя Роману Минину, о котором ничего не знал, одно такое же инстинктивное движение — стрелять. И что тогда, стреляя вслепую в невинного Астахова, солдат и сам был жертвой, нацеленной на выстрел той силой, что мучила его в части и сорвала из караулки в бега,— этого в Уголовной кодекс не уложишь.

Солдат не готовил побега и не был выродком в примерной бригаде охраны, как это внушал в своих показаниях прессе бригадный генерал Зеньков. Среда этого армейского подразделения была преступной, и все факты, приведенные генералом Зеньковым на срочно собранном «брифинге» в стенах казармы и на пресс-конференции постыдной в Минобороне, сами себя разоблачают.

Факт, что рядовой Роман Минин по результатам тестирования попал в группу солдат, которым можно давать оружие в руки только в крайних случаях, действительно говорит о многом. Солдаты такой «группы» в караульных подразделениях становятся сразу же чем-то вроде служек: их службой становится тазик с тряпкой. Пять месяцев такой службы, когда Роману Минину то и дело «не доверяли» автомат, значили для него только унижение и прозябание, но нужны ведь в бригаде не

только примерные караульные, а и такая вот второсортица, рабсила. Факт, что Роман Минин пытался поднять свой авторитет в бригаде рассказами о «крутой» жизни на гражданке (надо понимать — бандитско-рэкетирской), как раз и доказывает преступность отношений в бригаде. Этими разговорами тщедушный Роман Минин не пугал сослуживцев, а только и пытался дорасти до их «крутого авторитета». Он пытался стать своим в рэкетирской среде бригады, ведь первое его показание после поимки — что вымогали деньги, что не мог рассчитаться с долгом, который накопился после того, как три раза «бесплатно» сходил в увольнительную, то есть не заплатил положенную в бригаде дань.

Вымогали от пятидесяти до ста пятидесяти тысяч. Кто не приносил, возвращался в казарму с прогулки по московским улицам с пустыми руками — тех били, заставляя попрошайничать или воровать. Докладывая прессе о борьбе с неуставными отношениями, но и желая подчеркнуть ничтожность «очага», бригадный генерал обнародовал цифры: по факту неуставных отношений возбуждено-де тридцать дел. Но в какую статистику превращается это число? Зеньков нам поведал о тех, кого покарали: тридцать дел — это тридцать «крутых» солдат, которые поймались, а сколько их не в карцерах сидят, а гуляют на свободе, кто-то ж вымогал деньги у Романа Минина в стенах казармы, неподвластный этой генеральской парадной отчетности? Ну а сколько мининых у них в жертвах? Ясно, что таких опущенных солдат и жертв куда больше, чем их мучителей. На тридцать «крутых» солдат в бригаде у генерала Зенькова должно быть и вдвое больше оскорбленных да униженных.

Роман Минин продержался в бригаде пять месяцев. На большее у него не хватило терпения и сил, да и скопились-то неоплатные долги, накрепко и безысходно попал в кабалу. Факт, что он выспрашивал у сослуживцев, какой срок могут дать за дезертирство, доказывает не подготовку его к побегу, а то безысходное одинокое состояние, в котором он оказался, если только сослуживцы его не подучили перед камерами наврать. Почему не было у Романа Минина другого выхода, выбора? И на этот вопрос дает нам яснейший ответ все тот же генерал бригадный Зеньков. Что ждало Романа Минина, обратись он к вышестоящему своему начальству? Что сделал бы генерал, узнай он о поборах и побоях, царящих в бригаде? А какие выводы сделаны были на пресс-конференции в Минобороне? Один-единственный, что рядовой Роман Минин — недоразвитый, то есть, если буквально понимать, дебил, который в армию попал служить по врачебной ошибке, недосмотру военкоматов. Круговую поруку, заговор преступный молчания также продемонстрировал нам наглядно сам генерал Зеньков, когда солдаты заученно твердили журналистам под его присмотром, как хорошо им и дружно живется в бригаде,— такие показания дадут они и в суде.

Роман Минин виноват, что не застрелился, заполучив в руки автомат. Но и другим, даже тем, кто мучил его, он не желал смерти все потому же, что и сам не умереть хотел, а жить. Он понадеялся сбежать, прихватывая автомат на продажу вместо того, чтоб устроить бойню кровавую в карауле, каким способом сводили счеты с жизнью до него уже многие затравленные, отчаявшиеся солдаты. В ночь его побега в карауле не было ни одного офицера. Начальник караула — не офицер, а сержант, которому на все наплевать. В ночь побега все спят, так что никем не остановленный, не замеченный, Роман Минин оставляет пост, нагружается автоматом с шестью полными подсумками, минует призраком контрольно-пропускной пункт... А кто ж нес службу, был ли хоть кто-то, кто не спал в карауле? Да, был — Роман Минин, отстоявший к исходу ночи уже три смены, не иначе-то «один за всех». Девять часов без сна, то есть целиком бессонная ночь. А наутро он должен был опять служить, не спать. Сутки подряд без сна — что это, если не пытка, о которой знали, в которой участвовали все в элитарной бригаде, включая и генерала Зенькова, кто преспокойно в ту ночь спал?

Дело Романа Минина — как огромной силы взрыв. Одно то, что оно стало известно за три дня во всей стране, рождает особую общественную и моральную ситуацию, и в той же солдатской армейской среде, чего многие теперь преступно не понимают, недооценивают. Оно станет опытом тех солдат, кто выживает сейчас в армейских частях с той же мыслью. От исхода его зависит в буквальном смысле и судьба наша как общества.

Годы семидесятые, в кромешной безвыходной глухоте которых и достигло насилие в армии такой ожесточенности, давно миновали и остались вовсе без осознания. Первый раз эта сила боли и гнева вырвалась наружу, в общество, в конце восьмидесятых годов, когда солдат внутренних войск, литовец по национальности, расстрелял по пути следования в заквагоне весь караул, а впоследствии был признан

невменяемым, то есть почти оправдан, что было непостижимо для того времени,— такое милосердие иезуитское власти.

Этот случай, только один из многих, стал своего рода детонатором: о нем написали, сняли, кажется, документальный фильм, а потом и художественный. Железный занавес армейский обрушился. Как некогда узнавали правду о сталинских репрессиях, с таким же потрясением советское общество открывало для себя правду о ГУЛАГе армейском. Поляковым зачитывались, как и Рыбаковым. Но ситуация в армии взорвана была в конце восьмидесятых не столько гласностью, сколько отменой брежневских военных кафедр и льгот от армии для студентов. В армию поголовно погнали детей совслужащих, интеллигенцию во втором поколении. Пареньки из простонародья, рабочие да колхозники, мучились-то безгласно, только и умели что мычать глухо от боли, привычные к мордобою и унижениям. Образованная городская молодежь стала в армейских условиях неслыханно страдать да вымирать, вопить и — что самое важное — сообщать обществу правду, а снаружи росло волнение и возмущение интеллигенции, чьи это были дети. Невменяемость стала на несколько лет своего рода разрешением дезертирского вопроса, а это и был главный вопрос для интеллигентских детей в армии — получили возможность негласную бежать. Планы по призыву тогда еще выполнялись, и дезертиров не судили, а списывали чаще всего с психическим диагнозом, ставя им шизофрению и т. п., как только доказывались факты, что солдат был жертвой неуставного насилия. После развала страны в новоявленной российской армии дезертирство стало уже массовым явлением. Служба в армии стала походить на детский сад — за солдатами приезжали родители и сами их забирали из частей. Дезертиров почти не судили. Стоило явиться с повинной — и большинству давали право служить в новых частях.

С сентября 1946-го по 31 декабря 1990 года в Вооруженных Силах СССР в мирное время погибли 310 тысяч человек — это кровавое пятно на армию российскую не легло. Между тем начался новый отсчет смертей, молох требовал новых жертв. Покаянные, растерянные дезертирские амнистии начала девяностых сменились потихоньку судами, стали закручивать гайки. Армия хронически не добирает солдат, от призыва уклоняются тысячами — и эти уклонения есть, по сути, новая форма дезертирства. От повесток бегают, но ссылки на закон об альтернативной службе уже не защищают — все больше случаев, когда забирают в армию насильно, боем. Однако недобор в армию связан не с уклонением от службы, а с невиданного масштаба коррупцией, когда откупаются в военкоматах от призыва. Это явление, покупка и продажа освобождающих от службы медицинских диагнозов, отсрочек, такую же приобрело массовость, что и воровство да продажа с армейских складов оружия. Служат теперь беднейшие, а состоятельные без труда откупаются. Образованному слою, студенчеству, дарованы привилегии в виде системы отсрочек, искупающие при новом экономическом и политическом порядке нищенские стипендии. В армии сложилась ситуация, по сути, схожая с семидесятыми годами. Эксперименты со сроками службы, социальная однородность, но и озлобленность на фоне тягчайшего морального разложения армейской среды как таковой и деградации корпуса офицерского, скудное, полуголодное существование — адская смесь.

С середины девяностых годов один за одним происходят армейские мини-чернобыли. Обществу становятся известными, но и забываются скоро вопиющие факты о трагедии уморенных голодом матросов на острове Русском. В марте 1995 года — трагедия на острове Танфильева, где два затравленных пограничника расстреляли на погранзаставе девять человек и подбили вертолет. За содеянное Дмитрия Белькова и Андрея Богдашина приговорили к высшей мере наказания. Этот расстрельный приговор захлопывал ад армейский безвыходно, наглухо. Трагедия на острове Танфильева была знаком, что в армии жертвенное дезертирство вот-вот сменится снова кромешными массовыми бойнями. И вот следующий взрыв: в июле того же года пограничник Вячеслав Бугаков на острове Попова, уже дважды сбегавший, но и заключавшийся обратно в часть, не находит для себя в очередной раз никакого другого исхода, как расстрелять весь личный состав заставы, где его мучили. Однако общество безмолвствовало!

Многое списала и заглушила война в Чечне. Говоря о потерях в армии, именно из-за чеченской войны мы привыкли слышать уже о тысячных потерях, теряя в цифрах даже ощущение, что они-то человеческие, а не падеж это скота. Обществу было внушено отношение к армии такое, точно б не в мирное, а в военное время. Армию окружили не занавесом железным, но туманом свинцовым из военной реформы. Что скрывается за тем кафкианским туманом, не проглядишь — тасуют, как колоду карт, рода войск, военные округа, оборонные доктрины и т. п. Из общества нас почти превратили в публику, равнодушную, аморфную, послушную в сво-

ей массе, и если общество требует правды и справедливости, то публика — хлеба всего-то да зрелищ.

Для рядового Романа Минина, такие вот времена, автомат был даже не оружием, а средством к существованию, и он надеялся продать его, только и зная, что стоит немалых денег. Он родился в городе Кирове, теперь Вятка, окончил с трудом восемь классов, а потом курсы трактористов и работал по специальности; несовершеннолетний, попадался в милицию; семья, старшее поколение — все безработные, имеет еще двенадцатилетнюю сестру. Таких городов, как Вятка,— вся Россия, а семей — миллионы. Но с такими, с чумазыми, больше знаться не хотят. В деле Романа Минина позвонче, чем дезертирство, прозвучала именно эта нотка, что в Москве цивилизованной было ему не место. А где ж ему место? Туда его, недоразвитого, усадить обратно за трактор или туда его, подонка, в тюрьму?

Роман Минин призвался на службу в российскую армию осенью прошлого года — в первый мирный призыв после Чечни. Он виноват, что не успел стать пушечным мясом на той войне. Виноват, что по этой статье расходов не списали. Тогда б и покоя общественного не нарушил и родине бы с пользой послужил.

А он хотел жить.

апрель 1997

Русская Атлантида

В теперешней Москве, то есть в новой эпохе, нет своей Хитровки и не может никаким чудом быть, возникнуть. Но сама та Хитровка, которую знаем мы из очерков Гиляровского, была чудом. Муравейник жизни, сооруженный не трудягами, а паразитами общества, его отбросами,— точно б вши нанесли соломинок, проделали ходы, быт наладили. Комнатухи, бабы, трактиры, околоточные, своя фирменная жрачка — потрошки! потрошки! Хитровка имела свое право, как Царское Село или Соловки. Не уродливый, что грыжа, городской притон, а своя окраина-земелюшка, вольница, с которой выдачи нет. Чудо то, что бродяги в кои-то веки стали почти народом, силой — гордыми духом хитровцами, которых страшились обыватели, а писатели спускались с уважением в запахшую преисподнюю их муравейника с жаждой понять, постичь. Ходили даже не сами по себе — не смели просто так взять да пойти, а был свой Вергилий. Иначе, без Гиляровского, обмирала душа. Ходил на Хитровку сам Толстой! Гений человеческий приходил к отбросам человечества. Был там, у них. Что он искал, какой смысл? Пытался их понять, их возлюбить?

Достоевский вынес с этого дна, что человек ко всему привыкает. Толстой до смерти твердил, что единственное благо — это любовь, то есть как ни мог, а заставил себя хоть умом, но возлюбить «бабу, что валяется в грязи». Для сознания и души есть два испытания. Одно было задано Достоевским в «Братьях Карамазовых» — слеза ребеночка, возможно ль счастье всего человечества построить на этой слезе, самой чудовищной и кромешной. А другое испытание было определено Толстым, и во всех его произведениях завязывается этот узел, потому что для него, человека происхождения куда как благородного, а стало быть, и для героя его, для толстовского героя, самый напряженный в смысле бытия был именно этот вопрос: могу ли возлюбить человека, если ж надо возлюбить его и таким, грязненьким?

Обращение к Достоевскому и Толстому — обычно начало назидательного интеллигентского разговора, где единственным доводом служит литература. А преисподняя, где затонул и таился, как в болото брошенный, ключик от счастья человеческого — без которого все было несчастием, мукой совести, ложью,— всегда была в России рядом, под боком. Всего и надо было проделать только этот прижизненный обрыдлый путь — доехать до Хитровского рынка. Или был другой такой же прижизненный путь в ад, опять же Достоевского,— по этапу на каторгу, в мертвый дом. Но эти два пути в преисподнюю отличались не по долготе и расстояниям, а по тяжести. На каторгу — с грехом, в кандалах. На Хитровку — с тростью и на извозчике.

Два ответа: нельзя построить на слезинке рая, и не будет рая, если не возлюбить грязной, пьяной бабы,— дьявольской какой-то хитростью оказались для России и русского народа двумя дорогами столбовыми в революции.

А может, и были они дьявольским воистину ухищрением, искушением. Вместо слезинки — океаны крови, вместо блага любви — отупляющее стадное чувство. Что было дном, то выползло наружу и стало сушей. Проклятые эти два вопроса — как те графитовые стержни после взрыва реактора на атомной станции. Они разле-

телись на тыщу осколков-вопросиков, и на них нам ответить трагически невозможно, потому что нельзя уж их собрать и подчинить своей воле. Это они подчинили теперь нашу волю, а наша жизнь — как зараженная зона, где возможно будет даже достичь изобилия и все станет до ужаса плодоносить, но все-то мы будем не жить, а бесконечно болеть, окруженные уродами и уродством.

Нравственная мутация, перерождение в уродливое человеческое существо — это то, что мучит теперь. Мы опять глядимся в дно, но то дно жизни, что и было-то ее глубиной, исчезло. Вошь разбежалась по Москве, как по столешнице. И это уж не вошь, а точнее — бомж. По улице бредет голодный прокопченный человек, полутруп, боязливо, по-собачьи щерясь на людей, что шарахаются только от его вони. Ему некуда идти. Незачем жить. В этом человеке уничтожено то важное для нас всех, хоть это и дико может звучать, что искупляло зло,— человеческая гордость.

Из всех, кто спускался в преисподнюю, только Горький вынес из нее этот ответ — лишенный напрочь религиозного пафоса, который и кажется чуть не самым фальшивым в русской действительности, почти погремушкой. Что человек — звучит гордо, это было обсмеяно так, будто по всей России полвека только и делали, что провозили вымазанный дегтем голый блудливый лозунг на ослице.

Гордость прочно увязана и в современном сознании с мещанским понятием достатка, но то и есть гордость мещанская, достатком извращенная. А против простой мысли, что гордым может и должен быть последний человек в обществе и что именно это важно,— как новый порог взгромоздился в сознании нашем и душе. Но на гордости русского человека и зиждилось все его же смирение. Не в покорности, как это понимают благостные попики, и не в рабстве, о чем твердят умствующие интеллигентики, а в гордости, в уважении себя и других. Они-то, Хитровка и хитровцы,— это и есть тот народ и страна, что в поисках в них смысла были уничтожены, которые потом только униженность свою избывали в жестокости, в произволе, в диктаторстве и в толпе.

Событие из современной жизни. Дело было прошедшей зимой в одной заурядной московской больнице. Привезли бомжиху, с узнаваемым возрастом, лет сорока. Была босая. Думаю, попасть в больницу надо было ей больше жизни. Таково было ее состояние — человека, который соскальзывает по смертному ледку. Вменялось ей врачами «скорой» обморожение конечностей, те сообщили еще, что бомжиха весь день ползала в скверике Киевского вокзала на карачках, не могла встать — люди это видели, подтверждали.

Врачи же в больнице, как только уехала «скорая», тут же бомжиху снарядили прочь. И так все обставили, что оформили ее как отказницу, что бывает, когда человек отказывается от госпитализации и решает болеть дома. И про нее говорить стали, что ли, играясь: «Выводите ее, она не будет ложиться, она хочет домой». Ее с ходу еще завезли на каталке в душевую, сразу на санобработку упрятали. Но когда решилось, что выставят прочь, то никто не захотел заглянуть в душевую, брезгуя даже ее и выставить.

Старшая медсестра только сказала, чтоб ей дали тряпок на обмотки для босых ног. Тряпок ей кинули, но и с охотой позабыли, что она есть. Расшевелились только тогда, когда обнаружилось, что бомжиха втихомолку, затягивая время, в душевой разделась, и усилилась даже в коридоре приемного вонь. Тут стали суетиться, как ее скорей спровадить, и с порога душевой, заглядывая, стали ее пугать, чтобы одевалась и уходила прочь. И как же было ей страшно — очутиться наконец в тепле, понадеяться на помывку, на жрачку, на покой, но с порога уходить неизвестно куда, ведь тут не Киевский даже, а все одно что смертная пропасть — такая от вокзальной спасительной их норы даль. Тут уж не выживешь и одной ночи. Морозец и так был, а еще объявили по радио, что ночью будет минус тридцать. И в бесчувственном, полуживом, голодном мозгу явилась ей мысль вымочить свое тряпье. Понадеялась, что в сыром на мороз-то не выгонят. И когда застали ее за этой постирушкой, то обозлились вконец. Распахнули все окна в душевой, уже как бы выставив ее на мороз, выкуривая из душевой холодом.

Она еще цеплялась за туалет, что хочет по нужде,— это их обреченная безысходная хитрость. Говорит: я же человек, куда же мне нужду справлять! И тут все кругом как озверели: человек?! Человек?! Тот беспощадный напор, ор почти нечеловеческий, и был ей приговором, только тогда она, кажется, и осознала, что места ей здесь нету и что наступил конец.

Все сырое тряпье, которое не имела сил даже толком выжать, долго и мучительно напяливала — одевание ей давалось совсем тяжко. На обмотки никаких сил ей уж не хватило — и по стеночке поползла. Но охранники ей запретили стенки лапать, и она выходила бочком, как по карнизу. Даже когда наружу выбралась, запре-

щали о стену больничную опираться, чтобы не замарала. Еще хотели проверить на ней перцовую ударную смесь из баллончика, хотели в нее напоследок прыснуть и поглядеть, как будет действовать, но раздумали в конце концов мараться и дали выползти на мороз, только пригрозив, чтобы отползла подальше от больницы.

Это зверство обычной жизни каждый по-своему прожили обычные люди, но прежде того обернулось все зверством именно по воле обычных людей — оглохших и слепых. Что я знаю и что могу сказать, не устраивая ни над кем показного суда совести,— это что никто друг друга не смог возлюбить. Еще скажу, много раз потом видя эту картину перед глазами, что никто не привык к этому плохому — всем было тошно, обрыдло. Привыкает человек только к хорошему. Даже рецидивист ворует и убивает не потому, что привык к плохому, а потому, что ему неведомо хорошее. А это хорошее есть только одно — уважение себя и других, простодушие гордости человека. Никто не мог себя уважать — и потому сделалось это зверство, где все были участниками и все-то были жертвами, хоть опять же это дико и несправедливо может звучать. Не были русскими. Не были даже в этой комнатушке больничной не то что из одного народа, но и рода человеческого. И так вот перестали уже быть и людьми. Уважать в себе и в другом возможно только человека, именно человека, то есть самое общее и одинаковое, что есть в каждом и без всяких различий,— человеческую жизнь.

Когда-то люди жили на Хитровке. Когда-то люди жили и в России. Были писатели и обыватели. Но теперь все не то и не так. Путь к счастью, путь из преисподней: излечить в человеке униженность, всеми способами, какие есть у общества, бороться со всеми способами унижения человека. Уважение — это же и есть доподлинное сострадание. Для русских оказалось это слишком легковесным, незначащим — и теперь мы сполна ощутим, сколько весят и значат взамен идеальных вопросов о греховности и любви эти осмеянные, осквернённые слова о человеке, добытые со дна жизни — но там, где не кончается и подыхает, а начинается, рождается из пьяни и рвани, греха и ненависти *человек*.

июль 1997

●

Исаак Башевис ЗИНГЕР

Два рассказа

Американский писатель Исаак Башевис Зингер (род. в 1904 г.), лауреат Нобелевской премии по литературе 1978 г., вырос в бедном районе Варшавы, в 1935 г. переехал в Соединенные Штаты и в 1943 г. получил американское гражданство. Творчество Зингера почти неизвестно в России. На русском языке вышла всего одна книга его прозы, что, естественно, никак не отражает значения и влияния творчества писателя в мировом литературном процессе.

Отдавая должное знаменитым романам, мы уверены, что новеллы Исаака Башевиса Зингера не менее (а может быть, и более) интересны. Небольшой объем отсекает все второстепенное, и вниманию читателей предстают любимые автором персонажи — старики, чудаки, неудачники, наделенные тем не менее невероятной силой духа и самоиронией, непобедимой никакими бедами и несчастьями.

Рассказы, которые «Октябрь» предлагает вниманию читателей, создавались в разные периоды жизни писателя: «Кунигунда» принадлежит к раннему, польскому, «Друг Кафки» дал название известному сборнику новелл 1970 г. И. Б. Зингер пишет на идиш, но часть своих произведений сам перевел на английский язык. Перевод публикуемых рассказов сделан как раз с таких автопереведенных текстов.

КУНИГУНДА

К вечеру над болотом за деревней поднялся ветер. Небо затянуло тучами, и на липе оголилась последняя ветка. Из своей халупы без окон и с лохматой соломенной крышей, придававшей ей сходство с поганкой, вышла старая Кунигунда. Одна дыра в стене служила ей вместо трубы, другая, словно прожженная молнией, вместо двери. На жирном лице старухи выпирали нос и широкий костистый подбородок, глаза же были как у бульдога. Из бородавок на щеках буйно росли седые волосы, зато на голове волос почти не осталось, да и те слиплись в подобие рога. С пальцев на ногах давно слезли ногти, но выпирали во все стороны наросты и мозоли. Опираясь на палку, Кунигунда волочила за собой мотыгу, нюхала воздух и мрачнела.

— С болота тянет,— пробурчала она.— Все зло оттуда. И воздух гнилой. Не жди теперь добра от земли. В этом году урожая не будет. Ветер все унесет. С мякины у крестьян ребятни поубавится. За многими придет смерть.

Вокруг халупы Кунигунды, приютившейся поодаль на опушке, чего только не было! Здесь росла ежевика с волосатыми листьями, покрытыми струпьями, с ядовитыми ягодами и колючками, норовившими ухватить за одежду непрошеного гостя. Матери запрещали своим детям ходить в кишевшие змеями заросли. Крестьяне говорили, что даже козы обходят их стороной. Жаворонки предпочитали вить гнезда на крышах других домов, и над халупой Кунигунды никогда не было слышно птичьего пения.

Кунигунда ждала бури, и из ее жабьего рта то и дело вылетало:

— Беда! Беда! С болота идут все болезни. Кого-то поразит нынче? Гнилой воздух несет смерть.

Старуха вышла из дома с мотыгой не потому, что собиралась копать картошку. Ей понадобились дикие травы и корешки для колдовства. В лачуге Кунигунды была настоящая аптека: чертов навоз и змеиный яд, резаные черви и веревка, на которой повесили злодея, ужиное мясо и волосы эльфов, пиявки и

амулеты, воск и ладан. Все это было нужно Кунигунде не только для тех, кто искал у нее помощи, но и для своей собственной безопасности. Злые силы мучили ее с тех самых пор, когда она только сделала первый шаг. Уж как ее била матушка, гореть ей в аду адским пламенем! Да и батюшка, напившись пьяным, не упускал случая стукнуть ее побольнее. Не давал ей покоя и братец Йозик, пугавший ее страшными сказками. Сестричка Текла тоже шептала ей на ухо невесть что. Зачем им это было надо?

Когда другие детишки еще возились на травке, она уже пасла гусей, а ведь ей не было еще и шести годков. Один раз попала она под град, да такой, что каждая градина была с куриное яйцо. Ей чуть голову не размозжило, а гусака убило, за что Кунигунду же и выпороли.

Звери ей тоже житья не давали. Все на нее нападали: волки, лисы, куницы, скунсы, дикие собаки, а еще горбатая нелюдь с большими ушами, закрученными хвостами и кривыми зубами. Они прятались за деревьями или кустами и оттуда рычали на нее, а иногда бежали за ней по пятам, пугая ее хуже домовых, о которых рассказывала Текла.

Дым из трубы, сперва поднявшись в небо, потом спускался обратно за Кунигундой, чтобы уволочь ее вверх. На лужайке, где она пасла гусей, как-то появилась крошечная фея в черном платке, с мешком на спине и корзиной в руке. Кунигунда было схватилась за камень, но фея с такой силой стукнула ее в грудь, что она потеряла сознание. По ночам к ней являлись бесенята, смеялись над ней, мочили ей простыню, обзывали по-всякому, кусали, щипали, таскали за волосы, а когда они исчезали, вся постель была в мышином помете.

Если бы Кунигунда не стала колдуньей, она бы погибла, но она быстро поняла: что другим во вред, ей на пользу. Когда люди и звери мучились, на нее нисходил покой. Тогда она стала намеренно насылать на деревню болезни и несчастья. Другие девочки боялись мертвецов, а ей нравилось смотреть, какие они лежали белые или желтые со свечками в головах. Вопли плакальщиц умиротворяли ее. Кунигунде нравилось смотреть, как режут свиней, кромсают их ножами и бросают еще живыми в кипящую воду. Она и сама любила мучить бессмысленных тварей. Душила птиц и рвала червей на куски, а потом смотрела, как они извиваются. Жаб она протыкала острой веточкой, чтобы понаблюдать за их судорогами. Вскоре она сообразила, что проклятия — тоже не пустой звук. И наслала смерть на поносившую ее женщину. Соседский мальчишка запустил ей в глаз шишкой, и она пожелала ему ослепнуть, а через пару недель щепка попала ему в глаз, когда он рубил дерево в лесу. Заклинания и ворожба стали ее привычными занятиями.

Вблизи болот в другой полуразвалившейся халупе жила парализованная старуха, беспрерывно болтавшая о колдунах, черных зеркалах, одноглазых великанах и карликах, которые живут среди поганых грибов, пляшут при луне и зазывают девиц в пещеры. Она рассказала Кунигунде, как изгонять демонов, защищать себя от насильников-мужчин, ревнивых женщин и фальшивых друзей, научила ее понимать сны и вызывать духов мертвых.

Кунигунда была еще девочкой, когда умерли ее родители. Брат взял жену из другой деревни. Сестра Текла вышла замуж за вдовца и умерла в родах. В ее возрасте девушки становились невестами, но она видела в мужчинах только виновников выкидышей, родовых болей и смерти от потери крови. Она получила в наследство домишко и три четверти акра земли, но не захотела их обрабатывать. Если все обманщики — мельник, торговец, священник, деревенские старики,— то к чему работать?

Ей было немного нужно — редиска, картошка, капустная кочерыжка. И, как ни издевались над ней все, она все-таки не гнушалась мясом кошки или собаки. Впрочем, утолить голод можно было и найденной в поле мертвой мышью. Но, даже голодая по многу дней, она все равно не умирала.

Не только в обычные дни, но также на Пасху и Рождество Кунигунда держалась подальше от церкви, то ли чтобы лишний раз не слышать ругань женщин и насмешки мужчин, то ли чтобы не просить ни у кого башмаки, платье и кошелек с милостыней.

Не желая сносить обиды, Кунигунда порой не выходила из своей лачуги по многу дней, даже по нужде. Ее ни разу не пригласили праздновать конец стра-

ды или на заготовку солений на зиму, ни разу не позвали на свадьбу, конфирмацию или похороны. Никто не желал иметь с ней никакого дела. Вся деревня дружно ополчилась на сироту. Просиживая вечера в темноте, она шептала проклятья. Слыша снаружи смех, начинала плеваться. Чужая радость причиняла ей боль. Злясь на мычащих коров, возвращающихся с пастбища, она придумала заклятие, из-за которого они переставали доиться. Давно уже Кунигунда расплатилась с обидчиками. Все ее враги умерли. Теперь она знала, как сглазить, как наслать порчу, как потравить зерно, напустив на него крыс, как затворить лоно женщины во время родов, как слепить из глины фигурку ненавистного ей человека и проткнуть ее булавками, как испортить наростами клювики у цыплят. Давно уже она перестала просить защиты у Бога. Ему было не до молитв несчастной сироты. Пока на земле правили сильные, Он не выглядывал с небес. А вот дьявол — на что уж тоже был капризен, но с ним все-таки удавалось сторговаться.

Из сверстников Кунигунды уже почти никого не осталось в живых. Она постарела, и над ней давно уже не смеялись, потому что боялись ее и называли ведьмой. В деревне поговаривали, что каждую субботу она отправляется, оседлав метлу, на Черную Мессу, где встречается с другими ведьмами. Несчастные женщины со всей деревни нет-нет да стучались в ее дверь. А у кого еще было им искать помощи, если рос живот, если рождались уроды, если девушка икала, если муж бросал жену? И что толку в том, что они несли ей хлеб, крупу, масло или деньги? Она привыкла есть так мало, что желудок у нее ссохся. К тому же у нее давно не осталось зубов, а из-за разбухших вен она едва передвигалась. Почти совсем оглохнув от многолетнего молчания, она, казалось, вовсе позабыла человеческую речь. Все ее прежние враги уже лежали в могилах, новых вроде не было, а она никак не могла остановиться и все проклинала и проклинала: *горе вам и смерть... огонь и болезни... типун на язык... волдырь в глотку...*

В середине лета редко бывают бури, но Кунигунда еще зимой предвидела беду. Она нюхом чуяла смерть, несчастья ведь сами торопятся сообщить о себе.

Ветер был пока слабый, однако Кунигунда знала, откуда он идет. Она вдыхала огонь и тлен, и только она одна знала, чем это грозит, поэтому кривила свой беззубый рот и приговаривала:

— Чума... мор... смерть.

Несмотря на усиливавшийся ветер, Кунигунда копала, не останавливаясь. Каждый корешок, что рос возле ее лачуги, имел свою силу. Иногда, правда, она ходила собирать травы на болото, которому не было ни конца ни края. Цветы и листья плавали там в илистой воде, над которой вилась мошкара. Летали неизвестные птицы и громадные мухи с золотисто-зеленым брюшком. Хотя Кунигунда всех своих врагов спровадила на тот свет, она не могла совсем забыть о них, потому что их души кружились над болотом, плетя сети возмездия. Иногда стены и крыша ее халупы ходили ходуном от их криков, и потом долго еще качалась свисавшая тут и там солома. Кунигунде постоянно приходилось помнить о злых помыслах мертвых. Даже удушенная кошка могла натворить бед. Такое уже бывало, что мертвые кошки приходили по ночам царапать ее. Да и слышала Кунигунда, как скребется одна, поселившаяся в тряпках под топчаном. Иногда нечистая сила хозяйку жалела и даже приносила мертвого кролика или больную птичку, чтобы Кунигунда могла сварить их и поесть, но временами на нее нападала злость, и дохлая кошка утаскивала вещи, путала травы, прятала снадобья и портила еду. Один раз Кунигунда поставила в угол горшок с похлебкой, который ей принесла жившая в деревне молодая женщина, а на другой день обнаружила на нем вонючую пленку. В крупе то и дело попадались невесть откуда взявшиеся камешки. А когда Кунигунда лезла под топчан, чтобы обругать нечистую силу, та шипела ей:

— Старая ведьма!

Пока Кунигунда копала, ветер окреп и уже вовсю обдувал ее. Гораздо позднее, уже возвратившись в свою халупу, Кунигунда поглядела в щель на поле, где уже не было ни одного не полегшего колоса. Стога разметало. В воздухе летали камни. Крестьянам, пытавшимся защитить стены и крыши своих домов, уберечь от гибели лошадей и коров, приходилось сражаться

сразу с дождем и ветром. Словно водопад обрушился на деревню. Молния сверкала, как языки адского пламени. Гром гремел так, что мозги в голове Кунигунды подпрыгивали, будто ореховые ядрышки.

Закрыв дверь, Кунигунда уселась на табуретку и, боясь пошевелиться, только бормотала непотребное. Из всех окрестных лачуг ее была самая ненадежная. Она едва не валилась, когда свинья принималась чесаться боком об ее угол. Не забывая поминать Сатану и Люцифера, Бабу Ягу, кадика да пана Твардовского, старуха по всем углам распихала воск и козлиные орешки, а чтобы понадежнее защититься, достала из дубового сундука коленную косточку девственницы, кроличью лапку, рог черного быка, волчьи зубы, тряпку, смоченную в менструальной крови, и (надежнее не бывает) веревку, на которой был повешен убийца. При этом она не переставала бормотать:

Как лев, силен,
Как змея, зол;
Худак и Гудак
Идут с дождем.
Кровь красна,
Ночь темна,
Господин Сатана,
Защити меня.

Как ни шаталась, ни кренилась лачуга, не мог ее взять ветер. Ни одна соломинка не упала с крыши. И, когда молния освещала все кругом, Кунигунда ясно видела закопченные стены, земляной пол, горшок на стуле и прялку. Потом опять становилось темно, хлестал дождь и громыхал гром. Стараясь успокоить себя, Кунигунда принималась думать о смерти. Рано или поздно все должны сгнить в могиле. И все-таки едва дом накренялся, Кунигунду охватывала дрожь.

Устав сидеть на табуретке, она перешла на топчан и зарылась головой в соломенную подушку. Эта буря не была для нее неожиданной. Она собиралась уже несколько месяцев. Крестьяне в деревне погрязли в грехах. До Кунигунды доходили слухи о домовых, оборотнях и прочей нечисти. О незаконных детях, прижитых девицами с их собственными отцами. Вдовы блудили с сыновьями, а пастухи — с коровами, кобылами и свиньями. На болоте по ночам горели костры. В земле, когда крестьяне пахали или рыли погреба для картошки, находили человеческие кости. И во всем винили Кунигунду. Правда, до сих пор Могущественные Силы помогали ей, но почему бы им не перекинуться на сторону ее врагов? Она закрыла глаза. Прежде ей удавалось справиться с любым противником. Совершалось чудо, и она побеждала. Но предуборочная буря напугала старуху. Может быть, она забыла защитить какой-нибудь уголок в халупе? Враждебные демоны ждут, побрехивая по-собачьему и когтя землю в подполье. Задремав, Кунигунда увидела во сне огромного, как бочка, кота с черной шерстью, зелеными глазами и огненными усами. Высунув язык, он мурлыкал, словно звенел колокольчик.

Кунигунда вскочила. Кто-то ломился в загороженную дверь, и она в страхе спросила:

— Да кто там?

Ответа не было.

Кунигунда решила, что к ней пожаловал Топиэль. С этим демоном ей до сих пор не удавалось договориться. К тому же она никак не могла вспомнить заклинание, как прогнать его. Поэтому сказала лишь:

— Уходи в нехоженую чащу, где не было еще следа человека или зверя. Именами Амадаи, Сагратаны, Велиала, Варнавы заклинаю тебя...

Снаружи не доносилось ни звука.

В дыму и огне,
В проточной воде
Гори, иль тони,
Или прочь беги...

Дверь открылась. На пороге возник будто внесенный ветром человек.

— Мамочка! — крикнула Кунигунда.

— Ты — ведьма Кунигунда? — без околичностей спросил мужской голос.

Кунигунда похолодела от страха.

— А ты кто? Сжалься.

— Я — Стах, жених Янки.

Принял мужское обличье!

— Чего ты хочешь, Стах? — прошептала Кунигунда.

— Мне все известно, ведьма. Ты дала ей яд, чтобы она убила меня. Она сама сказала. Теперь...

Кунигунда хотела было закричать, но знала, что толку от этого не будет. Даже не будь бури, ее все равно никто бы не услышал. И она заканючила:

— Не было яду... Не было яду... Если ты в самом деле Стах, то знай, что никому я не делала зла. Янка плакала, что умирает от любви к тебе, а ты, мой герой, даже не глядишь в ее сторону. Ну, дала я ей зелье, чтобы забыла она тебя. Она Богом поклялась никому не говорить.

— Зелье, говоришь? Змеиный яд.

— Не яд, не яд, господин мой. Бери ее, ежели хочешь. Я дам тебе кое-что. Да еще приду на свадьбу и благословлю вас, хоть она предала меня.

— Кому нужно твое благословение, проклятая ведьма? Кровопийца!

— Помогите! Пожалей меня!

— Нет.

Круша все на своем пути, он шагнул к лавке, схватил старуху и крепко ее побил. Кунигунда почти не стонала, даже когда он бросил ее на пол и наступил на нее. Она слышала, словно петух захлопал крыльями, и вскоре оказалась там, где были одни камни, пропасти и голые деревья и не было даже неба. Ей открылось невероятное зрелище геенны огненной. Похожие на летучих мышей черные люди карабкались вверх по лестницам, раскачивались на веревках, кувыркались в воздухе. Другие, с камнями на шеях, падали в чаны со смолой. Женщины висели, вздернутые за волосы, за груди, за ноги. Шла свадьба, и гости пили, пригоршнями зачерпывая водку из корыта.

Невесть откуда появились враги Кунигунды, целая толпа с топорами, вилами и острогами. Были в ней и рогатые дьяволята. Все объединились против нее: Вельзевул, Баба Яга, Бабук, Кулас. С факелами, громко гогоча, они бежали к ней, радуясь скорой расправе.

— Пресвятая Богородица, заступись! — в последний раз крикнула Кунигунда.

На другой день крестьяне отправились на поиски ведьмы, но нашли лишь разрушенную лачугу, а под обломками кучку костей, обтянутых сухой кожей, и череп без мозга. Тело перевезли на лодке в церковь. Много убытков претерпела деревня из-за бури, но умерла одна только Кунигунда.

Янка проводила ее в последний путь. Возле могилы она встала на колени и сказала:

— Бабушка, счастье пришло ко мне. Сегодня Стах просил моей руки. Он обвенчается со мной в церкви. Твое снадобье очистило его сердце. На следующей неделе мы идем к священнику. Матушка уже печет пироги.

Ветер утих, но тяжелые тучи еще закрывали солнце, и день был сумеречный. Стаи ворон слетелись в деревню с болота. В воздухе стоял запах дыма. Половина деревни была разрушена, другая утопала в воде. В грязной воде отражались дома без крыш, дырявые стены и покалеченные деревья. Задрав юбки выше колен, три крестьянки весь день с утра до вечера копошились в залитой водой лачуге Кунигунды в поисках веревки повешенного.

ДРУГ КАФКИ

Впервые я услышал о Франце Кафке за много лет до того, как стал его читать. Мне рассказал о нем его друг и бывший актер еврейского театра Жак Кохн. Я пишу «бывший», потому что к тому времени, как мы познакомились, он оставил сцену. В начале тридцатых годов еврейский театр в Варшаве уже начал терять своих зрителей. Жак Кохн был больным и сломленным жизнью че-

ловеком, хотя все еще одевался, как денди, правда, в потрепанные костюмы и рубашки. В левом глазу он носил монокль. Его жесткие старомодные воротнички, известные как «смерть отцам», лакированные туфли и котелок дали повод остроумцам из Варшавского клуба еврейских писателей, в котором мы оба бывали, прозвать его «лордом». Как ему ни было трудно, он усилием воли заставлял себя держаться прямо и аккуратно зачесывал на голом черепе то, что осталось от его когда-то пышных светлых волос. По традиции, принятой в старом театре, он время от времени переходил на онемеченный идиш, особенно когда рассказывал о своей дружбе с Кафкой. В последние годы он принялся было писать для газет, однако все редакторы как один отклоняли его рукописи. Жил он в мансарде где-то на Лезно-стрит и не вылезал из болезней. Члены клуба шутили на его счет: «Весь день он дышит из кислородной подушки, а по вечерам превращается в Дон Жуана».

Каждый вечер он являлся в клуб. Тихо открывалась дверь, и на пороге возникал Жак Кохн с видом важной европейской знаменитости, решившей нанести визит в гетто. Оглядевшись, он морщился, словно ему был не по вкусу запах селедки, чеснока и дешевого курева. Недовольно посматривая на столы с испачканными газетами, поломанными шахматными фигурками и грязными пепельницами, за которыми сидели члены клуба, готовые бесконечно и громко обсуждать литературные проблемы, он качал головой, будто хотел сказать: «Чего ждать от этих шлемилей?» Когда я замечал его входящим в дверь, я тотчас совал руку в карман за злотым, потому что он неизменно просил у меня в долг.

Однажды вечером Жак, казалось, пребывал в лучшем, чем обычно, настроении. Он улыбнулся, демонстрируя фарфоровые зубы, которые плохо сидели у него во рту и постоянно грозили выскочить, когда он с кем-нибудь беседовал, и двинулся ко мне так, словно был на сцене. Протянув мне худую руку с длинными пальцами, он спросил:

— Как сегодня поживает восходящая звезда?

— Уже выпили?

— Я серьезно. Совершенно серьезно. Пусть у меня самого нет таланта, но чужой талант я чую за версту. Когда мы в 1911 году играли в Праге, никто и слыхом не слыхивал о Кафке. А я, стоило ему только прийти к нам за кулисы, сразу понял, что нахожусь в присутствии гения. Я чую гения, как кошка чует мышь. С тех пор началась наша великая дружба.

Я уже много раз слышал это в разных вариантах, но знал, что мне придется выслушать все снова от начала до конца. Он уселся за мой столик, и официантка Маня принесла нам чай в стаканах и печенье. Жак Кохн поднял брови, открывая белки в мелких красных прожилках. Он как бы говорил: «Такое пойло только дикари называют чаем». Тем не менее он положил в стакан пять ложек сахара и размешал его, после чего отложил ложку в сторону. Двумя пальцами, большим и указательным, на котором он отрастил неимоверно длинный ноготь, он взял печенье и, поднеся его ко рту, пробормотал нечто, означавшее «прошлым не наполнишь желудок».

Все это была игра. Он родился в семье хасидов в маленьком польском городке, и звали его не Жак, а Янкель. Однако он действительно много лет прожил в Праге, Вене, Берлине, Париже. Не всегда он служил актером еврейского театра, выступая на сценах Франции и Германии, но со многими знаменитостями действительно состоял в дружеских отношениях. Шагалу он помог найти студию в Бельвиле. Часто ходил в гости к Исраэлю Зангвилу. Появлялся в постановках Рейнхардта. И ел за одним столом с Пискатором. Он показывал мне письма, которые ему писал не только Кафка, но и Якоб Вассерман, Стефан Цвейг, Ромен Роллан, Илья Эренбург и Мартин Бубер. Все они называли его просто по имени. Когда мы познакомились поближе, он позволил мне взглянуть на фотографии и письма знаменитых актрис, которые были его любовницами.

Для меня одолжить Жаку Кохну злотый означало войти в мир Западной Европы. Даже то, как он держал свою тросточку с серебряным набалдашником, казалось мне необыкновенным. Он и сигареты-то курил не по-варшавски. В те редкие минуты, когда он ругал меня, он умудрялся не задеть мою гордость,

вовремя произнеся немудреный комплимент. Но больше всего мне нравилось его обхождение с дамами. Я очень робел в присутствии девушек, краснел и смущался, зато Жак Кохн был самоуверен, как граф. Он всегда находил, что сказать даже самой некрасивой женщине. Льстя им, он принимал добродушно-иронический тон пресыщенного гедониста, испробовавшего все на свете.

Со мной он был откровенен.

— Мой юный друг, я, в сущности, страдаю импотенцией. Она всегда начинается, стоит только пожелать чего-то этакого. Голодному ведь не нужны ни марципаны, ни икра. Я уже достиг той стадии, когда ни одна женщина не может быть для меня по-настоящему прекрасна. Мне лезут в глаза все недостатки. Это импотенция. Платья и корсеты ничего не скрывают. Косметика и духи больше не вводят в заблуждение. У меня не осталось ни одного собственного зуба, но и у женщины, едва она открывает рот, мне ничего не стоит подсчитать потери. Кстати, та же проблема была у Кафки с литературой. Он видел все недостатки — и свои, и чужие. В основном книги пишут плебеи типа Золя и Д'Аннунцио. В театре я тоже все видел и понимал, как Кафка в литературе, и это нас сблизило. Кстати, довольно смешно, но, когда доходило до театра, Кафка будто слепнул. Он до небес возносил дешевые еврейские пьески. И даже без памяти влюбился в плохонькую актрису мадам Тшиссик. Как только подумаю, что Кафка любил ее и мечтал о ней, мне становится стыдно за мужской пол со всеми его иллюзиями. Что ж, бессмертие нельзя заказать, как нельзя от него отказаться. Все, кто вступает в отношения с великим человеком, отправляются вместе с ним в бессмертие, часто не желая этого.

По-моему, это вы как-то спросили, откуда я беру силы длить мою жизнь? Или мне померещилось? Откуда я беру силы сносить нищету, болезни и, что хуже всего, безнадежность? Это умный вопрос, мой юный друг, и я тоже задавал его, когда в первый раз читал Книгу Иова. Зачем Иов жил и мучился? Неужели чтобы плодить дочерей и покупать ослов и верблюдов? Нет. Вот вам мой ответ. Ему нравилась игра. Мы все играем с судьбой в шахматы. Противник делает ход. Мы делаем ход. Он пытается обыграть нас в три хода. Мы изо всех сил стараемся ему помешать. Мы знаем, что победа останется за ним, но почему бы не побороться? У меня упрямый соперник. Он всеми способами старается положить Жака Кохна на лопатки. Сейчас зима. Холодно даже когда печка в порядке, а моя печка уже давно не в порядке, и домовладелец отказывается ее чинить. К тому же у меня нет денег на уголь, поэтому в комнате холодно, как на улице. Если вам не приходилось жить в мансарде, тогда вы не знаете, что такое ветер. Рамы громыхают даже летом. А иногда еще какой-нибудь кот садится на крыше возле моего окна и начинает орать, как рожающая женщина. Я мерзну под своими одеялами, а мой ангел воет вместе с котом, который, вполне возможно, всего-навсего голоден. Мне бы надо его накормить, чтобы он замолчал, или прогнать его, а я, боясь закоченеть, еще плотнее закутываюсь в свои тряпки и даже заворачиваюсь в старые газеты, которые распахиваются от малейшего движения.

И все же, мой дорогой друг, если играть в шахматы, то играть с достойным противником. Я своего обожаю. Меня приводит в восторг его изобретательность. Сидит он себе в своем кабинете где-нибудь на третьем или седьмом небе, в том департаменте, который руководит нашей маленькой планетой, и ни о чем больше не думает, как поймать в капкан Жака Кохна. Все его указания сводятся к тому, чтобы «разбить бочонок, но не разлить вино». Да-да. Просто чудо, как ему удается сохранять мне жизнь. Поверьте, мне стыдно признаться, сколько таблеток я съедаю за день. Хорошо еще, что у меня есть приятель-аптекарь, а то чем бы я платил за них? Перед сном я глотаю их одну за другой, ничем не запивая, потому что иначе мне захочется помочиться, ведь у меня простатит и мне придется вставать несколько раз ночью. В темноте категории Канта не срабатывают. Время уже не время, и пространство не пространство. Вот вы сжимаете что-то в руке, а в ней уже давно ничего нет. Совсем непростое дело — зажечь мою керосиновую лампу. Спички вечно куда-то деваются. В мансарде у меня кишмя кишат демоны. Иногда я с ними разговариваю: «Эй, Уксус, сын Вина, перестань издеваться!»

Недавно я посреди ночи услыхал стук в мою дверь и потом женский то ли плач, то ли смех. «Кто бы это мог быть? — спросил я себя.— Лилит? Намах? Маклаф, дочь Кетев М'рири?»

И я громко крикнул:

— Мадам, вы ошиблись дверью!

А она продолжала стучать. Потом раздался стон и стук, словно кто-то упал на пол. Сразу открыть дверь я не решился. Сначала я принялся искать спички и в конце концов обнаружил их у себя в кулаке. Что ж, я вылез из постели, зажег лампу, надел шлепанцы и халат. Случайно поймав свое отражение в зеркале, я ужаснулся. Зеленый. Небритый. Я открыл дверь: на пороге стояла молодая женщина с босыми ногами и в собольем манто поверх ночной рубашки. Щеки у нее были белые как мел. Длинные светлые волосы в беспорядке рассыпались по плечам.

— Что случилось, мадам?

— Он хочет меня убить. Пожалуйста, впустите меня. Позвольте мне посидеть у вас до утра.

Я собрался было спросить, кто хочет ее убить, но увидел, что она почти совсем закоченела и довольно сильно пьяна, поэтому впустил ее, заодно заметив у нее на руке браслет с крупными бриллиантами.

— У меня холодно,— предупредил я ее.

— Все лучше, чем умереть на улице.

Вот так мы оказались вдвоем в моей комнате. И что мне было с ней делать? Кровать у меня одна. Я не пью. Мне нельзя. Но я вспомнил о бутылке коньяка, которую подарил мне приятель, и о залежалом печенье. Коньяк придал ей сил.

— Мадам, вы живете в этом доме? — спросил я.

— Нет,— ответила она.— На Уяздовском бульваре.

Я сразу понял, что она аристократка. Слово за слово, и я уже знал, что она графиня и вдова и что ее любовник живет в моем доме, необузданный человек, который вместо котенка завел себе маленького льва. Он тоже аристократ, только отвергнутый своим кругом. Один раз он уже сидел в тюрьме за попытку совершить убийство. К ней он приходить не мог, потому что она жила в доме свекрови, и она сама приходила к нему. В ту ночь он из ревности избил ее и приставил револьвер ей к виску. Короче говоря, она схватила манто и бежала из его квартиры. Сначала она стучала в двери к соседям, но никто ей не открыл, и она бросилась наверх.

— Мадам,— сказал я тогда,— ваш возлюбленный наверняка ищет вас. Не дай Бог, он вас найдет. Я уже давно не то, что называется «рыцарь».

— Он не посмеет поднять шум,— сказала она.— Он освобожден под честное слово. А у меня с ним все. Пожалейте же меня, не выгоняйте посреди ночи на улицу.

— Как вы завтра доберетесь до дому?

— Не знаю,— ответила она.— Мне наскучила моя жизнь, но я не желаю, чтобы он меня убил.

— Что ж, я больше все равно не засну, так что занимайте мою кровать, а я посижу в кресле.

— Нет. Так не годится. Вы не молоды да и выглядите не слишком хорошо. Пожалуйста, ложитесь вы, а я посижу.

Мы очень долго препирались, а потом решили лечь оба.

— Вам нечего бояться,— успокоил я ее.— Мне уже столько лет, что я безопасен для женщин.

Она совершенно доверилась мне.

О чем я говорил? А, да. Вот так я неожиданно для самого себя оказался в одной постели с графиней, чей любовник в любой момент мог выломать дверь. Я укрыл нас обоих двумя одеялами и совсем забыл завернуться в свое, как в кокон, потому что от усталости уже не чувствовал холода. Кроме того, я ощущал ее близость. От ее тела исходило странное тепло, какого я никогда не знал... Или забыл... Неужели мой соперник начал новую игру? Несколько лет он уже не докучал мне своими штучками.

Знаете, есть такие игры-шутки. Мне говорили, Нимцович любил всякие розыгрыши за шахматной доской. Когда-то Морфи тоже был известен шахматными проказами. «Отличный ход,— сказал я своему сопернику.— Блестяще!» И я понял, кто ее любовник. Я встречал его на лестнице. Великан с лицом убийцы. Ничего себе конец для Жака Кохна! Погибнуть от руки польского Отелло!

Я рассмеялся, и она тоже рассмеялась. Тогда я ее обнял. Она не отвергла меня. Случилось чудо! Я вновь стал мужчиной! Один раз я оказался в четверг вечером возле бойни в маленькой деревушке и видел, как совокуплялись бык и корова перед тем, как пойти под нож мясника для субботней трапезы. Почему она согласилась? Этого мне никогда не узнать. Наверное, хотела отомстить своему любовнику. Целуя меня, она шептала мне на ухо всякие нежности. А потом мы услыхали тяжелые шаги. Кто-то кулаком стучал в мою дверь. Девушка скатилась с кровати и улеглась на пол. Я уже было собрался прочитать предсмертную молитву, но мне стало стыдно Бога. Впрочем, не столько Бога, сколько моего насмешливого оппонента. Зачем доставлять ему лишнее удовольствие? Даже мелодрама имеет свои пределы.

Невежа продолжал колотить в дверь, и я удивлялся, как она выдерживает. Потом он ударил в нее ногой. Она жалобно скрипнула, но не поддалась. Я был в ужасе и в то же время не мог удержаться от смеха. Наконец стук прекратился. Отелло покинул нас.

На другое утро я продал браслет графини и на полученные деньги купил моей даме платье, белье и ботинки. Платье ей не подошло, ботинки тоже, но ей всего-то нужно было поймать такси, если, конечно, любовник не ждал ее на лестнице. Забавно, но этот человек тогда же исчез и больше не появлялся.

Прежде чем уйти, она поцеловала меня и настойчиво попросила ей позвонить, но я же не дурак. Правильно в Талмуде сказано. Чудо не свершается каждый день.

Думаю, вы знаете, что Кафка в юности мучился от тех же запретов, которые заполнили мою старость. Они преследовали его повсюду. В любви и в литературе тоже. Он жаждал влюбиться и бежал от женщин. Он писал предложение и тут же его зачеркивал. Отто Вайнингер был таким же — гением и сумасшедшим. Я встречался с ним в Вене. Он просто сыпал афоризмами и парадоксами. Одна из его фраз навсегда осталась у меня в памяти: «Клопов создал не Всевышний». Надо знать Вену, чтобы понять это. Но если не Всевышний, то кто создал клопов?

А вот и Бамберг. Вы бы только посмотрели, как он ковыляет на своих коротеньких ножках, ну, прямо труп, не желающий лежать в могиле. А что, неплохая идея — основать клуб для неугомонных трупов? Чего он бродит всю ночь напролет? На что ему сдались кабаре? Врачи приговорили его уже много лет назад, когда мы были еще в Берлине. Однако это не мешало ему просиживать до четырех утра в Романском кафе с проститутками. Один раз актер Гранат объявил, что устраивает вечеринку у себя дома, настоящую оргию, и пригласил Бамберга. Он всех предупредил, чтобы пришли с дамами, а у Бамберга не было ни жены, ни любовницы. Ну, так он заплатил шлюхе, чтобы она сопровождала его. Пришлось ему купить для нее вечернее платье. Все приглашенные были писателями, профессорами, философами и интеллектуальными прихлебателями. И они все поступили, как Бамберг. Наняли проституток. Я там был с одной актрисой из Праги, с которой мы дружили много лет. Вы слышали о Гранате? Дикарь. Коньяк пил, как содовую, и омлет съедал не меньше чем из десяти яиц. Когда гости собрались, он разделся догола и принялся плясать с проститутками, чтобы произвести впечатление на высоколобых. Поначалу интеллектуалы сидели в креслах. Потом они начали обсуждать вопросы секса. Шопенгауэр сказал так... Ницше говорил этак... Тот, кто сам не видел, даже не может вообразить, до чего эти гении бывают несуразные. А посреди вечеринки Бамбергу стало плохо. Он позеленел, как трава, и весь покрылся испариной.

— Жак,— сказал он мне,— это конец. Неплохое местечко я выбрал, а?

У него случились колики, то ли печеночные, то ли почечные. Я вытащил его на улицу и отвез в больницу. Кстати, у вас не найдется для меня один злотый?

— Два.

— Два? Вы ограбили Польский банк?
— Я продал рассказ.
— Поздравляю. Давайте вместе поужинаем. Я приглашаю.

Когда мы ужинали, к нам подошел Бамберг. Это был маленький, тощий, даже истощенный человечек, весь согнутый и с кривыми ногами, но в лаковых туфлях. На пятнистом черепе лежали несколько волосков. Один глаз был больше другого. Красный, выпуклый, он словно испугался самого себя. Бамберг оперся костлявыми ручками на наш стол и прокудахтал:

— Жак, я вчера прочитал «Замок» твоего Кафки. Интересно, очень интересно, но что он хотел сказать? Слишком длинно для грезы. Аллегории должны быть короткими.

Жак Кохн торопливо проглотил кусок.

— Присаживайся,— пригласил он Бамберга.— Мастер никогда не следует общепринятым правилам.

— Есть такие правила, которым даже мастер должен следовать. Нельзя писать роман длиннее, чем «Война и мир». В нем тоже слишком много страниц. Если бы Библия состояла из восемнадцати томов, ее давно забыли бы.

— В Талмуде тридцать шесть томов, а евреи его не забывают.

— Евреи вообще слишком много всего помнят. В этом наша беда. Уже две тысячи лет прошло, как нас вышвырнули со Священной земли, а теперь мы хотим вернуться обратно. Разве это не безумие? Если бы наша литература отражала это безумие, она была бы великой. А наша литература до ужаса разумна. Ладно, хватит об этом.

Бамберг выпрямился, скривившись от боли, и мелкими шажками поковылял прочь от стола. Он подошел к граммофону и поставил танцевальную пластинку. В писательском клубе все знали, что он не написал ни слова за долгие годы. Под влиянием своего друга, философа доктора Мицкина, автора «Энтропии разума», он в старости начал учиться танцевать, потому что доктор Мицкин пытался доказать в своей книге, будто человеческий разум обанкротился и настоящая мудрость постигается чувством.

Жак Кохн покачал головой.

— Полпинтовый Гамлет. Кафка очень боялся стать Бамбергом, вот почему он покончил с собой.

— А графиня приходила к вам снова?

Жак Кохн вытащил из кармана монокль и водрузил его на место.

— А что, если да? В моей жизни все оборачивается словами. И разговорами, разговорами. Философия доктора Мицкина гласит, что человек в конце концов превратится в словесную машину. Он будет есть слова, пить слова, жениться на словах, травиться словами. Кстати, доктор Мицкин тоже присутствовал на оргии Граната. Он пришел, дабы реально воплотить то, что он проповедовал, но он мог с тем же успехом дописывать свою «Энтропию разума». А графиня навещает меня время от времени. Она тоже интеллектуалка, но без интеллекта. Должен сказать, женщины умеют показать свое тело, но они так же мало понимают в любви, как в интеллекте.

Например, мадам Тшиссик. Разве у нее было что-нибудь, кроме тела? Но не спрашивайте у нее, что такое тело. А сейчас она уродина. Я был ее партнером. Ни на грош таланта. Мы приехали в Прагу заработать немного денег, а нас ждал гений — Homo sapiens на высочайшем уровне самоедства. Кафка хотел быть евреем, но не знал, что это такое. Он хотел жить, но и этого он не умел. «Франц,— сказал я ему как-то,— вы же молоды. Делайте то, что все мы делаем».

В Праге я знал один бордель и уговорил Кафку пойти со мной. Он все еще был девственником. Мне бы не хотелось говорить о девушке, с которой он обручился, ведь он по уши сидел в буржуазном болоте. Евреи его круга мечтали только об одном — стать неевреями, причем не чешскими неевреями, а немецкими неевреями. Короче говоря, я соблазнил его на приключение. Повел его на темную улицу в бывшем гетто. Мы поднялись по стертым ступенькам. Я открыл дверь. Труппа была на месте — проститутки, сводники, гости, мадам. Никогда не забуду той минуты. Кафка вдруг задрожал всем телом. Схватил меня

за рукав. Потом он развернулся и бросился бежать по лестнице с такой скоростью, что я испугался, как бы он не сломал себе ногу. На улице его стошнило, как мальчишку. На обратном пути мы прошли мимо синагоги, и Кафка заговорил о *големе*. Он верил в него и в то, что будущее не обойдется без еще одного *голема*. Должны же существовать магические слова, превращающие кусок глины в живое существо. Разве Господь Бог, согласно каббале, не сотворил мир, произнеся священные слова? Вначале был Логос.

Да-да, все это не что иное, как партия в шахматы. Я всегда боялся смерти, а теперь, когда я на шаг от могилы, мне не страшно. Ясно, что мой соперник предпочитает долгую игру. Он идет шаг за шагом. Сначала отобрал у меня мою профессию актера и превратил в так называемого писателя, но прежде сковал по рукам и ногам, чтобы у меня ничего не получилось. Потом лишил меня мужской силы. И все же я знаю, что он пока не намерен поставить мне мат. Это придает мне сил. В комнате холодно — пусть будет холодно. Нет ужина — ничего, не умру от этого. Он ход — и я ход. Как-то я поздно возвращался домой. Мороз разыгрался не на шутку, и я вдруг с ужасом обнаружил, что потерял ключ. Пришлось разбудить привратника, но у него тоже не оказалось запасного ключа. От привратника несло водкой, его собака грызла мои ботинки, и еще несколько лет назад это ввергло бы меня в отчаяние, а на сей раз я только сказал моему врагу: «Хочешь, чтобы я заработал воспаление легких, пожалуйста, я готов». Выйдя из дома, я решил пойти на Венский вокзал. Ветер сбивал меня с ног. Три четверти часа мне пришлось ждать трамвая, ведь дело было ночью. Когда я проходил мимо союза художников, то увидал освещенное окно и подумал, почему бы не зайти. Может быть, мне повезет провести там ночь... На ступеньках что-то попало мне под ноги. Я услыхал звяканье металла и наклонился. Подняв ключ, я убедился, что это мой ключ! Шанс найти его на темной лестнице у меня был один на миллиард, но, наверное, он испугался, как бы я в самом деле не испустил дух, пока он еще не готов к этому. Называйте это фатализмом, если вам угодно.

Жак Кохн встал и, извинившись, ушел позвонить, а я сидел и смотрел, как Бамберг на подгибающихся ногах танцует с какой-то литературной дамой. Он закрыл глаза и положил голову ей на грудь, как на подушку. Он словно танцевал и спал в одно и то же время. Жака Кохна долго не было. Намного дольше, чем обычно. Когда он вернулся, монокль у него в глазу сверкал.

— Вы даже не представляете, кто сидит сейчас в соседнем зале. Мадам Тшиссик! Великая любовь Кафки.

— В самом деле?

— Я ей рассказал о вас. Пойдемте, я вас представлю.

— Нет.

— Почему нет? Женщина, которую любил Кафка, стоит того, чтобы с ней желали познакомиться.

— Мне это неинтересно.

— Да вы просто-напросто робеете. Я прав? Кафка тоже робел. Робел, как ученик иешивы. А вот я никогда не робел, наверное, поэтому я ничего не добился. Мой дорогой друг, мне нужно еще двадцать грошей для привратников — десять для здешнего и десять для того, что у меня дома. Без денег я просто не могу там показаться.

Я вынул из кармана мелочь и, не считая, отдал ему.

— Так много? Все-таки вы сегодня ограбили банк. Сорок шесть грошей! Паф-паф! Если Бог есть, Он вас вознаградит. А если нет, то кто играет с Жаком Кохном?

Перевод с английского Л. ВОЛОДАРСКОЙ

●

Валерий ПИСИГИН

Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург

«Обыкновенно народ, желая похвалить свою национальность, в самой этой похвале выражает свой национальный идеал, то, что для него лучше всего, чего он более всего желает. Так, француз говорит о прекрасной Франции и о французской славе (la belle France, La gloire du nom francais); англичанин с любовью говорит: старая Англия (old England); немец поднимается выше и, придавая этический характер своему национальному идеалу, с гордостью говорит: die deutsche Treue. Что же в подобных случаях говорит русский народ, чем он хвалит Россию? Называет ли он ее прекрасной или старой, говорит ли о русской славе или о русской честности и верности? Вы знаете, что ничего такого он не говорит, и, желая выразить свои лучшие чувства к родине, говорит только о «святой Руси». Вот идеал: не консервативный и не либеральный, не политический, не эстетический, даже не формально-этический, а идеал нравственно-религиозный».

В. С. СОЛОВЬЕВ.

Предисловие

Две вещи могут подвигнуть на попытку совершить нечто значительное: чей-нибудь талант, соблазняющий своей мнимой легкостью, и собственная непросвещенность, делающая тебя слепым, глухим и безумным перед лицом всяких возможных трудностей.

Кто не знает о знаменитом «Путешествии из Петербурга в Москву» Александра Николаевича Радищева? Кому не известна печальная судьба этого первого русского революционера? Таких, пожалуй, что и нет. А кто прочел эту книгу от начала до конца, да так, чтобы еще и рассказать, о чем она?

В наших школьных программах отмечалось, что книгу свою Радищев задумал во время известного путешествия Екатерины Второй из Петербурга на юг России в 1787 году, хотя отдельные главы были написаны еще за несколько лет до этого. Путешествие императрицы было обставлено с необычайной пышностью и великолепием, на него были затрачены колоссальные средства, и именно тогда были сооружены по пути следования Екатерины знаменитые бутафорские деревни, названные впоследствии «потемкинскими». Как это в таких случаях водится, казенные писаки, по-нынешнему — официозные журналисты, восторженно сообщали о благоденствии народов России под «материнским скипетром просвещенной Императрицы».

Журнальный вариант.

Вот этому наглому обману и решил противопоставить Радищев свое собственное путешествие, которое в известной части совпадает с маршрутом императрицы.

Книга, безусловно, полезная и интересная, однако степень навязывания этого, возведенного в общеобразовательный канон произведения была такова, что зачастую, кроме равнодушия к нему, никто ничего не испытывал. Разумеется, мужественный Александр Николаевич тут был ни при чем, хотя слог его мог быть и более щадящим к неблагодарным и поверхностным потомкам. Во всяком случае, мне неизвестно, скольких из них сподвиг на доброе дело Радищев, но в свое время революционерами благодаря ему стали многие. Гораздо меньше становились путешественниками. А чтобы буквально повторить само это путешествие, вообще вроде был один-единственный. К тому же направлялся он в обратную сторону и доехал лишь до Вышнего Волочка, не дотянув даже до половины пути. Зато какой путешественник! Сам Александр Сергеевич Пушкин.

Его путешествие представляет собой не очень большую в сравнении с книгой Радищева статью-очерк, которую он писал с декабря 1833 года по апрель 1834-го, а глава «Москва» была написана в январе 1835 года. Пушкинское «Путешествие» было опубликовано лишь спустя несколько лет после смерти поэта, в 1841-м. И то с большими цензурными правками и сокращениями.

В октябре 1833 года, накануне своей поездки в Петербург, Александр Сергеевич, имея в виду, что «в тюрьме и в путешествии всякая книга есть Божий дар», зашел к своему старому приятелю, «коего библиотекой привык пользоваться», и попросил у него «книгу скучную, но любопытную в каком бы то ни было отношении». (Как приятно с Пушкиным иметь дело! Вот эта легкость и есть соблазн.) Приятель предложил ему довольно редкую в то время книгу — «Путешествие из Петербурга в Москву», изданную в 1790 году, и попросил ее беречь, причем, как показалось Пушкину, «таинственным голосом».

«Книга, некогда прошумевшая соблазном (А. С. тоже был соблазнен!) и навлекшая на сочинителя гнев Екатерины, смертный приговор и ссылку в Сибирь; ныне типографическая редкость, потерявшая свою заманчивость, случайно встречаемая на пыльной полке библиомана или в мешке брадатого разносчика»,— так кратко охарактеризовал Александр Сергеевич книжку Радищева, которую принял с благодарностью и взял с собою.

Хотя Александр Сергеевич и отметил, что «содержание книги всем известно», тем не менее он счел необходимым в своей статье напомнить, что представляет собой эта книга: «Радищев написал несколько отрывков, дав каждому в заглавие название одной из станций, находящихся на дороге из Петербурга в Москву. В них излил он свои мысли безо всякой связи и порядка».

Пушкин читать книгу Радищева начал в Черной Грязи, небольшом селении близ Москвы: поскольку перемещался в обратном, нежели Радищев, направлении, то и книгу стал читать с последней главы и таким образом заставил Радищева путешествовать с собою из Москвы в Петербург.

Выезд

Я специально не собирался в Санкт-Петербург, хотя всегда рад там побывать, и, если такая возможность предоставляется, то, конечно, лучше воспользоваться для этого поездом или самолетом. Известно, что в этом случае меньше хлопот. Но обстоятельства вынудили ехать самостоятельно, на машине. Чтобы сочетать приятное с полезным и не быть бездушным созерцателем природы, а также для того, чтобы отвлечься от шумной и столь же бестолковой столичной суеты, я взял с собой оба «Путешествия», радищевское и пушкинское, и «таким образом заставил» путешествовать с собой и Александра Николаевича и Александра Сергеевича.

Во времена Радищева и Пушкина из Москвы в Петербург, впрочем, как и во все прочие города, добирались лошадьми: в кибитках, дилижансах, почтовых каретах, колясках. Например, постоянное движение почтовых дилижансов по Московско-Петербургскому шоссе было открыто с 1827 года, и экипажи отправлялись по четкому расписанию от главных почтамтов. Дилижанс представлял собой закрытую многоместную карету (от 4 до 12 мест) с сиденьями внутри нее и на откидных скамейках позади возниц. Багаж крепился на крыше кареты и на откидных багаж-

ных полках сзади. Стоимость проезда от Петербурга до Москвы колебалась от 40 до 100 рублей, в зависимости от удобства места. Каждый пассажир мог взять с собой груз до 60 фунтов (24 кг). Разумеется, такие поездки могли совершать только люди достаточно состоятельные. Например, молодой и начинающий сочинитель Н. В. Гоголь, снимая в 1830 году квартиру в Петербурге, платил за нее 25 рублей в месяц, и столько же уходило «на стол»; да еще «на содержание» человека» — 10 рублей; да на чай, сахар и хлеб — 20 рублей; прачке — 5 рублей; на сапоги — 10 рублей; на дрова — еще 7 рублей, а еще нужны деньги на библиотеку, на свечи, на цирюльника, на лекарство... Какие уж там путешествия!

Дилижанс в пути сопровождал вагенмейстер, их смена происходила в Новгороде, Вышнем Волочке и Твери. Поэтому здесь были более длительные остановки. Ямщики везли экипаж от станции до станции. Движение было круглосуточным, на больших станциях делали остановки. В одном из параграфов «Карманного почтового путеводителя», изданного в С.-Петербурге в 1831 году, говорилось: «Дилижансы едут день и ночь, останавливаясь на короткое время, от получаса до двух часов, для завтрака, обеда и ужина там, где пожелают пассажиры». Путь от одной столицы до другой продолжался около четырех-пяти суток.

Рассказываю об этом для того, чтобы у читателя были более точные представления о путешествии почти двухвековой давности. Совсем нелишне, если учесть, что все это уже кажется безвозвратно утерянным вместе с соответствующей культурой, правилами, языком...

«Отужинав с моими друзьями, я лег в кибитку. Ямщик, по обыкновению своему, поскакал во всю лошадиную мочь, и в несколько минут я был уже за городом,»— начинает свое «Путешествие» Александр Николаевич Радищев.

«Узнав, что новая московская дорога совсем окончена, я вздумал съездить в Петербург, где не бывал более пятнадцати лет. Я записался в конторе поспешных дилижансов (которые показались мне спокойнее прежних почтовых карет) и 15 октября в десять часов утра выехал из Тверской заставы»,— начинает свое «Путешествие» Александр Сергеевич Пушкин.

Такие поездки, на первый взгляд обыденные, длились несколько дней и превращали обычного пассажира в путешественника. Ведь когда едешь в кибитке, что может от тебя ускользнуть?

Но не только молча сидишь и едешь. А перемена лошадей, ночлег, обеды? Это же все остановки. А еще бывало, что колесо отвалится или что-то прохудится. Тогда приходилось до ближайшей почтовой станции идти пешком, и остановки затягивались. И пока меняют колесо или ремонтируют кибитку, путешественник ходит вокруг, во все всматривается, ко всему прислушивается.

Сейчас путешествие лошадьми в кибитке или дилижансе едва ли будет кому по карману. Если и найдутся такие охотники, то это будет из ряда вон выходящее удовольствие. Мы же отправляемся в свое путешествие на автомашине, имея в виду, что никакой другой вид передвижения не приносит столько радости. Ты совершенно одинок и абсолютно волен в своих перемещениях. Никто и ничто не отвлекает тебя от общения с природой и не навязывает своих представлений об увиденном. Ты можешь ехать быстро или медленно, можешь завернуть в какое-нибудь селение или, если захочешь, сбавишь скорость, заметив причудливый пейзаж. А можешь остановиться и зайти в церковь или остановишься на мосту через реку, любуясь ею сверху. Но, главное, ты можешь притормозить у одинокого прохожего и завести с ним разговор. Что такое свобода, если не возможность ехать куда хочешь? Многие ли могут позволить себе такое?

Пешки

Местные предания гласят, будто бы Екатерина Вторая, возвращаясь в Петербург, доехала в карете до Красной горы и неожиданно для многочисленной своей свиты остановилась, чтобы пройтись под горку пешком. Видимо, она себе под горку шла-шла и дошла аж до самой почтовой станции. И за то время, пока мужики переменяли лошадей, Екатерина даже не присела, а все ходила и ходила вокруг, присматривалась ко всему, о чем-то думала, что-то замышляла, а потом так же неожиданно забралась обратно в свою императорскую карету и умчалась прочь. Она умчалась отсюда прочь, казалось, ничего после себя не оставив, кроме уставших и из-

мученных лошадей, но народ окрестный оставил в памяти, что матушка-императрица не просто здесь побывала, не так, как в остальных местах, а по-особому: походила пешком, прямо по сырой земле своими царицыными ногами. Так почему бы безвестному и затерянному на бескрайних просторах маленькому селению не отразить в самом своем названии этот невероятный и удивительный эпизод? Почему бы не отметить тем самым величие царственной Екатерины и бесконечную любовь к ней народа? Так будто бы появилось у придорожного селения название — Пешки.

А может, что и не так. Кто сейчас проверит? А еще через некоторое время и проверять будет нечего. Старая часть деревни, та самая, по которой пешком расхаживала Екатерина, представляет собой не более двух десятков домов, в которых живут три пенсионера, коим за восемьдесят, да еще двадцать пенсионеров, которым за семьдесят. А больше в Пешках никого и нет. Те частные дома, многоквартирные пятиэтажки и еще какие-то здания и административные постройки, находящиеся чуть выше старого села,— не Пешки вовсе, а обыкновенный жилой поселок при местном совхозе-птицефабрике. Там живут и рязанские, и смоленские, и туляки, и все прочие, которые меняют или покупают здесь квартиры. Они то приезжают, то уезжают обратно. Половина из них работает здесь, половина не известно где. Словом, какие же это Пешки и разве там могла быть Екатерина?

Вся история деревни происходила вот здесь, где находятся одни лишь старые дома, разделенные полосой автострады. Здесь, с левой стороны, были и трактир, и почтовый двор, на котором останавливались и переменяли лошадей путники, в том числе наши Радищев и Пушкин. Именно здесь Александр Николаевич, уже предвкушая встречу с Москвой, зашел в крестьянскую избу, чтобы съесть кусок припасенного жареного мяса.

В Пешках я остановился у одной из придорожных изб, заметив возле калитки старенькую, сгорбленную женщину с авоськой. Ею оказалась семидесятишестилетняя пенсионерка, прожившая в этом селе почти всю свою жизнь. Она сразу же согласилась рассказать о Пешках, ответить на мои вопросы и для этого пригласила к себе в дом.

Валентина Васильевна долгое время работала учительницей в местной школе, но вот уже лет двадцать как на пенсии. Мужа своего, фронтовика, похоронила несколько лет назад. Одиночество ее скрашивают кошки. Их в доме пять или шесть, сосчитать невозможно, так как они постоянно носятся по избе, залезают на стол, подоконник, к хозяйке на руки. Я попросил рассказать историю этой деревни, о современной жизни, о себе, но разговор сразу же и определенно пошел о войне, точнее, о ее непосредственном начале для жителей Пешек и для самой Валентины Васильевны.

Конечно, война началась за несколько месяцев до того. Войной люди жили, вслушиваясь в радиосводки, читая газеты, получая информацию от местного руководства и народной молвы, но пока это была война где-то там, за горизонтом. И все же она незримо и неотвратимо приближалась, и в Пешках, находившихся на важнейшей стратегической дороге страны, это приближение чувствовали все отчетливее. Всех зрелых мужчин села мобилизовали на военный фронт, а нескольких молодых и крепких женщин — на фронт трудовой. Они рыли недалеко от Пешек противотанковые траншеи, участвуя в том, что в военных энциклопедиях будет отмечено, как «Клинско-Солнечногорская оборонительная операция».

Была поздняя осень, вечерело рано, погода была прескверная: дождь со снегом, нескончаемый ветер, грязь, слякоть, все были по колено в глине,— словом, удовольствия мало, но все же, но все же... Вокруг все свои. И речь, хоть и грубая, но родная, и места свои, родные, и лица в общем-то свои, и дом недалеко, и порядки пусть жестокие, но знакомые, свои. Настоящую войну, какая она на самом деле, кроме нескольких стариков — ветеранов первой мировой, здесь еще не видели. Проклятая, ненавистная, страшная, но еще не виденная, она с каждым днем становилась ближе. Где-то там на фронтах воюют твои родные, близкие люди: мужья, сыновья, отцы, братья, а ты роешь траншеи и постоянно думаешь о них, находясь в тылу. Пока еще в своем. Все ведь знали, что Красная Армия отступает. А что станет с тобой потом, когда прокатится через твое село, через тебя саму кровавый фронт? В тылу своих — это одно, а в тылу у немца — совсем другое.

Вот какие чувства переживали жители Пешек в те дни. Это было страшное и все более нарастающее ощущение войны и приближения смерти — к тебе самому, к твоему дому...

Поскольку здесь проходит дорога, то можно было наблюдать все увеличивающуюся суету, ощущать по часам возрастающую тревогу и слышать все новые и новые сведения, слухи, домыслы: «Фашисты уже в Клину!», «Они въехали на мотоциклах в Солнечногорск!», «Уже совсем недалеко идут бои...» Везде, на всех постах, мостах, дорогах стояли суровые патрули: никого никуда не пропускали, и даже попасть к себе в избу было для Валентины Васильевны делом непростым...

Но вот внезапно наступила тишина, на мгновение все вокруг опустело, стало тихо и как-то даже торжественно. А затем со стороны железной дороги началась жуткая стрельба: грохот орудий, залпы, снаряды... Начался бой. Так пришла сюда, в Пешки, война. И не пешком, как Екатерина, а на мотоциклах с колясками, на странных «не наших» машинах, в каких-то страшных касках, в тоненьких шинелях и коротких сапогах на большом каблуке.

Всю ночь шел бой и люди старались прятаться где только можно. Но где же спрячешься, когда все избы деревянные, а само село как на ладони? Тогда все, кто мог, и верующие и атеисты, потянулись в церковь: поближе к Богу. Не потому, что вдруг уверовали, а больше потому, что стены там были толстыми, кирпичными. К ночи в церкви скопилось столько народу, что даже повернуться было невозможно. Не так ли в древних русских соборах спасались от врага? И часто бывало, что гибли все вместе — от княжеской семьи до простых смертных. Соборно жили, соборно и умирали.

Наутро решили посмотреть: кто в селе? Оказалось — наши с боем отступили, а в Пешках немцы! В селе фашисты! Все чужое, все не свое, непривычное. Язык не тот, суета не наша, порядок не свой... Вот такое первое впечатление от пришедшей войны. Кто-то из стариков, воевавших еще в первую мировую, заметил: не только немец здесь. Есть еще и финны, и венгры, и румыны, и чехи. А среди немецких солдат, как показалось, в основном пацаны по пятнадцать-шестнадцать лет.

— Зашли они в избу,— рассказывает Валентина Васильевна.— Главный их офицер — в очках. Вся эта ихняя молодежь сразу кинулась греться. Наши старушки тут стоят, и эти немцы тоже к печке жмутся. Вообще они были страшно голодные. Почему-то у них ничего не было. Они ходили по уцелевшим домам, лазили в печки, искали еду и требовали: «Матка, супу!». Они сами доили коров и, конечно, всех гусей и кур в Пешках порезали. Там, где сейчас памятник воинам, на краю села, раньше было картофелехранилище. Наши, когда отступали, эту картошку облили бензином и сожгли, чтобы немцу не досталась. И шоссе при отступлении тоже взорвали. Так все было перепахано, вздыблено, что на другую сторону села нельзя было попасть. А потом, к вечеру, опять такой был бой! Трассирующие пули летели, как из лейки. Думаешь, палец высунешь — в мочало сразу же превратится. Наши поставили свои орудия на Красной горе у села Есипово и оттуда лупили по немцам. Немцы поставили свои пушки прямо у храма и били по Красной горе. А жители Пешек находились между двух огней. Прятались опять в церкви. Там был подвал, куда жители сложили свой скарб: вещи, чемоданы, котомки. И вот в купол попал снаряд, и этот купол упал прямо при входе в церковь и завалил подвал.

Это было самое критическое для страны время. Где-то у разъезда Дубосеково стояли насмерть панфиловцы, недалеко отсюда, у деревни Крюково, погибал взвод, умирали на подступах к Москве тысячи и тысячи других героев. Это было в те самые дни и даже часы, о которых сейчас рассказывает Валентина Васильевна.

Оккупация Пешек была недолгой. Вскоре все с той же Красной горы, откуда когда-то шла пешком Екатерина Вторая, наши погнали фашистов из Пешек, а потом и вообще из России.

Вот о чем рассказала Валентина Васильевна. Значит, из всего того, что она знает о своих Пешках, самым важным для нее является начало войны, тот день, или, точнее, вечер, когда после неожиданной и странной тишины вдруг началась страшная стрельба. Так что, проезжая по этим мирным и тихим сегодня местам, мимо малозаметных Пешек, мимо других неказистых сел и деревень, вспомним, что здесь нет такого клочка земли, который бы не был полит кровью наших солдат, ополченцев и просто жителей. В память об этих годах, о том времени — памятники нашим солдатам, венки и цветы у их подножий. И так на всем нашем пути от Москвы до Санкт-Петербурга. Сбавим ход, притормозим, вспомним павших, поклонимся им...

— А как живется вам теперь?— спрашиваю у Валентины Васильевны.— Помните, Радищев в Пешках описывал крестьянскую избу? И Пушкин о крестьянском быте рассуждал тоже здесь, в Пешках.

— Конечно, помню,— говорит Валентина Васильевна.— Здесь Радищев обедал и даже дал крестьянскому мальчику «боярского кушанья» — кусочек сахару.

— А можно ли сравнивать: как вы живете сейчас и как жили простые люди тогда, во времена Радищева?

— Да что вы? Какое может быть сравнение? У меня есть электричество, телевизор, вода в колонке через два дома... Какое сравнение! Печка у меня есть, паровое отопление. Там, на чердаке, котел, в который я заливаю воду, и она по трубам бежит и греет. Топим дровами. Как сельскохозяйственным работникам, нам положено десять кубометров на отопительный сезон. У нас в Солнечногорске есть отдел, который малоимущим и одиноким пенсионерам, а мы тут в Пешках почти все одинокие, дает льготы по отоплению и освещению. Правда, дрова приходится доставать с большим боем. Надо самим ходить, искать трактор, нанимать тракториста, а этому трактористу нужно бутылку. У меня есть огород, так что я обеспечиваю себя и картошкой, и огурцами, и капустой. Какое сравнение может быть! Есть еще участок — двадцать пять соток, у дороги, но там ничего не растет из-за автомобильного газа. Пенсии у нас небольшие. У меня — двести шестьдесят тысяч.

Когда я зачем-то спросил о том, что думает Валентина Васильевна о политике, она буквально переменилась в лице, а голос ее стал жестким, внятным и суровым.

— Знаете что! Я так скажу. Я не обвиняю правительство. Они все правильно делают. Но народ до того распустился, разболтался, ничего не хочет понять. Ничего! Работать никто не хочет, хотят все быть какими-то кооперативщиками, какими-то предпринимателями, всем надо какую-то валюту... Я вот тут на днях была в Солнечногорске, зашла узнать насчет платы за электричество, так там, смотрю, такая очередь! Я думала, за электричество люди пришли платить, а там, оказывается, стоят доллары менять на наши рубли. И где только, скажите, они берут эти доллары? Потом, все эти «челноки»... Они нигде не работают, а только ездят за границу, покупают там всякий хлам и везут его сюда продавать. Вы поезжайте в Солнечногорск. Там они стоят и чего только не продают. Там есть такой хлебокомбинат, и они выпекают и тут же продают горячий хлеб. Много всяких сортов. (Голос Валентины Васильевны вновь стал мягким и спокойным.— **Авт.**) Такие есть булочки, и такие батоны, очень вкусные. Туда все стараются ездить и покупать...

— Так это же хорошо,— говорю я.

— Хорошо-то, хорошо, но не по карману... Я против всех эти дум.— Голос ее опять стал жестким.— Две думы у нас — нижняя и верхняя. Зачем они такие нужны? Только спорят между собой и никак не договорятся.

После этого «политического разговора» я осторожно попросил Валентину Васильевну показать мне ее дом.

— Конечно, конечно...— И вдруг Валентина Васильевна встала из-за стола, глаза ее налились слезами, а голос вновь поменялся: стал каким-то глухим, низким и тихим, словно задыхающимся.— Вы меня простите,— сказала она,— у меня ведь недавно сына машиной убило вот на этой самой дороге. Похоронили месяц назад тут, на кладбище. Он ремонтировал всем телевизоры, был такой безотказный, такой добрый... Сейчас ведь если телевизор сломается, то новый уже не купить. И в тот вечер соседи попросили его прийти к ним посмотреть телевизор и, если можно, отремонтировать. А жили они через дорогу. Он пошел к ним, а машина его сбила...

Мы помолчали и пошли смотреть дом Валентины Васильевны.

Небольшая деревянная изба, которую отстроили после войны, состоит из крыльца, маленькой прихожей, кухоньки, разделенной с прихожей печкой-шведкой, комнаты-гостиной, где стоит старенький телевизор и, кажется, еще более старые шкаф с посудой, стол и диван. На стене старые советские часы, которые исправно ходят, рядом развешаны фотографии, среди них — портрет погибшего сына... Когда-то тут было живо и весело, приходили гости, пили, ели, пели песни, вспоминали прошлое, строили планы на будущее. Теперь здесь тихо и темно, и что останется от всего этого еще через десять лет — неизвестно. Есть еще комнатушка-спальня, отделенная от гостиной стенкой из фанеры. Там обычная кровать, тумбочка, какие-то вещи. Ни в гостиной, ни в спальне отопления нет, Валентина Василь-

евна живет вместе со своими кошками в маленькой отапливаемой прихожей. Скоро зима.

Я попрощался с Валентиной Васильевной, а она посоветовала заехать в Солнечногорск, в местный краеведческий музей, чтобы побольше узнать о Пешках. Можно бы, да только какой музей заменит саму Валентину Васильевну?

Клин

Упоминание об этом древнем городе содержится еще в Суздальской летописи, датированной 1234 годом. Уже тогда он назывался Клином, но почему именно, никто не знает и поныне. Оттого много домыслов и предположений.

Например, мне рассказывали местные жители, что название это, как и название «Пешки», связано с именем Екатерины Второй. Будто бы во время своего путешествия на юг России Екатерина, выходя из кареты, неосторожно зацепилась платьем за что-то острое и порвала его этаким небольшим клинышком. Неизвестно, где именно порвалось платье, но даже если и на самом незаметном месте, то все равно это не осталось незамеченным, и народная молва нарекла город Клином.

Хотя и очевидно, что Екатерина к названию города никакого отношения не имеет, все же легенда эта выросла не на пустом месте. Видимо, когда-то давно, может быть, в самые древние времена, когда еще и государства Русского не было, а в лесах здешних жили лешие и ведьмы, стояло тут славянское поселение. И, быть может, какая-нибудь знатная и красивая девушка с длинной светлой косой, скорее всего дочь местного князя, играя со своими подружками, зацепилась за что-нибудь острое своим красивым одеянием и нечаянно порвала его. Причем именно клинышком. Она рассмеялась от такой неожиданной напасти, и все вокруг рассмеялись, и даже сам суровый князь, поначалу рассердившийся, тоже стал смеяться себе в бороду, и потому долго об этом необычном случае говорили так долго, что остался этот эпизод в народной памяти. И потом, по прошествии многих веков, он уже относился к какой-нибудь другой особе, ассоциировался уже с другими персонажами, с которыми была связана история города Клина. Так дошел древний эпизод до времен Екатерины Второй и, уже оказавшись связанным с нею, добрался до нас.

С Клином так или иначе связаны многие знаменитые люди России: композиторы П. И. Чайковский и В. И. Танеев, художник А. М. Васнецов, писатель Андрей Белый, ботаник К. А. Тимирязев, где-то тут в уезде простым агрономом работал М. М. Пришвин. Все люди неординарные. Например, живший здесь неподалеку Дмитрий Иванович Менделеев, познав, что грядет в этих краях солнечное затмение, подсказал местным мужичкам пару-тройку химических элементов, и те, покумекав для виду, надули ему шар, привязали корзину, и он, поднявшись ввысь, наблюдал за солнцем уже не как все, а свысока.

Славился Клин также своими производствами, среди которых особо крупными были чугунолитейный завод Чепеля и стекольный завод, принадлежавший в свое время фабрикантам Орловым.

Старая часть города, где некогда находился почтовый двор и где останавливались и переменяли лошадей наши путешественники,— справа от трассы. Здесь почти в неизменном виде сохранились старинные торговые ряды — крепкие из красного кирпича традиционные постройки, образующие квадрат. Как и в старые времена, здесь идет торговля, и добрая половина торговых рядов занята винными и пивными лавками. Кстати, клинское пиво славится и наряду с Чайковским является предметом гордости горожан. Но если великим композитором клинчане в основном только гордятся, то пиво свое они еще и пьют. Позади торговых рядов находится небольшой сквер с памятниками двум Ильичам: Петру и Владимиру. Причем Владимир, хоть и слывет любителем музыки, к Петру стоит спиной, с полным к нему безразличием.

Своей восточной частью торговые ряды выходят на площадь, некогда самый центр жизни города.

«Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиам князь...» — услышал здесь Радищев песню, которую напевал «слепой старик, сидящий у ворот почтового двора, окруженный толпою по большей части ребят и юношей. Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокойствия, в лице его зримого, заставляли взирающих на певца предстоять ему со благовением. Неискусный хотя его напев, но неж-

ностию изречения сопровождаемый, проницал в сердца его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели взращенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези или Тоди. Никто из предстоящих не остался без зыбления внутрь глубокого, когда клинский певец, дошед до разлуки своего ироя, едва прерывающимся ежемгновенно гласом изрекал свое повествование. Место, на коем были его очи, исполнилося исступающих из чувствительной от бед души слез, и потоки оных пролилися по ланитам воспевающего. О природа, колико ты властительна! Взирая на плачущего старца, жены возрыдали; со уст юности отлетела сопутница ее, улыбка; на лице отрочества явилась робость, неложный знак болезненного, но неизвестного чувствования; даже мужественный возраст, к жестокости толико привыкший, вид воспринял важности. О! природа,— возопил я паки...»

Неизвестно отчего, может, из жалости к потомкам, коим в школьные программы может попасть оное произведение, но Солнце русской поэзии после прочтения этих строк «остался без зыбления внутрь глубокого». Александр Сергеевич, кажется, даже разозлился: «Вместо всего этого пустословия лучше было бы, если Радищев... поговорил нам о наших народных легендах, которые до сих пор еще не напечатаны и которые заключают в себе столь много истинной поэзии».

Отчего же так рассердился Пушкин? Впрочем, не будем вторгаться в споры великих. Поедем дальше по старой части города.

Проезжая по одной из улиц, я неожиданно увидел мемориальную табличку на одном из домов. На ней начертано:

«АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ ГАЙДАР
ЖИЛ В КЛИНУ В 1938—1941 гг.
ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ. НАПИСАЛ
«ЧУК И ГЕК», «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»,
«ДЫМ В ЛЕСУ» И ДР.».

Могла ли не остановить меня такая находка?

Я зашел во двор двухэтажного здания в надежде побывать в музее писателя, но, оказывается, здесь находится вовсе не музей, а призывной пункт. Поднявшись на второй этаж, я оказался в «Учебном классе призывника», стены которого были увешаны плакатами, схемами оружия и разными таблицами. Из соседней комнаты мне навстречу вышел начальник этого призывного пункта — опрятный человек, лет сорока пяти, с хорошей русской речью и довольно утонченными для военного человека манерами.

Я представился и сказал, что обязан своим внезапным визитом лишь недоразумению. Однако Виталий Михайлович, так звали офицера, сначала объяснил, где находится музей знаменитого писателя, а затем любезно пригласил меня в свой кабинет. Вообще с первых минут общения клинский офицер существенно поколебал мои представления о служащих призывных пунктов, сформированные более двадцати лет назад в военкоматах Свердловска, откуда я призывался на срочную службу.

В маленькой комнате на стене висел портрет Ленина — наверное, для того, чтобы входящим были очевидны политические пристрастия офицера. Когда я присел, то увидел за его спиной небольшой плакатик, призывавший на прошедших президентских выборах голосовать за лидера коммунистов. Письменный стол, несколько стульев, телефон.

Виталий Михайлович был не прочь поговорить о проблемах призыва в армию, и это было кстати, учитывая, что Радищев и по его следам Пушкин обсуждают эту тему в Городне, до которой отсюда полчаса езды.

Несмотря на свои политические пристрастия, в отношении армии Виталий Михайлович придерживался позиции сугубо реформаторской, считая, что армия в России должна быть профессиональной и ему как офицеру, работающему с призывниками, это очевидно более чем кому-либо.

— Посмотрите,— с горечью говорит офицер,— в каком состоянии находится наша армия. У нас много кадровых дивизий и полков, которые в плане обороноспособности на таком уровне, что... напоминают пепел на ладони. Вот американская армия вьетнамскую кампанию проиграла, но буквально через десять лет это была уже другая армия. И операцию «Буря в пустыне» против Ирака они уже вели как штабную игру. Вот это уже профессионалы! У них на реформу ушло десять лет, и

сейчас служить в армии там стремятся даже девочки. А я веду набор и знаю, что в семнадцать лет все мальчики не хотят служить. Средства массовой информации, телевидение настроили население против армии. В свое время считали: если парень не пошел в армию, значит, он дефектный. Это было просто позорно. А сейчас все стараются, не люблю это слово, «отмазаться» от армии. И родители в этом помогают.

По словам Виталия Михайловича, в армию идут сейчас в основном сельские ребята, желающие как-то вырваться из деревни или пытающиеся таким образом самоутвердиться. Городских призывается мало. Одни стараются увильнуть из-за какой-нибудь болезни, другие — через ОВИР. Бывает, ищут призывника, а он уже давно в Канаде или в США. И военкоматы ничего не могут с ним сделать. А из самой армии часто бегут «из-за неуставных отношений».

— Что такое сегодня «неуставные отношения»? — задается вопросом и сам же на него отвечает Виталий Михайлович.— Это издевательства, побои, унижения, доведение молодых солдат до скотского состояния. И так везде. Вон сколько случаев, когда солдаты не выдерживают надругательств и берут в руки оружие. Даже из Кремля, из президентского полка солдаты бегут. Вот он сбежит из армии, приедет домой, отлежится и приходит сюда, в военкомат. Мы заставляем его писать объяснительную. Читаешь и за голову берешься. В ротах нет ни старшин, ни командиров взводов, ни командиров рот... Ребята предоставлены сами себе и распорядок устанавливают сами. Сейчас на службу призывают бывших уголовников, которые из армии делают подобие зоны со своими правилами и законами. Просто садизм! Но ведь начинается этот садизм еще здесь, на гражданке. Посмотрите,— говорит Виталий Михайлович,— что творится в наших профтехучилищах. И все это автоматически переносится в армию.

Я спросил у него, может ли командир посадить пару человек за «дедовщину». Ведь это было когда-то действенно: несколько человек посадят, и в полку пару лет более-менее тихо.

— Сейчас не так,— отвечает Виталий Михайлович.— Законы не работают не только на гражданке, но и в армии. Скажем, сбегает солдат и бегает полгода, а то и больше. Мы его ловим, доставляем в часть, и его тут же увольняют, чтобы не было хлопот. А ведь ему положен срок. Или такой курьез. Сбегают солдаты из частей на Дальнем Востоке, как-то добираются на перекладных сюда, домой. Мы их ловим, даем в часть телеграмму, а нам оттуда сообщают: «Если можно, доставьте нам беглеца, потому что нет денег выслать за ним офицера или прапорщика». Вот как бывает сегодня! Билет до Владивостока сколько стоит? В общем, никто сейчас не хочет связываться с подобными ситуациями и до суда дело не доходит.

— Как ведут себя родители? — спросил я.— Ведь все напуганы войной в Чечне. Кому охота свое дитя отдавать на верную гибель?

— Это вам надо приехать, когда идет призыв. Тут и слезы, и крики, и истерики... Мы ведь не знаем, куда попадут наши ребята. На областной пункт привозим, вроде была одна команда, а там все меняется. Этой весной формировали Северокавказский военный округ. Многие наши мальчики прошли и через Чечню. Сейчас, слава Богу, их оттуда выводят.

Несколько удивленный несоответствием между тем, что говорит Виталий Михайлович, и коммунистической атрибутикой его кабинета, я поинтересовался, как он относится к нынешней власти, и, честно говоря, не сомневался, что сейчас Виталий Михайлович на этой власти отыграется. Речь же пошла совсем о другом.

— Меня волнует больше всего российский генофонд. Послушайте язык молодых ребят. Сейчас они говорят на языке, которого еще несколько лет назад не было. Это даже языком трудно назвать. Членораздельная речь у них отсутствует вовсе, и, чтобы их понять, нужен специальный переводчик. Вот посмотрите. Сейчас восемьдесят процентов ребят-призывников нигде не работают. Они просто болтаются сами по себе. Потом начинают заниматься извозом, какими-то ларьками, крутятся вокруг киосков, рынков... Чем-то серьезным, профессиональным никто из них не занимается. Учиться какой-либо профессии они не хотят, не видят смысла. А мы ведь знаем — Советский Союз, Америка или СНГ — чтобы жить, кормить семью, надо работать, надо хоть что-то уметь. Если мужчина выбрал профессию, скажем, токаря, то к сорока годам это профессионал. Так же и классный водитель, и комбайнер, и тракторист... На профессионалах зиждется становой хребет любой

страны, и России тоже. А сейчас идет какое-то размывание самого понятия о профессии.

Посмотрите,— продолжал Виталий Михайлович,— у нас сейчас в Клину стоят многие заводы. «Термоприбор» стоит, «Станкозавод» стоит, «Химволокно» кое-как кувыркается, «Стеклозавод» — то же самое... Что толку учиться в профтехучилищах при этих заводах или идти в какой-нибудь техникум, если завод стоит и никаких денег там не заработаешь? Ребята туда не идут, и их можно понять. И вот, пока до армии какое-то время остается, они носятся по этим палаткам, охраняют их или сами становятся рэкетирами. Потом, если не сядут в тюрьму, идут в армию. А отслужат, придут домой, и опять вопрос: куда идти? На что жить? Как создавать семью? С жильем проблема, с устройством проблема, с учебой тоже... Смотришь, стоит здоровый русский парень и торгует на рынке колготками или сникерсами. Или гоняет автомобили из Белоруссии, или еще чем-то подобным занимается. Я их спрашиваю: «Когда же будете всерьез работать?» А они в ответ только ухмыляются.

Можно ругать сколько угодно и Советский Союз, и коммунистическую систему,— Виталий Михайлович при этом кивнул на портрет Ленина,— но, согласитесь, физик был физиком, математик — математиком, а токарь — токарем. Тут идеология ни при чем. Может быть, обществоведы были непрофессиональны из-за своей идеологизации, но плотник — он всегда, при любой системе плотник. А сейчас? Кто из них борется за профессию? Вот что нас должно беспокоить. Ведь пройдет двадцать лет, и мы с вами станем людьми преклонного возраста, а будущие сорокалетние мужчины, те, которые должны будут составить опору страны и общества,— кем они будут? Они сейчас привыкли к легким, дармовым и, чего греха таить, преступным деньгам, причем безнаказанно. В сорок у них будут семьи, а значит, им нужны будут деньги, чтобы их кормить. Но они ничего не умеют, кроме как «добывать» деньги сомнительным способом. Вот о чем я больше всего думаю: кем они будут? и среди кого будут жить наши дети?

Вот вы,— обращается Виталий Михайлович с вопросом уже ко мне,— объясните: в стране, где идет какая-то реформа, что, как не молодые и сильные руки, в цене? Ведь, собственно, сама реформа — дело людей молодых. Ну, оказались не нужны старики, не понимают, не принимают, нет сил, нет воли, не хватает задора... Но молодые-то. Почему без них?

А что я отвечу Виталию Михайловичу, если и сам задаю себе такие вопросы?

Впрочем, почему «без них»? Обратите внимание, сколь много у нас здоровых и сильных молодых людей ходит в защитной форме по улицам городов. Ходят ночью, ходят днем. Уверенно, вразвалочку, с радиотелефонами. Из них формируются подразделения, роты, полки. Им платят жалованье, вооружают, учат стрелять, бить, колоть... Вот их руки нужны, они востребованы. Человек с ружьем вновь в цене, вновь в «героях дня». Не такие ли могут в один момент зажать рот обществу, а затем и растоптать сапогом его лицо?

А ведь клинский офицер прав: с кем и где придется доживать нам, сорокалетним? В каком обществе будут жить наши дети? Кого потом винить? Опять Ленина со Сталиным?

Вот с какими тяжелыми вопросами я, попрощавшись с Виталием Михайловичем, направился к музею А. П. Гайдара. Он ведь, кажется, уже в четырнадцать лет полком командовал...

Городня

Современная трасса обходит Городню немного стороной. Когда-то, давным давно, на месте этого села стоял город Вертязин. Но в XV веке, когда Тверь была покорена Москвой, город этот стал селом — Городней. «Отметился» здесь и Иван Грозный. В 1569 году он учинил кровавую расправу: село разорил, а многих жителей перебил...

Из всех построек, которые видели Радищев и Пушкин в Городне, сохранились лишь старинная церковь Рождества Богородицы да бывший постоялый двор, в котором некогда останавливалась Екатерина Вторая. На этом же дворе меняли лошадей наши путешественники. Сейчас здесь размещается местная участковая больница.

Церковь в Городне небольшая, но ухоженная, опрятная. Кресты и купол покрыты золотом. Колокольня высокая, с открытой папертью под ней, завершенная шатром со слухами, наподобие колоколен московских церквей XVII века. Небольшой купол на колокольне тоже золоченый. Ограда вокруг церкви солидная, с узорчатыми решетками, все свежевыкрашено, ворота блестят, и на них свой маленький золоченый куполок. Все в одном стиле, в одних тонах — словом, очень красиво. И внутри тоже все под стать. Стоит церковь на высоком берегу Волги, поэтому видно ее издалека. А уж история у нее такая, что и специальной книги будет мало, чтобы всю изложить. Считается, что это единственная уцелевшая постройка некогда могущественного Тверского княжества. Известно также, что храм Рождества Богородицы получил молитвенное благословение от преподобного Сергия Радонежского, который искал спасения здесь после нашествия Тохтамыша на Москву. И еще много имен связано с этой церковью.

Бывший екатерининский путевой двор представляет собой небольшую замкнутую территорию с двухэтажным обветшалым зданием, в котором, собственно, и расположена больница; слева от него, в бывшей столовой двора,— котельная; справа, в бывших конюшнях,— детское отделение. Весь этот комплекс с входящим в него двором огражден сохранившимся в некоторых местах кирпичным забором — свидетельство былой роскоши. На стене у входа в здание висит мемориальная табличка:

«ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕВОЛЮЦИОНЕР,
ПИСАТЕЛЬ И ФИЛОСОФ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАДИЩЕВ
В ЯНВАРЕ 1775 ГОДА ПОСЕТИЛ СЕЛО ГОРОДНЮ.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБ ЭТОМ ОТРАЖЕНЫ В КНИГЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ.»

Девушки-медсестры на мой вопрос о Пушкине и Радищеве порекомендовали встретиться с Галиной Степановной, заместителем главного врача, педиатром, которая, как мне сказали, «все у нас знает». Через несколько минут я уже беседовал с худощавой светловолосой женщиной, лет пятидесяти на вид, очень подвижной и энергичной.

Кабинет Галины Степановны находится там, где некогда была конюшня. Светлая, просторная комната с печкой. В комнате — два стола, стулья, больничная кушетка, весы для новорожденных, на стенах развешаны детские рисунки,— словом, все, как в обычной сельской клинике, как десять, двадцать, тридцать лет назад. Вдоль окон кабинета проходит «пушкинская тропинка», по которой Александр Сергеевич выходил на берег Волги, а прямо перед окном — колодец, из которого он пил воду. Жители окрестных домов благополучно пользуются им до сих пор.

Галина Степановна приехала в Городню пять лет назад с одной лишь сумкой. До этого она жила где-то в Якутии. Из рассказанного я понял, что для Галины Степановны «другая жизнь» началась со смерти мужа. В той, прежней, жизни, по ее словам, она имела все: семью, детей, квартиру, хорошую работу, высокую зарплату, почет и уважение. Была перспектива, строились планы, вынашивались мечты,— в общем, как у всех благополучных людей. Но внезапно случилась беда, и скорее всего не одна. Благополучие в одночасье лопнуло, перспективы исчезли, мечты растворились, а сама Галина Степановна каким-то образом очутилась здесь, в Городне. Одна. Надо было все начинать сначала.

— Я теперь готова ко всему,— очень быстро, как бы защищаясь, говорит Галина Степановна,— и считаю, что ту жизнь, в которой живем, мы сами заслужили. Теперь нужно и самому выживать, и помогать выживать другим. Это, я считаю, и есть христианство. Раз у нас есть земля, есть руки, голова — значит, мы с голоду не умрем. Тут нам однажды привезли гуманитарную помощь: какие-то консервы, печенье, кофе... Я все время удивлялась: почему? Что, у нас нет земли, нет рук, чтобы держать скот, пахать, выращивать урожай, строить дома? Почему это Россия опустилась до гуманитарной помощи? Почему такое с нами случилось? Как это произошло?

Вопросы эти Галина Степановна задает скорее всего не себе. Очутившись в неведомом месте, за тысячи километров от привычной и родной среды, без близких, без друзей да еще в такое время, когда ломаются все привычные представления и

убеждения, а жестокие колеса повседневности перемалывают даже самых крепких, она главные вопросы для себя решила. При этом не сломалась.

Предвидя трудности «переходного периода», Галина Степановна не сидела сложа руки, а поступала в соответствии с совестью и законами рыночной экономики: вкладывала каждый накопленный рубль в себя, в свое образование. Будучи врачом, она знала, что для уверенности в будущем необходимы дополнительные знания, и потому сумела закончить специальные курсы в Твери, которые помогли ей существенно повысить квалификацию.

— Я теперь знаю, что при любых условиях смогу прожить сама. Разве можно позволить себе надеяться на наше государство? Я — человек и, имея разум, должна думать о своем будущем. Кроме основной работы, я обрабатываю еще кусок земли. Здесь у меня есть огород, небольшой садик, и я с него кормлюсь. Вот сейчас немного чеснока продала, двадцать луковиц...

Главная забота Галины Степановны — беспризорные дети. Впрочем, не совсем они беспризорные. Здесь нечто другое. В селе есть дети алкоголиков, которые попросту заброшены, и никому до них нет дела. Галина Степановна говорит, что они с такими дикими глазами ходят, как дебилы, и их за людей в общем-то не считают.

— Мне было непонятно,— продолжала Галина Степановна,— как это так? Ведь на самом деле это дети очень хорошие. И, кстати, подготовлены к жизни гораздо лучше, чем дети из благополучных семей, потому что видели нищету и голод. Они работают и, чтобы заработать на кусок хлеба, ходят к соседям, пропалывают огороды, еще что-то делают. Они не надеются на папу с мамой.

Один пятилетний мальчик пожаловался однажды Галине Степановне, что те деньги, которые государство выделяет родителям в качестве компенсации — их здесь называют «детскими»,— они тут же пропивают, а ребенку не дают даже хлеба. И таких детей оказалось немало. И, кстати, не только в Городне.

Сумма такой компенсации на то время, когда мы пишем эти строки, составляет 52—54 тыс. рублей в месяц за одного ребенка. Это чуть меньше десяти долларов. Кажется, совсем незначительная сумма, но ведь, чем больше детей, тем больше и сумма. Эта простая арифметика приводит к тому, что все большее число «родителей» заводят детей с единственной целью — получать за них пособия. Так, едва родившись, младенцы становятся кормильцами у взрослых. Это еще один наш чудовищный парадокс.

Что же делать с этим?

Галина Степановна обращалась в сельсовет, в другие официальные госучреждения. За несколько лет государство в лице сельсовета выделило ей аж десять тысяч рублей: «на помощь одиноким детям». Тогда она пошла в церковь. А куда еще идти?

— Я подошла сначала к матушке и рассказала ей о том, что у нас есть такие хорошие и добрые детки, но ходят раздетые, босиком... Матушка захотела лично убедиться, правду ли я говорю. И мы с ней зашли в семьи алкоголиков. Матушка посмотрела детям в глаза, увидела, какие они добрые, хорошие, и поняла, что надо их спасать. И сейчас одиннадцать детей из этих семей определены в церковноприходскую школу. Батюшка наш договорился, чтобы их ежедневно в школу возил автобус. Учительница у них очень хорошая, молодая. Два раза мы их кормим. Перед едой они читают «Отче наш», а после еды благодарят Господа, как и положено. В перерыве занятий они забегают в церковь и смотрят, как служат, как венчаются, как отпевают...

В это время в кабинет заглянул черноглазый мальчуган лет шести. Увидав меня, сразу исчез. Это еще один воспитанник, которого Галина Степановна недавно приютила в больнице.

— Вот, пожалуйста. Это Георгий. Отец с матерью сидят в тюрьме за воровство. А он попал ко мне с абсцессом бедра и температурой сорок градусов. Позвонила в Конаково, в районную больницу: дескать, ребенок серьезно болен, температура сорок. А они отвечают, что лечить нечем. Нет лекарств. Куда идти за помощью? Опять в церковь. Батюшка дал двадцать тысяч рублей, я купила новокаин и пенициллин, положила мальчика сюда в больницу и вылечила. А батюшка говорит: «Веди его в нашу школу». Так что сейчас он у нас ученик. Купили ему портфель, учебники, школьные принадлежности. Вот вожу его третий месяц в нашу школу, а вече-

рами занимаемся с ним. Он ожил, стал нормально разговаривать. Хороший, добрый такой мальчик.

Георгий, постояв какое-то время за дверью, решился-таки войти в кабинет. Он подошел и встал рядом с Галиной Степановной. Ему оказалось восемь лет. Он был одет в старенькую, выцветшую фланелевую рубашечку и в столь же выцветшие голубые штаны. На ногах его были белые девичьи сандалии, а в руках он держал две сушки, которыми его угостил кто-то из взрослых. Говорил этот мальчик очень плохо, и трудно было понять, что именно он произнес. Но Галина Степановна объяснила, что еще пару месяцев назад было много хуже.

— Я даже не стану говорить о том, что пережил этот мальчик,— говорит Галина Степановна.— И он ведь не один такой у нас.

И, отправив Георгия «погулять», она рассказала о том, как в больницу пришел мужчина лет семидесяти на вид, весь грязный, оборванный, пропитой, и стал грозить, что сейчас же покончит с собой. А дело в том, что у него только что дома родила жена, и в доме нет даже куска хлеба, изба не топлена, а кроме новорожденного, есть, оказывается, еще двое маленьких детей.

— Я пошла к ним и увидела такой кошмар! Немедленно увезла эту несчастную мать в роддом. Стала следить за этой семьей, пыталась отучить от пьянки, молилась за них. И вот с Божьей помощью нашлась одна женщина... Однажды пришел ко мне корреспондент писать какой-то очерк. Я рассказала о беде, и в «Тверских вестях» появилась заметка об этой несчастной семье. Вскоре откликнулась пожилая женщина, пенсионерка. И вот уже три года она им безвозмездно помогает. Семья эта постепенно встала на ноги, мать устроилась куда-то на работу, не пьют, а тому младенцу уже три с половиной года. Старшенькие же двое ходят в нашу церковноприходскую школу.

Когда проходишь по коридорам и лестницам бывшего екатерининского постоялого двора, невольно возникает вопрос: как в таких условиях удается лечить людей?

Галина Степановна отвечает не задумываясь:

— С Божьей помощью. Я на себя ничего не беру. Можете считать меня сумасшедшей, но, если надо решить проблему, я говорю: «Господи! Помоги мне, Ты же все можешь!» — и Господь помогает. Вот я вчера слегла, а у меня нет ни одного кочегара. Один запил, другой куда-то пропал, третий просто залег в больницу и заявляет, что работать не будет. Я говорю: «Господи, помоги мне!» — и вот сегодня пришли устраиваться кочегарами сразу двое мужиков, хотя я и не приглашала никого. Господь все посылает. Надо только верить, и вера все сделает.

Кстати, один из этих кочегаров, Владимир Валерьевич, из соседнего Радченко — научного городка, где находится институт, создающий машины по переработке торфа. Он закончил в свое время Калининский политехнический институт, имеет высшее образование и тридцатилетний стаж работы в этом самом научном институте. Сейчас, по его словам, институт «почти закрыли», всех сотрудников разогнали, и он случайно оказался в Городне.

— А чего вы удивляетесь? — сказал он мне.— Когда сюда ехали, рыбаков видели? Так это все наши бывшие работники. Там не то что я — кандидаты наук рыбу ловят! А потом на дороге продают. У меня и сестра закончила институт, а сейчас вот продавцом в киоске работает, и то лишь в ночную смену. На большее не тянет.

В больнице есть еще несколько одиноких престарелых жителей Городни. Персонал больницы ухаживает и за ними, делают, что могут, стараются облегчить последние дни старикам.

— Я сейчас живу как бы на стыке,— продолжает рассказывать Галина Степановна.— Вижу, как человек рождается и как уходит из жизни. И всякий раз наблюдаю одно и то же. Когда человек находится на смертном одре, он начинает думать и говорить о Боге: «Почему же раньше я об этом не знал? Так хочется побольше узнать о Христе, читать книги о Нем, но уже не осталось ни сил, ни времени». Почему же у нас, чтобы открылись глаза и душа, обязательно нужны какая-то личная трагедия или приближение смерти?

Галина Степановна очень благодарна тем жителям Городни, которые, зная, что есть нуждающиеся дети и старики, приносят свои старые вещи. Но и эту помощь она относит на счет Бога.

Спрашиваю у нее:

— Ну, хорошо, Бог вам помогает. Но есть ли что такое, что мешает?

Отвечает опять с ходу:

— Мне никто не мешает. Я благодарна каждому, кто хочет мешать, потому что он меня этим толкает еще выше. Я всегда отвечаю только добром, как и положено в православии. Однажды приехала по вызову: у нас тут одна молоденькая женщина родила. Лежит в доме одна, без мужа. Ничего нет. Не во что запеленать ребенка, нечем его умыть, нечем накормить... Сама она ни к чему не приучена. Мы ее, конечно, отправили в роддом, привели в порядок, и что вы думаете? Я еще никому ничего не говорила, а смотрю, приезжает батюшка с большой коробкой и говорит: «Вот вам вещи для новорожденного, может, найдется для кого». А через день вдруг соседи принесли детскую кроватку: «Может, найдется для кого». А ведь я никому не говорила, что у меня есть мать с новорожденным. Я просто просила у Бога: «Господи! Помоги этой женщине. Ей еще только восемнадцать лет, она нигде не работает, нет мужа, совсем разута, раздета...» Я просто верю, и вера меня спасает.

Я благодарю Галину Степановну за рассказ, но она не торопится прощаться, а зовет меня за собой, ведет «пушкинской тропинкой» мимо знаменитого колодца и выводит прямо на крутой берег, с которого открывается удивительный вид на уходящую в бесконечность Волгу и на такие же бесконечные леса вдоль ее берегов. Слева, как на ладони, видна церковь Рождества Богородицы. Все это сливается с синим небом и с вышедшим после дождя осенним солнцем. Село, больница, брошенные дети, несчастные старики — все вмиг куда-то делось... Так прячет наша бескрайняя природа наши бессчетные напасти.

Что же здесь изменилось за последние два века? Вот так же на этот (именно на этот!) волжский утес выходила и о чем-то думала императрица, здесь размышлял о жизни Радищев, стоял и грустил Александр Сергеевич...

За нами увязался маленький Георгий. Слыша, как я то и дело задаю вопросы — про «пушкинскую тропинку», колодец, Екатерину,— мальчик спрашивает у Галины Степановны: «А почему дядя такой большой, а совсем ничего не знает?»

— Я так благодарна Богу, что под старость Он мне послал эту землю,— говорит, прощаясь, Галина Степановна.— Я обрела здесь новых людей, занялась добрым делом. Ведь если мы с батюшкой доведем до ума эти семьи, этих детей, я буду считать, что не зря прожила на свете. Ведь я живу в самом центре России. Городня — это очень древняя земля, она появилась даже раньше княжества московского. Здесь зародыш всей Русской земли. Где же еще жить, как не здесь?..

Медное

«Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, люли, люли, стояла...» Хоровод молодых баб и девок, пляшут, подойдем поближе,— говорил я сам себе, развертывая найденные бумаги моего приятеля...»

А. С. Пушкин прочел главу «Медное», в которой рассказано о продаже семьи вместе с недвижимым имуществом, ужаснулся и на этот раз согласился с Радищевым «поневоле».

Действительно, в этой главе Радищев писал о фактическом рабстве, в котором находились крепостные, приводил наглядный пример их бесправия и безысходности.

«Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, люли, люли, стояла... «Хоровод молодых баб и девок...» — примерно такую картину я ожидал увидеть в Медном, какие-то зримые сюжеты из прошлого или хотя бы то место, где некогда кружил девичий хоровод. Вместо этого в центре деревни я увидел огромный типовой двухэтажный магазин. Напротив этого магазина стоит памятник Ленину. Здесь он не «зовущий», не «призывающий», а спокойно шагающий, вроде как революцию уже совершил и надо бы заняться делом социалистического строительства. Далее расположены местная комната милиции, пожарная часть, швейное ателье «Радуга» и медновская библиотека. Между милицией и пожарной частью обгоревшие развалины старинного кирпичного двухэтажного здания. В нем некогда располагалась почтовая станция, где останавливались в свое время Радищев и Пушкин. Здание сгорело год назад, но его никто не восстанавливает и, видимо, уже никогда не восстановит.

На этой же центральной медновской улице находится и Дом культуры, разместившийся в бывшей церкви. В нем не раз выступал перед солдатами знаменитый тенор Сергей Лемешев, родом он из этих мест. В 1941 году Медное было четыре дня в оккупации, и мне рассказывали, что многих жителей согнали в этот самый Дом культуры, заперли, и если бы не подоспевшее контрнаступление, то наверняка всех бы сожгли. В Медном есть памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну...

Я направился в трикотажное ателье «Радуга», имеющее сегодня статус «Товарищества с ограниченной ответственностью». Это ателье находится рядом с обуглившимися историческими развалинами и, значит, к путешественникам нашим имеет прямое отношение.

Заведующая ателье, Татьяна Николаевна, пятидесяти пяти лет, работник опытный и потому на всякий случай посоветовала дойти до медновской администрации. Затем все же стала отвечать на вопросы, видя, что начальство меня интересует мало, а сам я не произвожу впечатления засланного налогового инспектора.

Из ответов стало ясно, что после приватизации некогда мощную тверскую службу быта, к которой принадлежало ателье «Радуга», продали с молотка. Кто половчее, успел что-то ухватить и теперь неплохо живет, а они в деревне остались лишь со своим оборудованием, помещением и персоналом в восемнадцать человек. Это, конечно, для начала бизнеса немало, и какой-нибудь молодой начинающий Рокфеллер из этого сколотил бы капитал. Но то Рокфеллер, а здесь...

Продукция ателье — трикотажные жакеты, свитера, юбки, кофты, детские вещи. Раньше, когда предприятие обслуживало целых четыре близлежащих района, сюда поставляли пряжу, фурнитуру, существовал план, были специальные сбытчики продукции. А сейчас у работников ателье вместо этого та самая свобода, которую желали, о которой мечтали и за которую боролись многие поколения.

— Все теперь зависит от нас,— говорит Татьяна Николаевна.— Была плановая система, мы с ней жили, как могли работали, затем ее вмиг развалили. Но, чтобы перейти к рынку, нужен не один десяток лет. Надо научить людей жить самостоятельно, дать нам время на то, чтобы понять, что произошло и как быть дальше. Вот нас отсоединили от Твери. Ни рубля в кармане, ни сырья, ни транспорта, ничего... Свобода! Пряжу сейчас можно купить только в Москве, а машина туда-обратно обойдется в четыреста тысяч. Для нас это слишком большие деньги. Дешевле уж своим ходом: по две сумки в руки — и вперед. Заказы сейчас почти не поступают. У людей в Медном нет денег, а появляются — так им не до трикотажа. У нас все организации сельскохозяйственные встают. Птицефабрика, совхоз — на грани банкротства. Сейчас остановился инкубатор, а без него какая птицефабрика? Продают птицу, цеха закрывают. Быть безработице. В совхозе люди работают на голом энтузиазме. Денег совсем не платят. Выдают кое-какие продукты — и все. Пенсионеры по три месяца не получают пенсии... Старушки вон ходят, плачут. Хорошо, если есть силы чего-то прихватить, в лес сходить ягод набрать. Вот они яичками на дороге торгуют, яблочками, чтобы было хотя бы на хлеб. Пищу еще как-то люди берут, а одежду нет. Какие у нас могут быть теперь заказы? Сейчас вот неделю работаем, две стоим.

За сентябрь работники ателье произвели и продали товара на восемь с половиной миллионов рублей. Из них шесть с половиной заплатили налогов. Вот и все. Осталось им немного на зарплату, на сырье и электроэнергию.

— А может, налоги как-то можно обойти? — спросил и вместе с тем посоветовал я заведующей ателье.

— Да вы что? — изумилась Татьяна Николаевна.— Налоги — это самое главное. Их в первую очередь надо сдавать. Это по телевизору показывают, как крупные предприятия не платят. А мы платим. И остается у меня меньше двух миллионов. На восемнадцать человек! Отсюда и наша зарплата: самое большее — двести тысяч.

К разговору подключается Галина Викторовна, технолог ателье:

— Вы нам про рабство говорили, про Радищева. А мы сейчас свободны? Молодежи работать негде. Они или ринулись в торговлю, или сидят безработные. Заканчивают училища, техникумы, институты — и болтаются. Да и учеба сейчас вся платная. Мы от своей организации никого не можем отправить на повышение ква-

лификации. А ведь это важно — научиться вести дело или хотя бы знать законы. Мы ведь ничего не знаем. Даже газету экономическую не под силу выписать. Смотрим только телевизор. И что видим? Судьи не получают зарплату, милиции нечем платить, армия сидит без денег... У них есть сила, оружие, и то им не платят, а что про нас говорить? Может, в городах лучше? Так нет, в Твери Вагонный завод встал. И все крупные предприятия тоже стоят. Центросвар стоит, хлопчатобумажное предприятие у нас большое — тоже стоит...

Галину Викторовну спешит дополнить Татьяна Николаевна:

— Сельское хозяйство развалили. Если и выживают, то за счет старой техники. Землю ведь никто не берет, потому что на ней работать тяжело, сложно и нечем. Здесь есть деревни, где всего по одной лошади... Развалить развалили, а как дальше жить — никто не подсказал. Вон они друг друга грязью поливают и больше ничего не могут. Что при коммунистах было, что сейчас... У меня дети и внуки оказались за границей, в Виннице. Прошлым летом приезжали, а на будущее лето внуку будет шестнадцать лет. Уже нужны паспорт и деньги. Не знаю, увидимся когда-нибудь или нет. А ведь жили одной семьей...

Разговор продолжает Галина Викторовна:

— На то, чтобы воевать, деньги есть. Как можно при нашем-то положении воевать в Чечне? А на выборы президентские сколько ушло? А теперь еще в каждой области выборы. Триллионы уходят в песок, а толку? Вот сейчас на выборы, говорят, ушел весь районный бюджет, а детские пособия с марта не выплачиваются.

— А богатые в Медном есть? — спросил я собеседниц.

Отвечают обе, но ответ тут же сворачивают:

— А как же? Начальство, уголовные авторитеты. У них и квартиры, и дома, и машины... Своя рука — владыка. Все эти торговые предприниматели людей на работу не оформляют, никакой гарантии на зарплату, на будущее не дают: сегодня ты работаешь, а завтра они тебя выкинут. И некуда пойти жаловаться. Вот вам и свобода.

— Что же будет с Медным? — спросил я обреченно, уже не зная, о чем спрашивать.

Ответили сразу и очень мудро:

— Что будет со страной, то будет и с Медным.

Ну а что будет со страной, один Бог знает.

Перед тем как попрощаться, я попросил показать продукцию ателье и был удивлен ее качеством. Оно не шло ни в какое сравнение с импортным барахлом, коим забиты наши большие и малые магазины. Стоимость добросовестно связанного «толстого» свитера с большим процентом шерсти — девяносто пять тысяч рублей. Цен таких в Москве уже давно нет. Поэтому я один свитер купил, а еще несколько заказал для своих друзей, не сомневаясь, что удивлю их качеством, но еще больше тем, где эти свитера изготовлены. Забрать готовую продукцию надо было через две недели. С тем и покинул ателье.

А когда в оговоренный срок вернулся, то, к своему огорчению и удивлению, обнаружил, что заказ мой остался не выполнен. К удивлению, потому что был уверен: они разобьются, но свитера свяжут. Это же помимо прочего — полмиллиона рублей. Что же я услышал? Нету пряжи, нету транспорта, нету еще чего-то... Что же со всем этим делать? Что делать с людьми, миллионами людей, которые, получив свободу, тяготятся ею, мучаются и готовы (и даже рады!) вновь войти в оковы к тому, кто будет опять чего-нибудь «давать»: работу, колбасу, зарплату, квартиру... То есть свободу, как они ее понимают.

Все-таки интересно: о чем думают наши властные «реформаторы», когда говорят о свободе и демократии? На что надеются, провозглашая идеалы, прямо противоположные тем, которые веками внедрялись этим же государством в сознание народа? Подумал ли кто, прежде чем самонадеянно провозгласить толпе: «Свободны!» И ведь не просто провозгласили, а действительно освободили. Точнее, сами освободились, отпустив людей на все четыре стороны. И вот раньше народ наш был в рабстве у коммунистов, а теперь — в рабстве у свободы.

Так у коммунистов хоть что-то было. Коммунистическое рабство исправно осуществляли и поддерживали его полномочные представители. Эпоха террора, тотального насилия и лжи вытравила из людей даже мало-мальские представления о свободе. Тысячелетний страх, сконцентрированный государством в душах послед-

них двух-трех поколений, сделал эти души рабскими и покорными на десятилетия вперед. Этот же страх в соединении с абсолютной ложью предопределил идиллическое сосуществование жертвы-народа и его палача-государства.

Работник какой-нибудь медновской трикотажной фабрики, если и не был членом партии или комсомольцем, то «охваченным» был несомненно. А уж членом профсоюза был обязательно. На его предприятии обязательно праздновались Первое мая, День Победы, годовщины Октябрьской революции, отмечались встреча Нового года, Международный женский день, а также профессиональный праздник — скажем, День работников сферы обслуживания. Все эти даты отмечались не только официозными взятиями на себя повышенных обязательств, но и концертами художественной самодеятельности, танцами и вполне пристойными застольями с начальством во главе. Профком чего-нибудь подбрасывал: то шапки кроличьи, то мандарины, то дрожжи. Бывало, давали дешевые и даже бесплатные путевки в санатории. А Доски почета с «лучшими людьми», думаете, пустой звук? А еще был комсомол, который тоже чего-то устраивал. «Охваченная» молодежь ходила в походы по местам боевой славы, устраивала конкурсы художественной самодеятельности и спортсоревнования, боролась с пьянством и хулиганством. Были еще и пионерия, и шефская работа в школе, и все такое прочее, что, несмотря на показуху, каким-то образом организовывало жизнь людей и не давало особенно горевать по поводу своего рабства.

При всей нашей просвещенной ненависти к прежнему режиму, который принято называть «коммунистическим», давайте зададимся вопросом: сколько людей находились с ним в непримиримой вражде?

Не будем лукавить. В России власть ненавидят всегда. Ненавидели и власть коммунистов. Но в конфликте с властью большинство людей (советских людей!) не находились. Главным образом к ней относились равнодушно. Теперь же равнодушия меньше, чем ненависти. И, согласитесь, ненавидеть есть за что. Хотя бы за то, что власть презирает людей. Для коммунистов люди были «человеческим фактором», для нынешнего начальства людей, кажется, нет вовсе.

Пенсионеры жаловались, что им не платят пенсии, что в селе сгнили колодцы, не работают водопроводные колонки. Приходится за километр старушкам носить воду. Рассказали, как всем миром строили колодец: собрали деньги, а потом вручную, как могли, выкопали. Теперь к этому колодцу со всех улиц приходят за водой. В Медном нет бани, лишь фундамент уже лет десять стоит. А что такое баня для этой деревни? Свои, домашние бани строили в основном в тех деревнях, где не было общественной. Зачем частное, когда имеется общее? И вот баня в Медном разрушилась, а новую никак не построят. Старушки жалуются, что им приходится мыться в тазике, а в тазике какое мытье? Грех один, как писал когда-то Зощенко.

А пока одна старушка, не по годам бойкая, сказала: «Твоего бы Ельцина в этот тазик головой засунуть вместе с Черномырдиком, и пусть они там моются».

Пока мы разговаривали, прибежала еще одна старушка и скороговоркой прощебетала, что «приехала лавка, привезла масло в бутылках и соль», и потому надо скорее идти и брать.

— Что,— спрашиваю,— в магазине соли нет?

А она мне, непонимающему, отвечает:

— В магазине-то есть, милок, но там она стоит тысяча сто рублей за пачку, а тут — всего тысяча.

Вот так, за сто рублей они идут в другой конец деревни покупать соль. Потому что сто рублей для них значат очень много.

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Но некуда им идти. В Медном нет церкви. А до ближайшей далеко. Двое стариков, дедушка с бабушкой, которых я встретил на мосту через реку, сказали: «Мы-то, пока живые, еще ничего, потерпим, а вот умрем, как без церкви?»

С моста через Тверцу открывается очень красивый вид на Медное. Проезжающему путнику, особенно когда солнце и хорошая погода, проблем медновских не видать. На другой стороне Тверцы — широкий пологий берег, там же деревенское кладбище, а еще дальше густой лес. Сюда медновские жители ходят по ягоды и грибы. Вот здесь, на берегу, кружил девичий хоровод, где-то здесь они пели: «Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, люли, люли, стояла...»

Торжок

В этой главе приводятся размышления о цензуре «человека, отправляющегося в Петербург», за которым угадывается сам А. Н. Радищев.

Пушкин, держа в руках запрещенную книгу, не без сарказма замечает: «...любопытно видеть о сем предмете рассуждение человека, вполне разрешившего сам себе сию свободу, напечатав в собственной типографии книгу, в которой дерзость мыслей и выражений выходит изо всех пределов».

Вслед за Радищевым он и сам размышляет о цензуре:

«...Писатели во всех странах мира суть класс самый малочисленный изо всего народонаселения. Очевидно, что аристократия самая мощная, самая опасная есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не могут устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно.

Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек:...» — здесь просится восклицательный знак, однако у Александра Сергеевича всего лишь двоеточие, после которого следует существенное добавление — «...в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом».

А далее и вовсе нечто странное. Пушкин ратует за цензуру, как будто, кроме Александра Сергеевича, этим более некому заниматься: «...книги, как и граждане, ответствуют за себя. Есть законы для тех и для других... Разве речь и рукопись не подлежит закону?»

Как же обидно все это читать, особенно сейчас, когда стало возможным не только свободно публиковаться, но и публиковать. Сколько поколений мечтали об этом! Благодаря гласности мы прочитали все самые значительные произведения, которые много лет были от нас сокрыты, узнали имена людей, боровшихся с ненавистным коммунистическим режимом, да и сам режим, как только его чуть засветили, тут же пал под напором разоблачений.

Но внедрителей гласности может поблагодарить и отечественное начальство, которое в отличие от коммунизма осталось. Великое ее открытие состояло в том, что свобода говорить и писать имеет огромное значение лишь при одном условии: когда все это кто-то слушает, читает и воспринимает. В противном случае наличие гласности мало чего меняет: одни говорят и пишут что хотят, другие ничего этого не слышат, не знают и знать не желают.

«Вот дураки были коммунисты,— говорил мне как-то один начальник, сам бывший коммунист,— запрещали людям говорить. Пусть бы болтали сколько угодно. Выговорится человек и успокоится. А еще лучше — позволить ему написать в какую-нибудь газету. Опубликуется — и доволен: вот, дескать, поднял вопрос. Так и начальство в этом случае довольно: ведь у нас, если «подняли вопрос»,— значит, уже его и решили».

А вспомним, как во времена всеобщего запрета и цензуры читали книги или статьи. С карандашом в руках, внимательно, скрупулезно, по нескольку раз. Искали подтекст, контекст и прочие замысловатые штучки. А найдя, как радовались! Несли это друзьям, знакомым, в массы. И массы возбуждались, прозревали, делали выводы и лишь ждали, кто позовет за собой. Бывало, ради одной только строчки покупали газеты, журналы, книги, многотомники и читали, читали, читали... Выйдет какая-нибудь дрянь какого-то мерзавца, ее вмиг раскупали и до дыр зачитывали. А почему? Да потому, что там оказывались несколько «новых» цитат из Бердяева. А тот мерзавец, между прочим, их туда и вставил с таким умыслом, чтобы книжку раскупали. При этом он умудрялся прослыть либералом, страшно смелым, почти отчаянным: надо же, экзистенциалиста в книжку вставил. А то, что крыл философа на чем свет стоит, так это чтобы как-то донести его до пытливого читателя. Ведь чем больше ругаешь, тем больше цитат дозволено. Эзопов язык, так сказать.

А сейчас? Тот же Бердяев — на каждом углу, в каждой лавке. Он самый читаемый философ, видимо, скоро войдет в школьные программы и станет, как наш

Александр Николаевич Радищев. Одним словом, это очень сложная и загадочная тема: запрета или дозволения печатного слова,— и потому мы ее касаемся бегло и только в связи с тем, что была она поднята нашими путешественниками именно в Торжке.

Город Торжок, которому более тысячи лет, описывать негоже. Это все равно, как если бы мы решили рассказать о Красной площади в Москве. Конечно, Торжок — не Москва, но и о нем сказано и написано довольно много, и какие-то исторические открытия здесь совершить трудно. Мы можем предположить, что у этого города, как и у Парижа, основная история позади. Все самое значительное, что только могло случиться с городом, уже случилось. Его и захватывали, и разрушали, и разоряли, причем если монголо-татары захватили единожды, то русские князья и цари нападали на бедный Торжок, как не знаю на что, и грабили, грабили, грабили... Не могли взять Новгород, так отыгрывались на Торжке. Но город, как говорится, выстоял, и России, конечно же, повезло, что у нее есть такой замечательный городок. Повезло ли Торжку, сказать трудно. Ведь если бы он находился, например, в Бельгии, то, безусловно, это был бы город не хуже Брюгге. Его бы привели в порядок, восстановили многочисленные храмы, монастыри, церквушки; засверкали бы всевозможные старинные постройки; обновились бы мостовые и площади; открылись бы для посетителей и туристов со всего мира старинные гостиные дворы с бесчисленными магазинами и кафе, а по Тверце, берега которой были бы обустроены садами и усадьбами, поплыли бы во все стороны корабли с товаром из Торжка: кружевным шитьем золотом, серебром и шелком по сафьяну и бархату... Да от одного золотошвейного промысла уже вся Европа пала бы перед Торжком ниц. И не только Европа.

Но Торжок — город наш, родной, российский и потому к вышеуказанной идиллии пока не готов и, может быть, никогда не изготовится. Поэтому его исторические ландшафты остаются неменяемыми, а архитектура неприкасаемой. То есть все, как стояло, так и стоит, постепенно разрушаясь. Попытки восстановить то или иное историческое здание, конечно, предпринимаются, но объем старины в городе таков, что осилить его реконструкцию под силу только очень богатому краю, с богатыми гражданами или же при участии государства. Но государству нашему вообще не до того. Вот разрушать и завоевывать — это да, а строить... Какой уж там Торжок, если за десять лет, как было сказано, даже баню в Медном построить не могут.

Знаменитая гостиница Пожарских, в которой Пушкин останавливался и ел котлеты, уже десять лет стоит в лесах. Недалеко от нее, на улице Дзержинского, в деревянном одноэтажном особняке Олениных, расположен музей имени Пушкина. Узнав о моем интересе к путешествиям Радищева и Пушкина, сотрудники музея порекомендовали встретиться с автором книги, в которой описывается все, что касается поездок А. С. Пушкина по трассе Москва — Петербург. Однако меня в тот момент больше интересовала тема цензуры. Поэтому я направился в редакцию одной из местных газет.

«Новоторжский вестник» — а именно в редакцию этой газеты я пошел из музея — издается с ноября 1917 года и является главной общественно-политической газетой района. Перед тем как зайти в редакцию, я приобрел в киоске номер этой газеты и внимательно его просмотрел.

На первой полосе, как это водится, представлены официальные материалы, среди которых особо выделено поздравление глав администрации города и района по случаю Дня работников автомобильного и дорожного транспорта. (Мы уже знаем, что без подобных поздравлений редко какая газета обходится.)

«Уважаемые работники автомобильного транспорта и дорожного хозяйства! Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником.

Автомобильный транспорт — связующая артерия народного хозяйства...» и т. п.

Как и в клинской газете «Серп и молот», в новоторжской тоже особо представлена социальная тематика. Сообщается, в частности, о том, что глава администрации подписал два постановления, «направленных на социальную защиту детей из неполных семей и находящихся на опеке». Администрация предписывает отделу социальной защиты населения «организовать выдачу продуктов из расчета по 75 тыс. рублей на семью, не получающую пенсии по опеке или потере кормильца и состоящую на учете в городском отделе народного образования». Другим постановлением

администрация обязывает тот же отдел «организовать выдачу продуктов из расчета по 100 тыс. рублей на семью, где воспитывается более двух детей при отсутствии отца и не получающую алиментов».

Вопрос только в том, насколько все эти «предписания» и «обязательства» выполняются и скольким семьям так помогли?

Также мое внимание привлекло письмо в редакцию, подписанное группой пенсионеров. Вот его содержание:

«До недавнего времени мы, пенсионеры улицы Студенческой и других улиц этого микрорайона, были очень благодарны руководству опытно-производственного хозяйства им. Ленина за то, что хозяйство продавало нам разливное молоко по доступным ценам. Сейчас доставку молока из хозяйства прекратили, и мы остались без этого необходимого продукта. Говорят, нашли более выгодные пути реализации.

Мы обращаемся с большой просьбой к руководителям колхозов и совхозов района наладить доставку молока в наш микрорайон. Достаточно будет привозить молока два-три раза в неделю. Место стоянки — асфальтированная площадка рядом с центральным телеграфом.

Очень надеемся на понимание».

Придя уже подготовленным в редакцию газеты, я был любезно принят ее главным редактором.

Олег Ильич, так его зовут,— немолодой человек, которому вот-вот исполнится шестьдесят, с неторопливыми манерами, размеренной речью и внимательным взглядом, который отличает людей его поколения и его профессии при неожиданных встречах. Он сидел за традиционным т-образным столом, в довольно просторном кабинете, за спиной у него висел инкрустированный портрет Ленина, видимо, стоящий на балансе редакции, а на противоположной стене — панорама Торжка. Олег Ильич курил дешевые отечественные сигареты, которые беспрестанно тухли, но он с такой же настойчивостью их прикуривал вновь.

Я представился обозревателем одной из московских газет и, сославшись на путешествия Радищева и Пушкина, сообщил, что привело меня к нему то обстоятельство, что здесь, в Торжке, ими обсуждалась тема цензуры. Кто как не главный редактор газеты может помочь в этом вопросе и пролить свет на нынешнее состояние этой проблемы?

Из беседы я выяснил, что Олег Ильич работает в газете тридцать лет, из которых двадцать семь главным редактором. Он возглавлял редакцию еще в те времена, когда первым секретарем горкома партии был Кобылин, правивший городом двадцать три года.

— Это был исключительно порядочный и умный человек, настоящий руководитель и отзывчивый товарищ,— вспоминает о нем Олег Ильич, глядя на панораму Торжка сквозь густой табачный дым.— Он никогда на нас не давил. Мы печатали в газете все, что хотели. Он мог лишь иногда, как бы мимоходом, сказать нам по-товарищески: мол, зачем вы, товарищи, дали статью про разваливающуюся деревеньку? Что, у нас хороших деревень в районе нет? Нехорошо, товарищи. И все. Больше никак не вмешивался. Вот какая у него была цензура в то время.

Олег Ильич входил в свое время в бюро горкома партии и, по его словам, всегда отстаивал там свою особую точку зрения.

Спрашиваю Олега Ильича, как он оценивает нынешнее состояние страны и города.

— Мнение мое одно: нам надо работать. Производство возрождать.

И далее главный редактор рассказал об уникальных производствах города, таких, как завод «Марс», который обеспечивал электроникой оборонную и космическую промышленность; завод «Витязь», выпускавший уникальные изделия, в том числе сердечные клапаны, которых нет нигде в мире,— теперь этот завод еле сводит концы с концами; есть в Торжке мясокомбинат, который мог бы обеспечить продукцией весь Торжок и еще Москве бы отдавал. Раньше строили в Торжке двадцать две тысячи квадратных метров жилья, а в этом году, по словам Олега Ильича, будет хорошо, если осилят пять.

— У нас есть производство, на котором делают уникальную пожарную технику. Лучшую в мире на сегодняшний день. У них пожарная лестница выдвигается на сорок пять метров! И сейчас делают еще бóльшую. Так этот завод, можно сказать, стоит. Или другой завод, вагоностроительный. Он работал на оборонку и выпускал

спецвагоны для перевозки секретных военных грузов, а сейчас перешел на строительство электричек. Отличные электрички! В последний раз приехали за нашими электричками сразу три представителя: из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. И ни у кого нет денег. Говорят, мы заберем, а потом расплатимся. Но когда это «потом»? Отдают, конечно, электричку: чего ее здесь держать? Но за нее потом расплачиваются чугунными болванками и прочей ерундой. А рабочим-то нужны деньги. А электричка — прекрасная!— еще раз с гордостью произносит Олег Ильич.

Но в Торжке есть предприятия, которые живут хорошо. Например, завод полиграфических красок. Он единственный в России и выпускал в свое время девяносто три процента всей полиграфической краски в стране. Завод этот, хотя и сокращается, но все же работает, а рабочие там получают относительно высокую зарплату: от пятисот тысяч до миллиона.

— Мы еще как-то держимся. Понимаем, что из пушки по воробьям не стреляют. На то, что делается в «верхах», мы воздействовать не можем. Но что касается города, то здесь мы стараемся что-то делать.

— А бывает, чтобы вы чего-то не напечатали по цензурным соображениям?— вернулся я к изначальной теме, от которой был ловко уведен многоопытным редактором.

— Нет, такого не бывает. Я даю всем возможность высказать свое мнение. Единственное, чего не даю,— это когда темные дела. Вот мы не печатаем сейчас нашего прокурора, хотя на меня давят руководитель администрации и его замы. Даже пообещали посмотреть на мою работу в будущем...

— Вас могут уволить?— забеспокоился я за Олега Ильича.

— Ну как «могут»? Наши учредители — городская и районная администрации и коллектив газеты. Если они все согласятся, то могут и уволить. Но, с другой стороны, они нас финансируют. Так что могут не увольнять, но перекрыть кислород и сказать: «Нет денег!» То есть и не виноват никто и газеты не будет. Вот такая сейчас цензура. На финансовом уровне.

Я поблагодарил Олега Ильича за беседу и спросил, не знаком ли он с автором книги о пушкинских путешествиях по этим краям. К счастью, В. Ф. Кашкову он знал хорошо и по моей просьбе тут же связался с нею по телефону. Через двадцать минут я уже был в квартире у Валентины Федоровны.

В трехэтажной «хрущевке» — двухкомнатная квартирка. Чистота. Простота. Уют. Из окон вид на Тверцу. На другом ее берегу — церковь, видом которой Валентина Федоровна дает полюбоваться и мне. Более сорока лет преподает она в местном педучилище русскую классическую литературу. От рождения — новоторка. Ну а характер новоторов древние летописи отождествляют с новгородским: «беша бо человеци суровы, непокорови, упрямчивы, непоставни (неудержимы)...»

Ее книга — о Пушкине, пушкинских странствиях по дорогам России*, по этой самой дороге, между двумя столицами. «Мне путешествие привычно и днем, и ночью — был бы путь...» — такой эпиграф у этой книги.

— Случилось со мной счастливое обстоятельство, что я живу на этой дороге,— рассказывает Валентина Федоровна.— Если для Александра Сергеевича это, с одной стороны, география, с другой — человековидение, то для меня здесь географии нет. Эта дорога — моя родина, моя жизнь, судьба. На этой дороге жили мои предки, здесь моя, уходящая корнями вглубь история. Написать книгу о путешествиях Пушкина по этой дороге мне хотелось давно, и подобралась к ней не сразу... Не люблю выражений: «пушкинист» или «занимается Пушкиным»... Я Пушкиным не занимаюсь, и я не пушкинист. Просто его люблю. И в течение сорока лет встречаюсь с ним, преподавая литературу. Еще до того как в наших краях, называемых «пушкинским кольцом», стали открывать музеи, мы искали и собирали материалы и нашли много интересного, во многом непонятного до сих пор. Я часто думаю: что именно — счастье или, наоборот, несчастье — привлекало его к нам в Тверскую губернию? За сотни верст, осенью, по бездорожью в глушь тверскую едет, чтобы закрыться здесь в четырех стенах и писать. Почему? Ведь четыре стены были и в Петербурге, можно было уединиться и там...

* Кашкова В. Ф. Пушкинский путеводитель. Тверь, 1994.

Простите, читатель, но здесь я осторожно прервал рассказ Валентины Федоровны, чтобы успеть спросить о конкретном путешествии Александра Сергеевича, о том самом, по следам которого мы с вами едем. Ответ меня обескуражил.

По словам Валентины Федоровны, в действительности путешествующий человек не совсем Пушкин и даже скорее совсем не Пушкин. Это лишь его герой, которого поэт придумал с тем, чтобы оставить за собой право более свободно излагать свои мысли.

— Так что же, выходит, он и не ехал в этой своей кибитке?— возмутился я.

— Это было задумано как литературно-публицистическая статья, а не как воспоминания, записки или мемуары. Если он будет только биографичен — вот я, Пушкин, камер-юнкер и об этом пишу,— то многое должно было бы измениться. Например, не осталось бы такой подтекстовой иронии над самим собой, а там ее много. Какой это путешественник? Сидел пятнадцать лет дома, в Москве, потом узнал, что проложили новое шоссе в Петербург, и поехал его посмотреть, а посмотрев, удивился. Он относительно добродетельный; не Бог весть какого ума, но и не глуп; интересуется литературой, стихосложением, почитывает Радищева и вообще не такой простачок, каким кажется на первый взгляд. У него, конечно, средний уровень представления обо всем, поэтому читателю легко его обойти, подняться в чем-то выше уровня его суждений... Невольно увлекаешься, попадаешь в ловушку и начинаешь думать: «Вот ведь, даже Александр Сергеевич этого не увидел, такого не заметил, этого не знал, а здесь он вон какой нехороший...» Но это все-таки не Пушкин, а лишь его герой.

— Так, значит, и книгу Радищева Пушкин читает не впервые?— спросил я Валентину Федоровну, уже совсем разочарованный крахом своих литературоведческих «открытий».

— Да это путешествующий открыл ее впервые! А сам Александр Сергеевич ее знал досконально. Не было образованного человека в то время, кто бы не знал и не читал эту книгу. Такой человек просто бы перестал себя уважать. Радищев был совестью своего века. Можно было в чем-то с ним не соглашаться, спорить, но не знать эту книгу было бы для образованного человека позором.

— То-то меня несколько смутил тон, каким Пушкин пишет о Радищеве,— признался я Валентине Федоровне.— Ругает его... Постоянно недоволен... Цензуры требует...

— Это опять-таки говорит не Пушкин, а его путешественник. Конечно, сам Александр Сергеевич тоже не согласен с некоторыми представлениями Радищева. Например, с тем, что он полагался на революцию, считая, что только она может изменить мир к лучшему. Пушкин, живший в повзрослевшем на полвека мире, пережив Французскую революцию, полагается больше на просвещение, на мирную реформацию общества. И не один Пушкин так думал. Людей отчаянно революционных было не так уж много, потому что люди видели плоды революции во Франции, знали, что такое гильотина, и понимали, что человек после революции не стал счастливее. Если бы у Пушкина эта статья была дописана до конца, то любопытно, к каким выводам он привел бы своего путешественника? И как бы он сумел соединить эти две присутствующие у него линии — своего героя и самого себя, Пушкина, который находится постоянно в дороге? Недаром ему однажды сказали: «Пушкин, вы живете на большой дороге». Он двадцать семь раз проехал через Торжок!

— Но многие,— говорил я Валентине Федоровне в свое оправдание,— совершенно определенно считают, что это и есть Пушкин, и полностью соглашаются с теми оценками, которые он дает Радищеву.

— Все гораздо сложнее. Представьте, что с тех пор, как Радищев запрещен, прошло полвека, выросли два поколения. Поэтому Пушкин находит способ вернуть его читателям. Посмотрите, сколько он его цитирует. Надо внимательно перечитать статью и постараться понять, как все в ней непросто. Я думаю, что именно потому, что так все непросто, Пушкин и не дописал ее до конца. Поднять руку на Радищева и постараться его уничижить — это не Бог весть какое достоинство, и для Пушкина, я думаю, не было бы подвигом. Никто, собственно, этого не сделал никогда. Радищев мог в чем-то ошибаться, высказываться слишком восторженно, выспренно, но ему нельзя отказать в человеческом подвиге. Он выстрадал себя, и это надо понимать, когда мы оглядываемся назад. Мы очень самонадеянно судим всех: этот понял, этот не до конца, а этот не понял совсем... И Радищев, и Пушкин жили в свой век, и оба ненавидели рабство. Слава Богу, это была святая ненависть. Но

кто сегодня скажет, что он любит рабство? Радищев был особо почитаем во времена Советской власти, но сама эта власть загнала крестьянина в еще большее рабство. Лишила документов, права передвижения, выезда... А сейчас? Во все времена человек находился в поиске правды. И каждое поколение, в каждом столетии, ведет свой поиск в поте лица, в страданиях и утратах. И, может быть, когда-нибудь кто-нибудь отыщет эту правду на своем пути, может, на этой самой дороге... Но все равно придут новые поколения и вновь будут искать.

Александр Сергеевич,— продолжала рассказывать Валентина Федоровна,— на эту статью делает три захода. Три раза берется за нее с интервалом в полтора года. Это хитрая статья, и понять ее до конца никто не может. По поводу этого очерка есть специальные работы, и они тоже неуверенные, хотя их пишут люди с именами. Каждый пытается по-своему осмыслить, и мы не вправе в этом никому отказать. Но мне так и не понятно, что заставило Пушкина положить эту статью в стол? В ней так много страдальческого, личного, невысказанного, того, чего он так и недописал... Он так и не «доехал» до Петербурга и остановил своего путешествующего здесь, в Вышнем Волочке.

Я покидал Валентину Федоровну в восторге и смятении. Как быть дальше? Кажется, что все мои представления разрушены, как и разрушена конструкция книги: тот, кого я считал Пушкиным, оказался им лишь отчасти, и остается только гадать, каково соотношение в том или ином эпизоде, сюжете, высказывании между Пушкиным и его героем. А сам Александр Сергеевич тоже хорош... «Ловушки» всякие. Теперь что же, все переписывать сначала, с объяснениями и дополнениями? Делать вид, что все знал заранее: и про «путешествующего», и про книгу Радищева? Нет. Пусть уж все остается, как есть. Поедем дальше по дороге в Санкт-Петербург, уже зная, что здесь Александр Сергеевич не просто проезжал много раз, а буквально жил, искал свою правду, уединяясь в этих краях. Он скрывался от столицы, от бомонда и суеты, от той России, которая, по нашей книге, заканчивается в Черной Грязи, в другую, которую старался понять, любил, ненавидел, которой восхищался, от которой бежал, но вновь и вновь возвращался.

«Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство»,— писал он в сердцах своему другу Вяземскому. Не это ли эталон патриотизма? Нашего патриотизма.

Он и похоронить себя велел не там, где почитаем, известен и любим, не в столичном пантеоне российской славы и величия, а здесь, в глубине России, которой еще не знаком, коей неведом.

Желая быть похороненным в сельской глуши, в российской провинции, Пушкин как бы показывает, где его Россия и с кем он до скончания века. Но и нам всем, и самой России он гробом своим тоже подсказывает, где надо быть и в чем искать свое Продолжение.

Деревня Прутня находится недалеко от Торжка, примерно в пяти километрах в стороне от трассы. А знаменита Прутня тем, что здесь покоится прах Анны Петровны Керн. Не знаю, кем была она для Пушкина — подругой, любовницей, просто временным увлечением, но именно ей поэт посвятил свои строки, которые знает у нас каждый с самого раннего возраста. И если она вызвала у Александра Сергеевича такое вдохновение, то, видимо, чего-то стоила. Кстати, там было не только «чудное мгновенье», но и более сложные отношения, отраженные в пушкинских письмах. Когда умерла А. П. Керн, ей было уже почти восемьдесят лет. Ее везли хоронить в ее имение, но по каким-то причинам, вроде из-за распутицы, не довезли и похронили здесь, в Прутне.

Могила Анны Керн находится на старом погосте у церкви, которая вот уже несколько лет как вновь открыта для прихожан. На ограде, перед входом в церковь, вполне земное объявление:

«УВАЖАЕМЫЕ НОВОТОРЫ И ГОСТИ!
ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬТЕ МИЛОСЕРДНЫ К УСОПШИМ
И КРАСОТЕ ЗДЕШНИХ МЕСТ
ОКОЛО ХРАМА НЕ ГУЛЯЙТЕ С СОБАКАМИ,
НЕ СОРИТЕ, НЕ ПЬЯНСТВУЙТЕ, НЕ НАРУШАЙТЕ ПОКОЙ.
ДА ХРАНИТ ВАС ГОСПОДЬ БОГ».

Когда я подошел к могиле, ни рядом, ни вокруг не было ни одной живой души. Только поразительная тишина. На могиле простая каменная глыба, на которой начертаны даты рождения и смерти (1800 —1879) и все те же пушкинские строки:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Я обошел церковь и направился обратно к трассе. Немного проехав, заметил одинокую старушку, которая шла в ту же сторону. Остановившись, я решил ее подвезти и поспрашивать об А. П. Керн.

— Народу бывает очень много,— стала рассказывать старушка.— Приезжают на могилу посмотреть, где она похоронена. Даже из больших городов приезжают. Приходит много молодоженов. Их расписывают по пятницам и субботам, и вот они приезжают всей свадьбой сюда.

— Сюда?— удивился я.

— А больше им некуда ехать. Они приезжают к Анне Керн, кладут цветы, вынимают бутылки, закуску, раскладывают на лавочке и выпивают. Выпили, закусили, на Анне Керн побыли и поехали. Вот и все. Им больше некуда ехать. Конечно, батюшка возмущается. Их ведь много приезжает, и они здесь смеются, шумят, бутылки бросают, фантиками сорят... А нам ведь все это надо убирать. Это же кладбище.

Мы уже подъехали к месту, куда следовала старушка, и я лишь успел спросить, как ее зовут.

— Бабушка Нина,— добродушно ответила она и, прощаясь, сказала мне: — Спаси вас Господи!

Ведь я подвез ее не потому, что хотел помочь пожилой женщине, а только потому, что мне было нужно расспросить ее про Анну Керн. Кому же, как не мне, надо спасаться?

Выдропужск

Автомашины проносятся мимо этого селения и даже немного над ним, потому что трасса в этом месте проходит по мосту через реку Тверца. Успеваешь заметить лишь серые крыши однообразных ветхих изб да слева от дороги церковь — единственный светлый образ на унылом пейзаже села. Проезжающий путник с Выдропужском даже не соприкоснется. Так, глянет направо, налево, если в первый раз, обратит внимание на странное название, а через минуту уже новый пейзаж, иные ассоциации...

Название этого селения тоже будто бы связано с Екатериной Второй, которая останавливалась здесь в специально для нее возведенных постройках. Их развалины можно увидеть на подъезде к селу. Вроде бы императрица, прогуливаясь здесь по берегу Тверцы, вспугнула выдру, до этого спокойно обитавшую в тихой заводи. Выдре-то без разницы, кто ее вспугнул: императрица или пастух. Прыг в воду и ушла на глубину, а для людей — все наоборот. И потому этот едва уловимый для выдры и монаршьего величества миг местной округой был воспринят как знаменательное историческое событие, стоящее того, чтобы сменить прежнее название — Выдобожеск на новое — Выдропужск. Так это было или нет, сейчас уже никто точно не знает, но история достойная и гораздо привлекательнее всех научных версий на этот счет.

Вообще, проехав уже больше трети пути в Санкт-Петербург, я убедился, что в этих придорожных селениях нет исторической личности более известной и почитаемой, чем Екатерина Вторая. Ее, побывавшую здесь более двухсот лет назад, кажется, помнит и стар и мал, и название едва ли не каждого населенного пункта связывают с ее именем. Вот что значит для народа нашего, если вдруг рядом с ним однажды проедет матушка-императрица!

А пока мы сворачиваем с шоссе и оказываемся посреди села.

Увидав двух старушек, я направился к ним, чтобы узнать, где находится местная библиотека. Мне ответили, что такой здесь нет. Спрашиваю о старых построй-

ках. Отвечают, что у них все постройки старые. Пытаюсь узнать о Радищеве, говорят, что такой здесь не живет.

— Может, вы и Пушкина не знаете?— спрашиваю с упреком.

— Этого знаем. Кто ж Пушкина не знает? Но они ведь все раньше жили. Давно. Вам надо у старых людей спросить,— говорит одна из старушек.

А другая посоветовала идти в администрацию, к начальству:

— Оно, начальство, все знает.

Раскроем книгу, подаренную Валентиной Федоровной.

«Выдропужск был одним из древних поселений на Тверце, он входил в Бежецкую пятину Новгородской феодальной республики. В летописных источниках XIII—XV веков он именуется селом Выдобожск (или Выдобожеск в другом написании).

...Выдропужск был крупным ямом и торговой пристанью на судоходной реке. Его значение увеличилось с введением в строй Вышневолоцкой системы. В первой трети XIX века за одну навигацию через Выдропужск прогоняли до 9—10 тысяч судов. Ежегодно здесь проходила богатая Ивановская ярмарка, на которой главными предметами торговли были лес, бондарные, шорные изделия».

Вот, оказывается, что здесь было. А ведь, глядя на старушек, не подумаешь.

В Выдропужске я отыскал директора школы — Ольгу Алексеевну, очень деловую, энергичную и яркую женщину, организующую всю работу сельской школы, а уже она представила меня заведующей музеем. Оставив нас, директор умчалась решать какие-то неотложные школьные дела.

Заведующая музеем, Валентина Николаевна, невысокого роста, с короткой стрижкой пожилая женщина с поразительно добрыми глазами и тихим, ровным голосом.

Сам музей очень небольшой. Он занимает всего одну комнату, видимо, бывший класс. Но в нем уместилась вся история Выдропужска с древнейших времен. Здесь тихо, чисто, светло, на полу постелены коврики. По всему видно, что музеем дорожат, что это не бутафория и не витрина.

Вот самое начало выдропужской истории, связанное с Новгородской феодальной республикой; выдержки из различных исторических работ; упоминание о Льве Толстом, Салтыкове-Щедрине, Белинском — все они, как и Радищев с Пушкиным, проезжая из одной столицы в другую, не могли миновать Выдропужск. Останавливались здесь, меняли лошадей и двигались дальше.

Похоронен в Выдропужске русский языковед, член-корреспондент Академии наук Петр Алексеевич Лавровский (1827—1886). Ему посвящен специальный стенд. Упоминается, что он ученик и последователь И. И. Срезневского. Кто сейчас помнит эти имена?

Здесь же старинная одежда: подвенечное платье и старинные туфельки, которые когда-то надевала невеста; рядом — демисезонное пальто с плеча господина, некогда проживавшего в селе, и тут же — старинные ботинки с галошами.

Целый угол отведен предметам быта: валдайские колокольчики, старинный самовар и его современник — утюг, разогревающийся у печки, и еще один утюг, «работающий» на углях; керогазы — спутники жизни многих поколений; совок для круп, сахарного песка и прочих сыпучих продуктов; рядом скалка, которой при стирке катали белье, и специальная деревянная колодка для сапожного ремесла; здесь же — старые горшки, в которых некогда варились деревенские щи да каши; возле них прялка с куделью и специальная мялка, которой женщины мяли лен; вот умывальник, которым когда-то пользовались жители села, да и сейчас он пригоден: воды налил — и умывайся; вот плетеный лопаточник, в который кладут брусок, чтобы безопасно наточить косу, и здесь же старинные лопаты; а вот старинный дорожный сундук, сделанный из прутьев, рядом сумка, лампада, старое зеркало; вот косарь, которым щипали лучину при растопке печи, и тут же — специальные щипцы, чтобы обрывать огарки, когда стелят лучину...

Экспозиция украшена вышитыми салфетками, красивыми скатертями и аккуратно расположилась в одном из углов музея, оформленного под старинную русскую избу. Все это кому-то может показаться лишь кучей хлама, но здесь это часть истории и не только Выдропужска. И, между прочим, пока я осматривал музей, появились еще два экспоната: монету XVII века принес завхоз школы, а гильзу от

крупнокалиберного пулемета времен Великой Отечественной войны передал Валентине Николаевне один из учеников.

Далее на стендах представлен период Октябрьской революции. Здесь и первые активисты села, и оригинальные документы: трудовые книжки, «Книга по сбору товара и платежам», планы посевов. Вот номер газеты «Выдропужская Новь». Сейчас ее уже нет. Впрочем, сейчас нет никакой.

Все экспонаты выставлены на специальных небольших стеллажах, под стеклом. Здесь же ордена, медали, чей-то мандат, записная книжка, еще какие-то документы. Рядом стоит старинный граммофон.

Вот под стеклом военная фуражка и парадный офицерский мундир со всеми регалиями. Это форма бывшего ученика школы А. Ф. Райкова, который очень помог при создании музея. Его уже нет, а форма хранится и как память о нем, и как достойный экспонат.

Далее идет стенд под названием «Четыре года, опаленные войной». Здесь представлены герои-фронтовики, защищавшие большую Родину — СССР, и малую — родной Выдропужск. И защитили, не пустили фашистов сюда, хоть и были они совсем рядом. И, может, Николай Загорский, в одиночку пять часов сдерживавший под Воронежем врага, защитил и Выдропужск. Ценой своей жизни. Кто пять часов сдерживал, кто шесть, кто два, а кто всего минуту продержался или даже того меньше. За минуты и часы отдавали жизни. Так сложились цифры: с одной стороны — четыре года, с другой — двадцать шесть миллионов...

Н. И. Загорский, Ю. А. Синицын, А. Ф. Райков, Н. А. Морозов, М. В. Малышев, В. С. Сергеев, С. Г. Бровцев — всем им посвящены стенды, обо всех помнят, всех чтут. На фотографиях они гордые, мужественные, непобежденные, уверенные в будущем и своего села, которое защитили, и страны, которую спасли.

В оккупации Выдропужск не был, но его бомбила фашистская авиация. И одна семья погибла. Валентина Николаевна рассказала, как не стало Косаревых:

— Вечером тетя Маня получила похоронку. Такое горе, все плакали, рыдали, потом все же легли спать. У нее в доме свекровь и две девочки были: одной — девять лет, другая — еще грудная. А ночью налет и точно в их дом попала бомба. Вот как бывает! Днем — похоронка, ночью — бомба. Бабушка спала у печки, а девочки — на кровати, с матерью. Все погибли, кроме девятилетней девочки. Как она спаслась, неведомо никому.

Далее в музее представлены герои «трудового фронта», которые работали здесь в колхозе, восстанавливали хозяйство. Вот на специальном стенде знаменитая на всю страну ткачиха Валентина Гаганова. Она тоже из этих мест. Когда-то жила и работала здесь, неподалеку. Сейчас на пенсии, слава Богу, жива, здорова. А вот бессменного председателя колхоза М. С. Зайкова уже нет в живых, но его здесь помнят.

Последний стенд — уже о наших днях. Он рассказывает о семье здешних фермеров Сергеевых.

— Сейчас похвастать Выдропужску нечем,— тихо, с сожалением говорит Валентина Николаевна.— Как реорганизовали колхоз, так... короче — развал. А вот у Сергеевых есть чему поучиться. Они и свои семьи обеспечивают, и государству от них выгода. Живут недалеко, в небольшой деревушке.

— А почему все не могут так жить, как эти Сергеевы?— спрашиваю у Валентины Николаевны.

— С детства не приучены к труду. А вот они приучены. С самого малого возраста. Они, как пчелки. Саша Сергеев учился в нашей школе, и, когда ее закончил, мы очень переживали, потому что у нас не осталось пахаря. Всю картошку на пришкольном участке сажал и обрабатывал он. В пятом классе мальчишка учился и уже владел техникой вспашки земли! Сам и перепахивал, и окучивал, все делал. Такая вот у них семья.

— Одна на всю деревню?

— Да не одна.. Но большинство привыкло или приспосабливаться, или под чьей-то командой работать, а у Сергеевых очень рано самостоятельность проявилась. У них и трактор, и машина, и когда директор школы попросит — они помогают, ни в чем не отказывают. Осенью надо выкапывать картошку, они обращаются в школу за помощью, и ученики помогают, а те хорошо платят. Это нам нужно для организации питания в нашей столовой. А вы разве не согласны, что люди не само-

стоятельны, потому что привыкли или приспосабливаться, или жить под чьей-то командой?— спросила вдруг Валентина Николаевна.

Согласен, согласен, да только что же с нами такими теперь делать?

Кстати, а кто же сама Валентина Николаевна? Как ей удалось создать музей? Может, она не раскрывшийся в свое время талант, несостоявшийся выдающийся историк, сельский гуманитарный Кулибин? Вовсе нет. Родилась в этих краях, в одной из деревень Ржевского района, в крестьянской семье. Когда началась война, отец и брат пошли на фронт. Деревня оказалась в оккупации, и тогда матери удалось перевезти семью в Выдропужск, где со временем купили дом. Благодаря, кстати, корове.

— Мать пригнала ее сюда хворостиной, так сказать, своим ходом,— рассказывает Валентина Николаевна.— И от этой коровы вырастили телочку. Хорошая была телочка, но мы поменялись с родственницей на корову, которая уже три года была яловой... И вот эту корову зарезали на мясо и продали, а самую первую корову тоже продали и купили дом, в котором я сейчас и живу. Родители уже умерли. С мужем я давно разошлась и живу одна. У меня есть куры, кошка, небольшой участок, обрабатываю его сама. Есть у меня дочь в Ростове, внуки.

Валентина Николаевна не успела закончить институт, потому что появился ребенок и начали хворать родители. Здесь, в школе, работала до 1981 года учителем русского языка и литературы. Потом ушла на пенсию, но ее попросили поработать библиотекарем.

— Люблю я старину собирать,— говорит Валентина Николаевна,— все беречь, складывать: думаю, пригодится. Так с 1985 года я стала заведующей музеем. Школьники наши его очень любят, приносят экспонаты, документы. У нас при школе есть и краеведческий кружок.

Итак, крохотный музей в сельской школе. Организован учительницей-пенсионеркой при участии учеников, учителей и многих жителей Выдропужска. Не вся история здесь, но то, что есть,— это история. Вот она, перед глазами, рядом. Все эпохи друг с другом уживаются. И никто здесь с историей не воюет, потому что это своя история и ее непрерывность очевидна. Это то, чего нет в России, где из-за невежества, жестокости и дураковатости воюют между собой все ее персонажи, все события — далекие, близкие, сегодняшние и, кажется, даже завтрашние. От этого поднимаются над страной невообразимый шум и несмолкаемый гвалт, состоящий из какофонии скрещивающихся звуков: шипящих — от суетливых расшаркиваний; пульсирующих — от захлебывающихся восторгов; колющих — от возни за право потакать первому; ноющие — от апокалиптических прогнозов... А добавьте сюда звучание средних — скрежет гусениц; высоких — визг реактивных установок и низких — хлопки минометов... Эта бесформенная желтая и ядовитая жидкость и есть наш всепобеждающий государственный оркестр. Посчитайте, сколько желающих им подирижировать!

Какая история, когда все вовлечено в орбиту сиюминутных переживаний и душенастроений, все бурлит, колышется и поднимается к алтарю Повседневности?

Здесь не только Сталин, после которого уже прошло почти полвека, не только Ленин, но и все наши государи, реформаторы, императоры и прочие... Повесь у нас на видном месте, скажем, на Красной площади, портрет Александра Македонского, сразу начнут гадать: к чему бы это? Почему Александр? Почему именно он? Почему не наш? А далее включатся аналитики, политологи, обозреватели, обязательно писатели... Станут спорить и выяснять: отчего Македонский, а не, скажем, Цезарь или Тутанхамон? И будут объяснять, в чем, собственно, дело, и с помощью телевидения втянут нас в дискуссию, а тогда уже каждый отыщет в этом самые различные предлоги и поводы, намеки и предупреждения... Найдется такой, кто усмотрит в этом явную угрозу целостности и единству, а другой — диктаторские замашки и имперские намерения; и тогда разделится страна на две части, а потом появится еще и третья часть — какая-нибудь партия «здравого смысла», которая будет говорить этим двум, что нет ничего страшного в том, что Македонский, просто других портретов не было, а надо было чем-то украсить фасад, и те, кто вешал портрет, даже не знали, кто это такой. Но кто же поверит, что можно вот так запросто, без тайного умысла, цели и без причин взять да и повесить на Красной площади портрет? Ладно бы чей-то, какого-нибудь писателя, скажем, а тут — Александра Македонского! (Впрочем, и портрет писателя попробуйте повесить!)

Только один портрет можно у нас вывешивать, только одно лицо — того, кто на сегодняшний день, час, минуту главный начальник. Все другие образы опасны. Могут возникнуть катаклизмы, вплоть до полного изничтожения нации ее же представителями. А будет висеть нынешний, одни будут плеваться, другие кланяться, третьи равнодушно проходить мимо, но вопроса «Почему висит?» уже не возникнет.

А в Выдропужске, в школьном музее, не так. Там все во славу этого села, все священно и миролюбиво. В маленьком селе знают, что такое история, а в большой России, похоже, нет. И не хотят знать.

Пока мы вместе с Валентиной Николаевной осматривали музей, вернулась директор и стала рассказывать о своих школьных заботах. Они такие же, как везде: организовать учебный процесс, найти и удержать преподавателей, отремонтировать учебные классы, накормить учеников, наконец, подготовить сельских детей к будущей учебе в городе. Последнее, по словам Ольги Алексеевны, самое трудное, потому что воспитанные в относительно мягкой сельской среде и попавшие в город ученики теряются и к жестким правилам привыкают с большим трудом.

Важную роль директор отводит школьным обедам. Питаются все девяносто три ученика, все преподаватели и технический персонал. Не обижают никого, и Ольга Алексеевна считает такую кормежку важнейшей составной частью учебного процесса.

— Как же спрашивать с людей — учеников или учителей,— если они голодные? Вот сегодня что у нас: салат, на первое — щи с мясом, на второе — пюре или рисовая каша, на третье — компот из свежих фруктов. Стоимость такого обеда 10 тысяч рублей в месяц: это на сахар, чай и все такое, что бывает только в магазине. Остальное вырастили на своем пришкольном участке, а на мясо заработали в колхозе. Проработали там десять дней и выручили 547 килограммов мяса. Каждый килограмм на учете. Наши ученики и учителя сэкономили из родительских карманов 13,5 миллиона рублей. Поэтому, когда ученик обедает, он знает, что это не просто «дали», а им заработано. Мы с нашей оголтелой «гуманностью» навредили столько... Конечно, помогать детям из обездоленных семей мы должны, но поддерживать и ничего не требовать взамен — очень вредно.

Вот я директор школы,— продолжает Ольга Алексеевна.— У меня дома есть корова, поросята, телята и две кошки. Есть свой участок. А ведь у меня — двое детей. Но ничего, мы с мужем работаем, вместе это хозяйство ведем, не стесняясь и не стыдясь. А есть такие, которые привыкли ничего не делать и лишь стоят, смотрят на нас. Они и учиться толком не хотят, и не работают. Привыкли, что им все должны давать.

У нас есть учительница,— рассказывает директор,— у нее три дочери, хозяйство, пожилая мама... А одна родительница ей говорит: «Моей дочери нужны сапоги». Учительница отвечает, что и у нее есть дети, им тоже нужны сапоги. А та ей: «Так ведь вы же работаете». Учительница отвечает: «Так и ты пойди работать, руки на селе нужны». А родительница ей говорит: «А куда я пойду? На ферму? Там тяжело и плохо». Конечно, там нехорошо, но кто она: врач, учитель, агроном? Вот такое иждивенчество меня выбивает из колеи. Мы все делаем сами. И красим, и чистим, и моем... Все учителя и весь технический персонал, который получает по девяносто тысяч в месяц. И никто не бастует. Все работают, чтобы жить.

И действительно. В Выдропужске перед кем бастовать? Кому высказывать негодование? На кого обращать гнев и кому демонстрировать свою безысходность?

Трем женщинам из администрации? Так они сами мучаются от беспомощности. Выйти на шоссе с плакатами? Но начальство на машинах тут не ездит, а журналистов поблизости не сыщешь. А если даже и найдется кто-нибудь, напишет в газету, да кто же прочтет? Но если и прочтет — чем поможет? Таких выдропужцев — вся Россия. Вон напротив Кремля ходят с транспарантами, чего-то кричат — и ничего, а тут...

Здесь бастовать — курам на смех. Выход один — работать. Дискуссии о государственном устройстве, политическом строе и будущем — только на досуге, если, конечно, нельзя найти занятие полезнее. Все надежды только на себя, на свои руки, голову... «Обустройство России на расстоянии вытянутой руки» — главная программа и единственный рациональный смысл. Здесь опустить руки — значит превратиться в рухлядь, в никому не нужный телесный хлам. Все эти люди и так вычеркнуты государством из своего реестра. Они даже не балласт, их вообще нет на поли-

тической карте. Выживут они или нет и если выживут, то какими — зависит только от самих людей. Счастье выдропужских детей, что здесь есть такие женщины. В городах доминируют совсем другие субъекты нашей жизни. Они тоже предоставлены сами себе, и их выбросило государство, походя бросив: «Свободны».

Пусть же нынешние жизнеустроители и обслуживающие их властители дум не удивляются, не причитают и не заламывают руки, если вдруг обнаружат, что из выброшенных и ненужных все же некоторые выжили. И если стаи этих серых, обезличенных и ощетинившихся на весь мир волков возьмут за горло страну, то не останется ли вся надежда России в руках таких вот выдропужских школьников с их маленьким музеем — добрым и беззащитным миром, который берегут их сельские учителя?

При выезде из Выдропужска на трассу можно увидеть скульптуру: молодая женщина, подняв руку, пытается защитить мальчика. Это памятник из «пионерско-комсомольской тематики». На первый взгляд.

Хотилово

Есть на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом необычное место. Его отмечают многие путешествующие: прямо перед тобой, на горизонте, возникает церковь, и дорога как бы упирается в нее, но затем, перед самой церковью, сворачивает налево и уходит в сторону. Такой же вид открывается, когда следуешь из Санкт-Петербурга. Тогда дорога перед храмом уходит вправо. Купол и колокольня этой церкви видны за несколько километров и в солнечную погоду являют собой картину божественной красоты. Когда несколько месяцев назад я впервые это увидел, то, пораженный, даже не обратил внимание на само селение, в котором стоит храм.

И вот я вновь на трассе, вновь вижу перед собой эту церковь. Теперь уж знаю, что здесь находится старинное село Хотилово. Но что это? Прежней красоты как не бывало. Наша церковь вся обгоревшая, полуразвалившаяся, опустевшая... Внутри — груды обгорелых кирпичей, обвалившихся кусков стен и еще чего-то такого, что совсем недавно украшало этот храм. Когда говорят: «Мерзость запустения»,— имеют в виду именно такое. Что же произошло?

Обескураженный увиденным, я остановился у сельского магазина и у первого прохожего спросил, что случилось. Мне сразу же ответили, что церковь подожгли и вообще в Хотилове в последние годы все горит. Почему? Никто не знает. Я зашел в магазин, где, кроме продавцов, были еще несколько покупателей, и стал спрашивать о Хотилове. Все они посоветовали зайти в библиотеку, находящуюся недалеко от магазина.

Сельская библиотека расположена в одном из обычных деревянных домов, который отличается лишь тем, что выкрашен в темно-оранжевый цвет. На сером фоне других изб библиотека выглядит почти новой. Внутри чистота, идеальный порядок и уют, который дополняет натопленная печка. Даже не дополняет, а определяет, потому что от печки тепло особенное, не такое, как от батарей и прочих обогревателей. Из окна видны все та же обгоревшая церковь и местный Дом культуры. За ними проходит автотрасса с мчащимися автомашинами, за трассой — другая половина села.

Заведующая библиотекой Мария Федоровна, пятидесяти восьми лет, побывавшая даже главой администрации Хотилова. Она хранительница очага культуры в селе. Убери из таких сел библиотеки — что здесь останется?

Сегодня на селе читают в основном детективы, которые хоть как-то отвлекают, и периодику, выписать которую просто не по карману. Читают много. И зарплата у Марии Федоровны, по ее словам, «большая» — аж триста тридцать две тысячи рублей.

— Это потому, что у меня высшее образование и большой стаж,— поясняет она.— У других и того меньше: по сто семьдесят, сто девяносто.

Мария Федоровна содержит небольшое хозяйство и огород. Иначе не прожить. Часто у нее гостят внуки. А вот один из двух сыновей погиб здесь же, на трассе: его, как и сына Валентины Васильевны из Пешек, сшибло машиной. Вот и все, что смогла рассказать о себе Мария Федоровна.

Проходящая по селу автотрасса — настоящий рок Хотилова. На этой дороге погибло много его жителей, и если ставить памятные отметки на месте гибели каждого, то, наверное, свободных мест уже не будет. Отвести же дорогу пока не удается, и здесь уже не верят, что удастся. Слишком большие деньги для этого нужны. Вообще это беда всех без исключения поселений, расположенных на таких вот магистралях. Особенно опасно у такой дороги ночью.

В Хотилове проживают сейчас примерно четыреста пятьдесят человек. Большинство из них пенсионеры, которые, чтобы прокормиться, вынуждены собирать и продавать лесные ягоды и грибы. Еще торгуют картошкой. Больше здесь продавать нечего. Раньше, по словам Марии Федоровны, такого не было.

Преимущество у того, кто живет ближе к дороге: поставил ведро с картошкой или клюквой и жди, пока кто-нибудь из проезжающих остановится. А если живешь чуть дальше, то возможности стоять на обочине целый день, конечно, нет. Вот как! Коварная эта трасса не только убивает селян, но еще и кормит их, и, отведи ее сейчас в сторону, неизвестно, что станет с людьми и селом.

Другая, почти мистическая, напасть Хотилова — пожары. Они здесь случаются с поразительной частотой на протяжении уже десяти лет. Церковь — лишь одна из печальных жертв в череде странных хотиловских пожаров. Здесь около десяти лет назад сгорел местный клуб, после чего вся культработа села была перенесена в стоявший рядом дом. Его переоборудовали в клуб, но и он спустя несколько лет сгорел дотла. Теперь Дом культуры расположен еще в одном большом деревянном доме рядом со сгоревшей церковью. Несколько лет назад сгорела также сельская библиотека, и уже были попытки поджечь новую, в которой мы сидим и разговариваем. А самый последний пожар, случившийся незадолго до моего приезда, произошел в детском садике. Он сгорел буквально через час после того, как оттуда забрали детей. Кроме того, нередко горят в Хотилове и частные дома. Объясняют эти пожары по-разному, в том числе и мистическими причинами, потому что никто никогда не видел самих поджигателей. Когда сгорела церковь, то вроде бы рано утром видели там внутри небольшой костер, а вот чтобы у этого костра кто-то грелся, не заметили.

Пока мы беседовали с Марией Федоровной, в библиотеку зашла директор Дома культуры Светлана Ивановна, энергичная, разговорчивая, даже веселая женщина лет сорока, в очках, желтой болоньевой куртке и белой вязаной шапочке. Включившись в разговор, она сразу же стала в нем главной фигурой, а тема хотиловского бытописания немедленно уступила место «вопросам культуры».

В ведении Светланы Ивановны вся так называемая культурно-массовая работа на селе. Она проводит дискотеки для молодежи Хотилова и окрестных деревень, вместе с Марией Федоровной ведет тематические и литературные вечера, руководит видеосалоном, организует всевозможные праздники, митинги и прочие массовые мероприятия. Например, отмечается в стране Праздник пожилого человека. Собирают в клубе пожилых людей, и Светлана Ивановна с Марией Федоровной читают им согласно тематике стихи о пожилых людях. Ветеранам такие вечера очень нравятся. Все же какое-то разнообразие, забота, небезразличие.

— Раньше,— рассказывает Светлана Ивановна,— в клубе, который сгорел, мы проводили вечера, посвященные различным поэтам. Твардовскому, например. Читали вслух его стихи, рассказывали биографию. Кроме того, проводили такие праздники, как Осенний бал или Праздник русской березки,— очень хорошие, веселые. Однако сейчас молодежь поэзией не интересуется, только дискотеку подавай.

Но один праздник все же остался и с годами не меркнет. Это День Победы. С тех пор, как умерла самый первый хотиловский руководитель администрации — Вера Ивановна Самарина,— все митинги уже четвертый год проводит директор Дома культуры.

— Мы собираемся у братской могилы,— говорит Светлана Ивановна,— привозим туда всех ветеранов села и окрестных деревень — человек тридцать, приглашаем роту солдат из воинской части, офицеров. Приводим могилки в порядок, красим оградки, убираем мусор, сажаем цветы и потом уже проводим митинг. Я его начинаю, как положено, вступительной речью, затем даю слово главе администрации, затем батюшке Владимиру, потом представителю Российской Армии. Народу бывает очень много. Молодежь, школьники — все с цветами. Мы вспоминаем погибших, поем военные песни, плачем... Вот это еще как-то сохраняется.

И все-таки люди, по словам Светланы Ивановны, стали «не те».

— Я по пожару сужу,— рассказывает она.— Когда церковь загорелась, я бегала и кричала, звала на помощь — ноль внимания. Церковь горит — и пусть горит! Два часа я бегала по трассе, останавливала машины, чтобы кто-нибудь, хоть с поста ГАИ, позвонил пожарным. За два часа ни одного человека, который бы остановился. Ни одного! У всех закрыты окна, и никто не видит, что наша церковь горит. А машин ведь проезжает много. Я даже вставала посреди дороги, останавливала их собой. Некоторые остановятся, но, пока я до машины добегу, трогаются с места и уезжают.

— Чем же это объяснить?— спрашиваю.

— Не знаю... Ко мне приходил тут один человек, ученый из Бологого, из краеведческого музея.— Светлана Ивановна при этих словах стала высматривать кого-то в окно.— Он тут в последнее время почти каждый день возле церкви бывает: ходит, что-то ищет... Так вот, он говорил, вроде есть поверье, что, если церковь сгорела, а крест, что был на куполе, не упал, а висит посреди церкви, его надо или поднять, или совсем снять. Иначе, говорит, будут пожары каждую неделю и вообще будут несчастья на селе. Картина жуткая. Я собираюсь сходить к батюшке и поговорить, потому что люди узнали про крест и теперь хотят как-то его поднять или уж совсем снять, чтобы не висел. Видите? Не Бога боятся, а пожара у себя дома.

И Светлана Ивановна посоветовала пойти к церкви, и если там есть этот ученый, то поговорить с ним, потому что он наверняка многое знает и может оказаться мне полезным. Но особенного интереса я к нему почему-то не проявил. Меня привлекают обыденность, повседневность и обыкновенность, а искать особенное и исключительное — это нечто совсем другое. Поэтому я попросил Светлану Ивановну показать мне Дом культуры, куда мы тотчас вместе и направились.

Деревянный этот Дом культуры находится, как мы уже отмечали, рядом с церковью, и потому, проходя мимо, мы все же посмотрели, нет ли там того самого ученого. У церкви никого не было.

В Доме культуры Светлана Ивановна показала все помещения и рассказала, как она проводит мероприятия. Например, дискотека для молодежи бывает в небольшом вытянутом зале, метров двадцать в длину и пять в ширину. Есть тут и нехитрая аппаратура, что-то вроде светоустановки, и даже небольшая сцена, куда во время дискотеки выходит Светлана Ивановна, становясь диск-жокеем. Предпочтение она отдает отечественным современным ансамблям, певцам и музыкантам, таким, как Алена Апина или Татьяна Овсиенко. Молодежь также предпочитает танцевать под их песни, а что до иностранной музыки, то под нее танцуют меньше и только когда приходит офицер из расположенной неподалеку воинской части. Вот этот офицер ставит зарубежную музыку, в которой, видимо, хорошо разбирается.

Здесь же, в танцевальном зале, находится печка, а в комнате за дверью до самого потолка аккуратно сложены дрова. Кроме того, в Доме культуры есть видеосалон на тридцать пять мест. Он заменяет кинотеатр. У самой Светланы Ивановны есть кабинет с большими портретами Филиппа Киркорова, Майкла Дугласа и еще каких-то голливудских звезд. Имеется также большая комната для церемоний бракосочетания, где на стене висят герб Российской Федерации и самодельный плакат, на котором написано:

«С ПРАЗДНИКОМ!
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ,
ЖЕЛАЕМ БОДРОСТИ И СИЛ,
ЧТОБ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
ЛИШЬ ТОЛЬКО РАДОСТЬ ПРИНОСИЛ!»

Вот такой Дом культуры. А как без него?

Вообще «культуре» в нашей стране повезло особо. Имеется в виду — самому слову. Есть у нас, и кроме домов культуры, еще и дворцы культуры, а в одном из подмосковных пансионатов я видел дверь с табличкой «Кабинет культуры». Причем во всех наших словарях «Дом» и «Дворец» всегда пишутся с большой буквы, а слово «культура» — с маленькой. Кроме зданий, с этим словом связаны еще и персоналии. Скажем, «зам. по культуре», или «заведующий культурой», или «ответственный за культуру», а сейчас вот — в связи с реформами — появились «помощники по культуре». Да и «министр культуры» — еще то названьице! Тут, правда, уже все пишется только с маленькой буквы.

Помню, выступал один интеллигентный с виду человек и говорил: «Я знаю, как поднять культуру, я в культуре уже тридцать лет!» Или как-то один начальник хвастал: «С тех пор как я пришел в культуру...» А вспомните, сколько несостоявшихся начальников у нас «бросали на культуру»!

Одного моего друга долго мучил вопрос: а «парк культуры» — это что? Это как? Он даже при случае задал этот вопрос академику Д. С. Лихачеву, и тот, бедный, не знал, что ответить, только улыбался. А что здесь ответишь? Вот огороженная по периметру территория, а там, внутри,— деревья, газоны, клумбы, скульптуры, фонтаны, скамейки и лавочки, газированная вода, площадки для культурно-массовых мероприятий, качели, карусели, комната смеха и прочее, что связано с культурой. А за забором, где живут люди, всего этого нет. Значит, надо раз в неделю зайти за ограду и, как говорится, «окультуриться».

А недавно в Москве возвели какие-то странные сооружения с пирамидками, башенками и еще Бог знает чем, и надо было все это как-то назвать. Вроде поначалу назвали «Российский культурный центр», но задумались: как это центр может быть «культурным»? Культурным или бескультурным может быть только человек. Тогда решили назвать «Центр Российской культуры», но так, кажется, тоже нельзя: кто знает, где этот центр? Это у Земли может быть центр, у города, у села, а у культуры?.. Назвать «Российский центр культуры» — то же, что и Дворец культуры, только еще и с национальным оттенком. Словом, очень большие трудности у нас с культурой. Самой-то культуры вроде немного, а трудности с нею вон какие.

Я сфотографировал Марию Федоровну и Светлану Ивановну на память, попрощался с ними и направился к своей машине.

Путь мой проходил мимо сгоревшей церкви, и, чтобы сфотографировать ее изнутри, я туда забрался. И там сразу же увидел человека, который стоял посреди груды мусора и, задрав голову, смотрел наверх, как будто что-то выискивая. Это и был тот самый ученый из Бологого, о котором рассказывала Светлана Ивановна. Он был невысокого роста, лысоватый, с седыми усиками и в очках — словом, этакий интеллигентный старичок. Одет он был скромно, но не по-деревенски. Было заметно, что он нездешний.

Заметив меня и сдержанно прореагировав на мое уверенное приветствие, он опять стал смотреть вверх в поисках чего-то для него важного. Я, имея в виду предупреждение о том, что ученый этот особенно ни с кем не разговаривает, тем не менее спросил, чего он ищет. Старичок, не отрывая глаз от потолка, начал говорить совсем о другом:

— Вот все думают, что какие-то мерзавцы подпалили. Но никто не знает, кто именно...

После продолжительной паузы и моего выжидательного молчания он вновь произнес:

— Да, церковь эта слишком явно выделялась среди всего остального.

— Что вы имеете в виду?— спросил я.

— А то, что все должно гармонично и естественно развиваться, а достигнув своего пика, так же гармонично и естественно угасать, пока не закончится совсем... Вот вы откуда, молодой человек, чем занимаетесь?

Я ответил, что просто еду из Москвы и смотрю на всякие любопытные вещи, может быть, потом получится книжка.

— Как у Радищева? Ну-ну! Тут каждые два-три года появляются такие...

Старичок достал из своего портфеля папку со старыми газетами и дал мне одну из них. Это оказалась бологовская городская газета «Новая жизнь» от 6 февраля 1992 года, в которой напечатана большая статья директора городского музея В. Сычева. Вот самые интересные отрывки:

«...Год 1744-й. Уже тогда главным для села было существование почтового тракта. Именно он, а не скудные клочки полей кормил бывшую посадникову вотчину. Через несколько лет императорский библиотекарь Александр Радищев напишет: «Хотиловский Ям был уже в виду... Дорога была негладкая, лошади шли шагом...» Императорскому библиотекарю спешить было некуда, курьерская гоньба была ему не по чину. Те же, кому было по чину, на «неровности дороги», в которых, бывало, и возок утопал, как в болоте, внимания не обращали.

Давайте заглянем в одну старую книгу. «...Она (императрица Елизавета Петровна) наследовала энергию своего отца, строила дворцы в двадцать четыре часа и

в двое суток проезжала тогдашний путь от Москвы до Петербурга, исправно платя за каждую загнанную лошадь...»

Итак, год 1744-й. Всего год назад, как гласит «Иллюстрированная хронология истории Российского государства в портретах», Елизавета вызвала из Голштинии четырнадцатилетнего племянника Петра Ульриха, сына Анны Петровны, объявила его своим наследником под именем Петра Федоровича. Начинающая свой путь императрица заглядывала далеко вперед во времени, и выбор наследника престола, и будущие ее деяния были, как бы сегодня сказали, «просчитаны» до мельчайших тонкостей. Государственные соображения перевесили на чаше весов и дурные наклонности прусского племянника, и чужеродность его российскому духу. Властители, увы, не всегда властны в своем выборе. Помянутый нами Ключевский потом с сочувствием заметит: «...назначенный ею наследник престола — самое неприятное из всего неприятного, что оставила после себя императрица Елизавета...»

Все просчитано. Будущий император пристроен под строгий надзор при дворе. Тут же, рядышком (пусть присматривается!),— и будущая предполагаемая императрица. При крещении лютеранку из Штеттина Софью-Августу нарекли Екатериной. Было ей в том достопамятном году неполных пятнадцать лет. И был этот год мучительным и тревожным для нее... И судьба России (та судьба, которую она получила) была буквально на волоске.

А самым тонким местом, где волосок этот мог оборваться, было не что иное, как наше Хотилово. Именно здесь переплелись судьбы русской истории, судьбы России, олицетворенные в судьбе будущего императора Петра III и будущей императрицы Екатерины II. Но пусть она сама об этом расскажет:

«...Как только... зима установилась, мы поехали из Москвы в Петербург в санях. Мать и я в одних, великий князь (будущий Петр III) и граф Брюммер в других. 18 декабря день рождения императрицы мы отпраздновали в Твери, откуда уехали на следующий день. Приехав на полпути в Хотиловский Ям, вечером, в моей комнате, великий князь почувствовал себя плохо. Его отвели к себе и уложили. Ночью у него был сильный жар. На следующий день мы с матерью пошли к нему в комнату, но едва я переступила порог двери, как гр. Брюммер пошел мне навстречу и сказал, чтоб я не шла дальше. Я хотела узнать почему. Он мне сказал, что у великого князя только что появились оспенные пятна. Так как у меня не было оспы, мать быстро увела меня из комнаты, и было решено, что мы с матерью уедем в тот же день в Санкт-Петербург, оставив великого князя и его приближенных в Хотилове. Графиня Румянцева и фрейлина матери остались, чтобы ходить, как говорят, за больным. Послали курьера к императрице, опередившей нас и бывшей уже в Петербурге... В некотором расстоянии от Новгорода мы встретили императрицу, которая, узнав, что у великого князя обнаружилась оспа, возвращалась из Петербурга к нему в Хотилово, где и оставалась, пока продолжалась болезнь».

...Где же стоял тогда тот дом, где Господней волей решался не только вопрос жизни или смерти Петра Ульриха? Ведь одолей его черная оспа — вместе с бывшим прусским принцем умер бы и российский император Петр III. И отправилась бы обратно в Голштинию новообращенная девица Екатерина и вскоре наверняка опять стала бы Софьей-Августой... И не было бы мятежного дня 28 июня 1762 года, когда плечи гвардейцев подсадили на российский престол жену Петра III...

Кто бы загнал на десятилетнее «безвыездное пребывание» в Сибирь Александра Радищева? Но любой, мало-мальски знающий историю человек скажет, что не было в то время другого претендента на российский престол, который смог бы создать в России ту атмосферу просвещения, в которой засветились столь наэлектризованно имена Новикова и Радищева, Державина и Фонвизина...

Так что нисколько и не преувеличу,— заканчивает статью историк-краевед,— сказав, что за плотно занавешенными окнами неведомого дома в селе Хотилово императрица Елизавета Петровна выхаживала будущую судьбу государства. Ту судьбу, которую мы наследовали. Жаль, конечно, что не суждено нам теперь узнать, где же стоял тот дом в Хотилове, который заслужил памятную доску...»

— Да! Ничего себе деревенька,— сказал я, прочитав статью.— Значит, этот собор поставили в честь выздоровления Петра III?

— Совершенно верно. Учитывая наши традиции и то, что государь в России есть олицетворение государства, можете себе представить, что целый месяц здесь, в Хотилове, находился центр политической жизни империи? Ведь здесь жили императрица и наследник, а в России где государь — там и столица. Да и вопрос вон ка-

кой решался! И в честь такого знаменательного события был построен этот собор, которому имя было дано — Петра и Павла. Собор этот возвышался над Хотиловым, а само село со временем пришло в упадок, обнищало, обезлюдело, и получился чудовищный перекос: прекрасная церковь и ветшающая округа. Нарушилась гармония, и такое состояние долго не могло продолжаться. Надо было или поднимать село до церкви, или... Вот это второе и произошло. Церковь сгорела. Причем я тут который раз хожу, смотрю, наблюдаю... В общем, она сама загорелась, ее никто не поджег. И теперь эта почерневшая церковь уже ничем не выделяется, никого не восхищает — словом, находится в полной гармонии с селом и даже чуть хуже, а потому уже село будет как бы «догонять» церковь, дома, значит, будут гореть... И так до тех пор, пока здесь камня на камне не останется.

— Забавная гипотеза,— сказал я.— То есть, по-вашему, надо скорее восстанавливать этот храм, и тогда начнет оживать Хотилово?

— Мало этого. Себя надо восстанавливать и вместе с собой — этот храм, а иначе опять ничего не выйдет. Я, когда узнал, что сгорела церковь, послал сюда молодого практиканта — пусть он выяснит и сделает опись. Его местная шантрапа избила: думали, что он подпалил. Вот так.

— Есть села ничем не лучше Хотилова, такие же полузаброшенные, но в иных очень красивые и ухоженные церкви,— стал возражать я.

— Все эти церкви обречены, если рядом с ними не будет налаживаться жизнь, не будут строиться дома, выращиваться урожай, учиться дети, становиться добрыми люди... Храмы постоят-постоят, и что-нибудь с ними произойдет, вот как здесь.

— А как же на это смотрит Бог?— спросил я.

— Чего?— вдруг раздраженно вскрикнул старик.— А какое дело Ему до всего этого? Посмотрите на себя, на людей, на то, как вы все живете, и подумайте, нужны ли вы такие Ему?

— Ему до всего и до всех есть дело!— упрямо ответил я.

Старик посмотрел на меня из-под очков, смерил с головы до ног и уже спокойно произнес:

— Слишком много чести.

Он отвернулся и больше со мной не разговаривал. Я стал для него таким же, как все вокруг. Хотел я ему ответить и что-нибудь сказать этакое, но, немного постояв, положил рядом с ним газету и направился к магазину, у которого осталась моя машина. От этого магазина до конца села примерно километр. Пока я ехал — насчитал еще четыре черных пепелища...

(Окончание следует в № 12)

Борис ХАЗАНОВ

Апология нечитабельности

ЗАМЕТКИ О РОМАНЕ И РОМАНАХ

Любовь

Некий знатный молодой человек встретил на постоялом дворе прелестную и распущенную девчонку, влюбился в нее, она его без конца обманывает, но он не может ее оставить; она увлекает его в сомнительные авантюры, под конец он ее теряет.

Некий студент вступил в связь с женщиной старше его на десять лет, она пожертвовала для него всем: детьми, благосостоянием, положением в обществе, но ее привязанность надоела ему, он не может отделаться от любовницы отчасти оттого, что ему жалко ее, а больше по слабоволию; наконец она умирает, теперь он свободен, он разбирает ее бумаги и находит неотправленное письмо к себе, последнее доказательство великой, единственной, самоотверженной любви; эту любовь он потерял.

Один ловкач придумал способ разбогатеть. Он скупает у помещиков за бесценок умерших крепостных, все еще числящихся живыми. Для мнимого переселения несуществующих крестьян на якобы приобретенную землю можно получить ссуду от казны; мошеннику удается выдать себя за порядочного человека, он добивается успеха, в конце концов его разоблачают.

Девица выходит замуж за провинциального врача, заурядного человека, ей скучно с ним, скучно в захолустном городке, она мечтает о романтической любви, заводит любовников, но они оказываются пошляками, она запутывается в долгах и кончает жизнь самоубийством.

Два человека сидят на скамейке, дело происходит на закате жаркого летнего дня, к ним подсаживается иностранец; оказывается, это дьявол...

Некто по имени Леопольд Блум встает утром, жарит себе на завтрак свиную почку...

Ничто не может сравниться с чтением романов, ничто не может заменить чтение романов. Вы открываете книгу и ждете, что вам расскажут «историю». Тысячу раз говорилось о том, что все истории уже рассказаны, что вымысел устарел. Флобер мечтал написать роман, где ничего не происходит. Результатом была одна из величайших историй девятнадцатого века, повесть о любви молодого человека к зрелой женщине, и образ мадам Арну, ее волосы, разделенные пробором, стоят у вас перед глазами, как если бы вы вспоминали о своей собственной безнадежной любви. Действующие лица непосредственно, минуя слух и зрение, входят в ваше сознание, заселяют вашу память наравне с людьми, существовавшими на самом деле, и можно было бы писать мемуары о встречах с выдуманными персонажами. Они живы, потому что они выдуманы. Если бы они повстречались с вами в реальной жизни, они не были бы так интересны. Жизнь — это черновик литературы.

Прототипы литературных героев, какая-нибудь Дельфина Кутюрье, которая вышла замуж за сельского врача, завела любовников и отравилась,— не больше, чем тени за спиной у героев и героинь. Это происходит оттого, что персонажи литературы выдуманы по определенным правилам. Вы не сможете сочинить роман, делая вид, что никаких правил не существует; роман заставит вас подчиниться его законам. Действующие лица ведут себя в романах, следуя литературному этикету. Замечательная черта «Истории кавалера де Гриё и Манон Леско», «Адольфа», «Мертвых душ», «Госпожи Бовари» или «Мастера и Маргариты» — сочетание жиз-

ненной правды с чрезвычайно строгим повествовательным этикетом, не говоря уже об «Улиссе», самом противозаконном и самом литературном из всех романов.

Жизнь подчинена литературной конвенции, не менее деспотичной, чем система конвенций, принятых в обществе: литературный этикет правит героями, как социальный этикет — реальными людьми; литература всегда основана на молчаливой договоренности пишущего и читающего, сюрпризы, подстерегающие читателя,— один из пунктов этого договора. Условность господствует и над повествователем, и над читателем; и когда вы рассказываете о случае из жизни, и когда вы пытаетесь пересказать прочитанный роман, вы следуете его канону.

Этикет

Например, история многолетней связи Адольфа и Элленор подана в чрезвычайно компактной форме, как бы уложена в футляр. Если всякое сообщение состоит из того, что сообщается, и того, что подразумевается, то здесь сообщение составляет одну десятую — остальное додумает сам читатель. Тем не менее эта история врезается в память сильнее, чем все, что можно прочесть о долгой и мучительной связи Констана с мадам де Сталь.

Внешность героев не описана. Быта нет: что едят, где живут, как одеваются, как путешествуют — все опущено. Не видно ни слуг, ни посторонних лиц, ни народа, существует постоянная декорация, единственный фон — дворянское общество, знакомое читателю, везде более или менее одинаковое, поэтому оно тоже не описывается; на этом фоне — пять действующих лиц, из них трое — отец Адольфа, исполнитель поручений отца и граф П., у которого находится на содержании героиня,— остаются на заднем плане. Подробно анализируются чувства главного героя. Он не прочь выставить напоказ свою самоотверженность, но на самом деле он эгоист и трус. При этом он догадывается, чего он стоит, и презирает себя. Все повествование освещено холодным, безжалостным сиянием — это свет ума. Жизнь абсурдна и в то же время чрезвычайно логична. Поэтому она умопостигаема. Никаких тайн не существует для романиста. Все поступки действующих лиц безупречно мотивированы. Над всем господствует социальный рок — правила поведения, диктуемые обществом, не подлежащие пересмотру, и таким же строгим правилам следуют стиль и построение романа. Литературный этикет идеально соответствует сословному этикету, благородство стиля разоблачает задрапированное приличиями неблагородство героя. Роман состоит из десяти коротких глав. Язык пушкинский вплоть до буквальных совпадений.

(Пушкин, «Арап Петра Великого»: «Новое обстоятельство еще более запутало ее положение». Констан: «Une nouvelle circonstance vint compliquer encore cette situation douloureuse», «новое обстоятельство еще более усложнило это мучительное положение».)

Внешний вид книг, их малый формат отвечают их лаконизму; тогдашняя страница составляет треть нашей страницы, поэтому роман Констана — это целый том, миниатюрный роман Пушкина «Дубровский» — два тома.

Как и проза Пушкина, роман «Адольф» (вышедший в 1816 г.) — все еще дальнее эхо классической латинской прозы, а в ближайшей ретроспективе — наследство века Просвещения; это аристократическая проза: ясная, сдержанная, суховато-элегантная и логичная; но уже через каких-нибудь 13—15 лет проза начинает разбухать, заявляет о себе буржуазный интерес к вещам, к быту, появляются многостраничные, грузные, как их автор, романы Бальзака с подробнейшими описаниями улиц, комнат, одежды. В России «Мертвые души», даже незаконченные, впятеро длинней «Капитанской дочки» — самого объемистого из пушкинских романов.

Правила поведения автора в условном пространстве романа — как и правила, по которым эти правила время от времени нарушаются,— это и есть в конечном счете то, что принято называть дворянским, мещанским, модернистским или постмодернистским романом. Авангард во всех его разновидностях выставляет литературные условности напоказ, пародирует и разрушает их с тем, чтобы тотчас воздвигнуть на их месте новую конвенциональность.

Кризис — который по счету?

Условность необходима и в разговоре о романе; договоримся, что этот термин можно употреблять в трех значениях. В узком смысле слова роман — это литературный жанр: «замкнутое, протяженное и законченное в себе повествование о судьбе одного лица или группы лиц». Такое определение приведено в знаменитой статье Осипа Мандельштама «Конец романа» (1928). В более общем смысле под романом

подразумевается традиция европейской нарративной прозы последних четырех или пяти столетий; подобно своему музыкальному аналогу — симфонии, роман — дитя Западной Европы, изобретение Нового времени, хотя «Сатирикон», сочиненный при Нероне, и «Золотой осел», который лицеист Пушкин предпочитал речам и трактатам Цицерона, можно тоже с некоторой натяжкой назвать романами. Наконец, в самом широком смысле роман есть синоним повествовательной прозы вообще.

Хотя статья Мандельштама трактует новую ситуацию, возникшую в XX веке, мысль автора привязана к историко-эволюционной модели прошлого века. Именно этот век сохраняет значение эталона, к нему приурочены высшие достижения. Центральный тезис статьи следующий: так как роман — это повествование о судьбе личности, то существует прямая связь между эволюцией романа и ситуацией человека в данную историческую эпоху. «Мера романа — человеческая биография». Расцвет романа в девятнадцатом столетии связан с новой ролью личности в истории, с возможностями выдвижения и успеха; пример подан Наполеоном. Напротив, XX век — эпоха массовых движений, социальных катаклизмов и военных катастроф, обесценивших человеческую личность. «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из биллиардных луз... Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман... немыслим без интереса к отдельной человеческой судьбе».

Вывод подсказан названием статьи: близящийся крах романа.

Через двадцать лет с небольшим Натали Саррот как будто подхватывает этот разговор, но теперь аргументация (в нашумевшей статье «Эра подозрений») носит сугубо литературный характер. Критики все еще стараются нам внушить, будто роман — это жизнеописание героев, критики утверждают, что только такой писатель достоин звания романиста, который лепит «живые лица»; если это так, то прощай, роман! Он сам накликал свою гибель. Ибо литературный персонаж, так называемый образ, изжил себя; от него осталась тень; художественную прозу больше не интересуют жестко очерченные, социально детерминированные и действующие по сюжетным схемам герои. В жизни таких героев нет, а есть зыбкая, хаотическая, мерцающая, непредсказуемая человеческая психика. Жизнь покинула искусственные повествовательные формы, роман дошел до своих границ, его история закончена.

Век догорает. Что осталось от предсказаний?

Бычий глаз

Спор о романе никогда не прекратится, потому что это спор о самой литературе; потому что роман был и остался центральным событием художественной литературы. Смерть романа означала бы смерть литературы. Мандельштаму казалось, что «Жан-Кристоф» популярного в первой трети века Ромена Роллана — последний всплеск великой европейской повествовательной традиции. Между тем за расцветом французского и русского романа XIX века наступает в XX веке расцвет немецкого, английского, латиноамериканского романа. Саррот (да и она ли одна?) спрашивала, какая вымышленная история может соперничать с документами сегодняшней действительности, а между тем слова Толстого о том, что альков навсегда останется самым важным сюжетом литературы, так же справедливы, как и в прошлом веке. Как и прежде, роман занят судьбой личности, как и прежде, молчаливо исходит из того, что нет ничего более ценного, чем личность, какой бы беспомощной и бесправной она ни выглядела в век мировых войн, преступных государств и концентрационных лагерей. Роман не просто реабилитирует частную жизнь человека, роман воскрешает человека. Если, как думал наш поэт, XX век вышиб рядового европейца из его биографии, то роман возвращает ему биографию, возвращает ему лицо и личное достоинство. Тезис «роман жив, пока жива личность» надо перевернуть: до тех пор, пока жив роман, будет существовать человеческая личность.

Случилось другое. Роман не умер, но вымирают читатели романов. Фраза о том, что каждый вновь родившийся житель планеты становится читателем Толстого и зрителем Шекспира, выглядевшая и прежде красивым преувеличением, сегодня может вызвать улыбку. На самом деле каждый новый гражданин Земли становится зрителем телевизионных сериалов. Тут приходится говорить не то чтобы о смерти литературы, но о литературе без читателей или по крайней мере без массы читателей. Оставим в стороне Интернет, чьи возможности превосходят все, что можно вообразить, но по крайней мере до сих пор и за тысячи лет существования литературы у нее не было врага коварней, чем домашний экран.

Все самое плохое, кажется, уже сказано о Бычьем глазе (выражение Жана Кокто), добавить можно немногое. Считается, что телевидение даже обновляет интерес к литературе: после очередной экранизации классического романа растет

число проданных книг, репортаж с книжной ярмарки увеличивает наплыв посетителей, беседа с писателем напоминает публике о том, что эта профессия все еще существует. Если бы превосходный роман испанца Хавьера Мариаса «Сердца моего белизна» случайно не стал предметом обсуждения в популярной программе Второго немецкого телевидения «Литературный квартет», книгу, которая сейчас прогремела, никто бы не купил. И все же младенцу ясно, что литература катастрофически проигрывает в соревновании с глазом. Экран крадет время у потенциальных потребителей литературы. Экран развлекает бесплатно или почти бесплатно, а книги дороги. Экран отучает от чтения, так как предлагает упрощенные версии культуры, истории, психологии — чего угодно; ясно, что читать современные романы утомительней, чем смотреть телевизионную дребедень.

Преимущество телевидения состоит в том, что оно обладает неограниченными возможностями отрицательного совершенствования. Бычий глаз ничего не требует от зрителя, кроме того, чтобы его включили; тридцать телевизионных каналов в Германии или сто с лишним в Америке предлагают зрителю все. Это значит, что телевизионное сообщение обречено на неуклонное сморщивание. Так как высшая цель состоит в завоевании рынка — как можно больше зрителей, как можно выше «коэффициент включаемости»,— приходится трещать обо всем понемногу. Пространство для сообщений сужается. Все меньше места в журнале и газете, все меньше времени для передачи в телевизионной студии. Сообщение становится все более схематичным; сокращаясь, упрощается.

Иначе говоря, телевидение вынуждено неуклонно снижать свой уровень. Телевидение опускается не потому, что нет талантливых авторов и более или менее культурных редакторов, а потому, что выжить можно только ценой деградации. «Потребитель требует!» На самом деле это порочный круг. Телевидение выращивает свою аудиторию, вроде того как откармливают животных на убой. Между тем искусство, как караван, бредет своим путем.

Пенсионер и нахлебник

Искусство бредет своим путем. Договоримся, что существует искусство и существует мусор. Самоокупаемость — знак плохой литературы, в этом пришлось убедиться и писателю в России. Положение дел таково, что, когда книга расходится в тысячах экземпляров, вероятность того, что это хлам, весьма велика, в сотнях тысяч — можно не глядя выбросить ее в контейнер для макулатуры. Она будет переработана для печатания новых книг, так что рыночная словесность окупает себя, можно сказать, вдвойне.

Литература, которая заслуживает этого названия, остается уделом людей, подозрительно напоминающих того умельца, который был представлен Александру Македонскому: искусный мастер сумел уместить на пшеничном зерне всю «Илиаду». Полюбовавшись зерном, властитель вернулся к своим занятиям, но заметил, что человек все еще стоит на пороге. «Что такое?» — спросил Александр. Мастер, ответили ему, ждет вознаграждения. «А,— сказал царь,— конечно! Пусть ему выдадут мешок пшеницы, дабы он и впредь мог упражняться в своем замечательном искусстве».

Пора наконец привыкнуть к тому, что массовое общество нуждается в литературе меньше, чем в зубных щетках.

Знаменитая речь, которую произнес незадолго до смерти Гуго фон Гофмансталь, называлась «Литература как духовное пространство нации»; но в одном письме он признался: «Мы все осиротели». Имелось в виду крушение Австро-Венгрии, но также нечто более осязательное. Мы, писатели и поэты, осиротели, нас некому больше кормить и холить.

В обзорах истории литературы отсутствует важный раздел: финансирование творчества, материальная база литературы. Крах дунайской монархии, мировая война, инфляция положили конец изумительному цветению духа в трех столицах, отняв у блестящей литературы ее опекуна — богатую и просвещенную буржуазию.

Музилю принадлежит любопытный текст под заголовком «Я больше не могу» (существуют четыре варианта). Он сообщает, что гибнет от нищеты: инфляция сожрала небольшое состояние, нечем платить за квартиру, не на что жить; нация бросила своего романиста на произвол судьбы. В 30-х годах в Вене образовалось Общество Роберта Музиля; несколько состоятельных людей выразили готовность выплачивать автору «Человека без свойств» ежемесячное пособие, с тем чтобы он и впредь мог упражняться в своем искусстве — закончить гигантский роман. Сам писатель рассматривал эту помощь как нечто естественное, считал, что оказывает честь членам Общества, позволяя им содержать Музиля, и даже проверял, все ли аккуратно платят взносы. После присоединения Австрии к германскому рейху Об-

щество Роберта Музиля распалось, жертвователи были евреи, им пришлось покинуть страну.

Мало что известно о жизни гениального миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде, зато сохранилось письменное известие о том, что епископ Пассауский подарил в зиму 1203 года странствующему поэту шубу. Литература с достоинством принимает положенное. Поэзия оказала честь епископу. Писатели похожи на монахов из буддийского монастыря, которых кормят жители деревни. Можно гордо называть себя голосом народа, совестью общества, духовным пространством нации, но содержит литературу — в отличие от буддийских монахов — отнюдь не «народ». Не каждый богач готов подарить писателю, как Меценат Горацию, поместье в Сабинских горах, но таким образом была основана традиция. Журналы и альманахи русского Серебряного века, изысканно оформленные сборники стихов выходили ничтожными тиражами, весь этот пышный предзакатный расцвет, подобно расцвету литературы в обреченной Австро-Венгрии, был оплачен меценатами, а кто был состоятелен, как Брюсов, платил из собственного кармана. Литература нуждается не столько в читателе, сколько в покупателе. Литература нуждается в читателе, который не только имеет терпение ее читать, но и средства, чтобы ее содержать. Мы озираемся в поисках этого читателя — его больше нет.

Я счастлив, что я этой силы частица

С тех пор как двор и знать — традиционные кормильцы — вымерли, функцию покровителя свободной словесности переняла просвещенная буржуазия. Когда классический буржуа, в свою очередь, сошел со сцены, наследника, по известному выражению Адорно, не осталось.

Кто же остался? Бюрократия и массовое общество.

Появившаяся в «Плейбое» почти тридцать лет назад, наделавшая много шуму статья Лесли Фидлера «Переступите границу, засыпьте ров» попала в точку. Пора, говорилось в этом манифесте постмодернизма на американский лад (я пересказываю его своими словами), давно пора покончить с противостоянием элитарной и массовой культуры. С искусством для «образованных» и искусством для «необразованных», с пренебрежительным отношением к тривиальной литературе; долой писателей-снобов, квартиранты башен слоновой кости подлежат выселению; художественное произведение как нечто самоценное и самодостаточное ушло в прошлое. Девиз современной литературы — коммуникация, проще говоря, доступность; ее наиболее перспективные жанры — вестерн, научная фантастика, fantasy, порнуха. Стиль, «уровень»? Все это лишилось смысла.

По Сеньке и шапка. Каков поп (поп-искусство), таков и приход. Массовое общество не может не производить товаров широкого потребления, не может не тиражировать пошлятину в доселе невиданных масштабах, не может не культивировать литературу низкого пошиба; массовое общество, как толща океанской воды, обладает колоссальной репрессивной мощью и подавляет все, что не отвечает его стандартам.

Но караван идет. Происходит ли сближение, смешение, которое постулировал Фидлер? Пожалуй, а вернее сказать — нет. Массовое общество покупает способных писателей, заставляя их плясать под свою дудку, критика прославляет произведения, которые довольно скоро оказываются поддельным товаром, и все же культура — или мы заблуждаемся? — располагает механизмами самоочищения, подобного самоочищению рек. Утверждение, что ров засыпается сам собой оттого, что серьезная литература будто бы заимствует у рыночной литературы ее приемы и достижения, рассчитано на простаков; напротив, при ближайшем рассмотрении оказывается, что масскульт паразитирует на культуре высокого уровня. Тривиальная литература подбирает крохи, упавшие с высокого стола, тривиальная литература и есть не что иное, как выродившаяся классика: заросли папоротника, некогда бывшие лесами.

Мощная безальтернативность секса

Хотя в России, кажется, мало кто читал статью Фидлера, программа капитуляции перед варварством здесь получила признание и воплощена в жизнь.

Смешно говорить о возвращении к национальным корням и духовным началам: дороги назад из массового технизированного и коммерциализованного общества нет ни для несущихся вперед с возрастающей скоростью развитых стран, ни для тех, которые поспешают следом, глотая пыль. Советская власть собиралась строить коммунистическое общество, а построила массовое общество. Это и есть самое

важное наследство, которое она оставила. Будущее, не снившееся ни Марксу с его апелляцией к пролетариату, ни Достоевскому с его верой в народ.

Конечно, то, что осталось после СССР, не может быть квалифицировано как развитое современное общество или пока еще не может. Но архаическим обществом его тоже не назовешь. Я полагаю, что мы окажемся ближе к истине, если назовем российский вариант массового общества (и массового сознания) люмпенизированным. Никто не ведает, что получится из этого социального варева, но по крайней мере сегодня в послесоветском обществе очевидным образом задает тон полукриминальная чернь.

Вкусам и потребностям этого потребителя отвечает разновидность литературного этикета, которую можно назвать антиэтикетом. По недоразумению или ради шика его величают постмодернизмом. Великий и неумирающий язык нашел для него более подходящее обозначение: стёб.

«Не дергайся. Ты что, за дурака меня держишь? Вот-вот поминки в кабаке кончатся, они все и припрутся сюда. На мои гуляют. Обобрали, подонки. За телефонное знакомство с качественным клиентом две тысячи зеленых. Все кадры женского пола в восторге. Когда поработаешь с сексом, весь спектр свойств человеческих предстанет. Этот гад слинял. Муська его по-крупному отшила. Карьерно озабоченная женщина. Радующие глаза окружающих облегающие свойства материи «джерси». Морячок в первом звании со смазанным подбородком. Вскочив как шальной, он стал метаться, на ходу сглотнул кофе. Машина простаивает, навару ни грамма. Гелена сглатывает новый кусок пиццы. Из Муськи поперла испанская эрудиция. Создание первого класса обучения стоило пятьдесят тысяч зеленых. Ребята скинулись, и фирма вырулила. Муська продралась без особого напряга сквозь громадный конкурс. Подхватив неподъемную сумку, побрела к Курскому вокзалу перекантоваться до утра. На вокзал-то ты как подзалетела, беби? Хмурый взгляд не сулил консенсуса. Муська притащила его, уже изрядно поддавшего, в свою снятую в хрущевке комнату. Муське нравилась мощная безальтернативность секса. Постоялец полез на нее. Их сближение обрело постоянство».

Фразы выбраны мною наугад из романа писательницы Зои Богуславской «Окнами на юг», помещенного в респектабельном «Новом мире». Проза в этом роде наводняет журналы. Стёб — настоящее спасение для полукультурных людей, устремившихся в литературу, подобно тому как прежде ее ряды пополняли отставные партийные функционеры и полковники КГБ. Несчастье в том, что стёб тривиален. Могут возразить, что этот жаргон используется для характеристики героев и их среды, но стёб давно уже не является орнаментальной речью, не служит художественным приемом, стилизацией, сказом. Стёб выполняет функции нормативного языка, его специфическая экспрессия выдохлась. Как средство для создания couleur locale он истрепался. Ощущение вульгарности как особого налета вроде плесени на куске хлеба пропадает; говорящий на стёбе больше не чувствует, что он говорит на искалеченном языке.

Присутствие стёба дает себя знать и в прозе цивилизованных авторов; аромат стёба чувствуется даже в новейших переводах иностранной литературы высокого уровня (например, в русском тексте романа Дж. Фаулза «Маг»). Переводы в особенности подчеркивают квазинормативный характер стёба: к нему привыкли настолько, что его не замечают. В качестве господствующего стиля современной литературы стёб заслуживает серьезного внимания; в качестве документа, удостоверяющего горестную ситуацию русского языка, стёб с его пестрым словарем-винегретом, причудливой смесью элементов просторечия и блатной фени с подхваченными на лету иностранными и учеными словечками, с его паралитическим синтаксисом мог бы стать предметом серьезных штудий, пищей для диссертантов.

Если представить себе — по аналогии с англо-русским, немецко-русским и т. д.— стёбно-русский фразеологический словарь, приведенные выше цитаты выглядели бы примерно так (слева оригинал, справа русский эквивалент):

Ты что, за дурака меня держишь?	Не думай, что я так наивен.
Ребята скинулись, и фирма вырулила.	Общими усилиями удалось поправить дела.
Этот гад слинял.	Человек ушел.
Муська его по-крупному отшила.	Муся отказалась с ним разговаривать.
Муська продралась без особого напряга сквозь громадный конкурс.	Муся хорошо сдала экзамены.

Из Муськи поперла испанская эрудиция.	Произнесла несколько слов по-испански.
Подхватив неподъемную сумку, побрела к Курскому вокзалу перекантоваться до утра.	С тяжелой сумкой отправилась ночевать на вокзал.
На вокзал-то ты как подзалетела, беби?	Как вы здесь оказались?
Муське нравилась мощная безальтернативность секса.	Любовь — превыше всего!
Постоялец полез на нее.	Легли в постель.

И т. д.

Люмпен-интеллигентский жаргон, поработивший даже даровитых писателей, конечно, не случайное поветрие, он — порождение люмпенизированного общества, его сиплый литературный голос. Писатель, который хочет быть современным и «услышанным», должен писать на стёбе. Существуют признанные мастера этой школы, лидеры и гроссмейстеры стёба, на которых равняется подрастающее поколение. Литературный критик, пишущий о таких писателях, должен доказать, что он владеет стёбом. Стёб-литература не может существовать без стёб-критики, стёб-публицистики и, похоже, без стёб-литературоведения.

Стёб — больше чем жаргон; пожалуй, целая литературно-эстетическая концепция. Ее резон в том, что она оправдывает тотальное упрощение духа в обществе, которое стало массовым, но не сделалось цивилизованным. Первоначально выглядевший как реакция на ханжескую советскую литературу, раскрепощенный трёп-стёб, в свою очередь, закабалил словесность. Писатель не решается свернуть шею стёбу — это значило бы стать в новой литературной компании чужестранцем.

Бой с языком и временем

В словаре-справочнике Жака Росси говорится, что частица *бля*, как и слово, из которого она произошла, «служит для украшения речи». Но процесс деградации привел к тому, что и эта функция, по-видимому, уже утрачена: *бля* сделалось попросту сигналом-индикатором народной речи. Тех самых родников и отстойников, из которых утоляет языковую жажду литература.

Представление о литературе, которую творит сам язык — писатель есть лишь медиум,— давно стало почтенным общим местом, и новые парафразы этой мысли, шиллеровского die Sprache dichtet, в лучшем случае только освежают ее. Иосиф Бродский говорит в Нобелевской речи о «диктате языка»: поэт знает, что «не язык является его инструментом, а он — средством языка». Отдав должное красоте и глубокомыслию этого высказывания, подумаем о его опасности.

Спустимся на одну ступеньку с мистических высот. Я подозреваю, что писатель становится писателем лишь тогда и постольку, когда и поскольку он научается владеть собой, ощущать себя сувереном, а не посредником или чьим-то «голосом». Но он живет в языке — это значит, что он обязан свернуть шею языку. Писатель вынужден воевать с языком, противостоять его диктату и диктатуре, подобно тому как он противостоит гнусному времени.

В большей мере чем тезисы какой бы то ни было идеологии, воплощением и лицом времени является язык. Не тот великий и животворящий, существующий вечно Язык-нóумен. Но реальный и сегодняшний, тот, на котором изъясняются улица и базар, вещают политики и тараторят журналисты. Язык, собственно, и есть идеология времени, преклонение перед которой дорого обходится писателю. И лишь тот, кто найдет в себе мужество сопротивляться языку времени, переживет свое время.

Поучительный парадокс: живая устная речь миллионов, пересаженная в литературу, максимально возможное приближение к реальности языка и по видимости к реальной жизни — очень скоро начинает ощущаться как литературщина. Это ахиллесова пята всякой народной и лишенной дистанции литературы; ничто так не искусственно, как сказ. Пошлятина пейзанской словесности 60-х и 70-х годов уступила место пошлятине стёба.

Здесь встает вопрос: что, собственно, значит быть современным? Спрашиваешь себя, почему так быстро выцвела проза, которой еще недавно зачитывался весь мир. Если бы, к примеру, в 1935 году опросить ведущих литературных критиков, у кого из современных авторов больше всего шансов остаться в литературе века, бы-

ли бы названы многие, в том числе и те, о которых сегодня никто не помнит. Но едва ли кто-нибудь упомянул бы Кафку, Музиля или Андрея Платонова. Медленно, но верно знаменитые имена вытесняются другими, которые мало кто знал, которыми никто не интересовался.

Всякий литературный текст в определенном смысле актуален, тем не менее литература и общественность — понятия, связанные не прямой, а скорее обратной зависимостью. Чем литература актуальней, тем она меньше литература. Чем активней она откликается, вмешивается, клеймит, проповедует, выступает в защиту, тем хуже для нее. Литературу называют барометром, но это худшее, с чем ее можно сравнить. Или это барометр, который сам придумывает погоду.

Несколько великих исключений, Аристофан или «Бесы», лишь подтверждают правило; при ближайшем рассмотрении исключения оказываются мнимыми; злоба дня переселяется в комментарий — кладбище актуальности; то, что казалось сенсационно-разоблачительным, предстает как повод для чего-то другого, как художественный прием.

Дело не в том, что устаревают общественно-политические проблемы, за которые романист ухватился с таким пылом, а в том, что литература, которая хочет быть близкой и понятной всем, не может не быть тривиальной. Литература, которая хочет говорить о самом жгучем, наболевшем и животрепещущем, в собственно литературном смысле банальна; стремясь быть своевременной, она оказывается художественно несовременной.

В искусстве, как в математике, существует представление о пределе. Предел литературы, никогда (как в геометрии) не достигаемый,— это абсолютная литература, то есть литература без читателей: нечто подобное незвучащей музыке, о которой однажды заходит речь в разговорах Адриана Леверкюна с ученым другом, музыке, бытийствующей в качестве чистой структуры; нет надобности ее исполнять. Может быть, в близком будущем у литературы останется не больше ценителей, чем слушателей у современной музыки; может быть, она станет искусством для знатоков, творчеством для творцов и комментаторов. «Нас мало избранных, счастливцев праздных».

Настоящая литература всегда опаздывает. Как сова Минервы, она расправляет крылья в сумерки. Литература опаздывает и в то же время существует в будущем. Оттого она все меньше значит в повседневной жизни миллионов людей.

Математическая модель литературы

Услыхав о том, что Австрия объявила войну Сербии, Джойс, живший на положении эмигранта в Триесте, воскликнул: «А как же мой роман?» Автору «Улисса» принадлежит знаменитая формула: silence — exile — cunning (молчание — изгнание — мастерство). Прекрасный девиз, если есть на что жить.

Достоинство писателя состоит не в том, чтобы жить в истории, но в том, чтобы противостоять истории; очевидно, что это означает жить в своем времени и вопреки ему.

Быть может, лучший пример упрямства литературы, которая глядит назад и глядит вперед, но не глядит под ноги,— роман «Человек без свойств». Не так давно он был издан по-русски, виртуозно переведенный Соломоном Аптом; критика ответила на это событие молчанием.

Присутствие Музиля на прокоммунистическом конгрессе писателей в защиту культуры в Париже в 1935 году кажется недоразумением. (Об этом конгрессе русский читатель может прочесть в мемуарах Эренбурга: упомянуто множество участников, Музиля он не заметил.) Речь Музиля никак не соответствовала настроению публики и тех, кто сидел на подмостках. «Я,— сказал он,— всю жизнь держался в стороне от политики, так как не чувствую к ней никакого призвания. Упрек в том, что никто не вправе уклоняться от политики, ибо она касается каждого, мне непонятен. Гигиена тоже касается всех, и все же я никогда не высказывался о ней публично. У меня нет таланта быть гигиенистом, точно так же как нет призвания руководить экономикой или заняться геологией... Политики склонны рассматривать достижения культуры как свою естественную добычу, вроде того, как женщины раньше доставались победителям. Я же, со своей стороны, полагаю, что роскошной культуре подобает женское искусство защищать себя и свое достоинство... Культура предполагает непрерывность и пиетет даже перед тем, с чем борются. Кроме того, можно твердо сказать, что культура всегда была сверхнациональна. Но даже если бы она не носила наднационального характера, она и внутри собственного народа всегда была бы чем-то таким, что живет над временем, служила бы мостом над эпохой провала и соединяла бы живущих с далеким прошлым. Отсюда следует, что тому, кто служит культуре, не положено отождествлять себя без остатка с сего-

дняшним состоянием его национальной культуры. Культура не эстафета, передаваемая из рук в руки, как это представляют себе традиционалисты; дело обстоит куда сложнее: творческие умы не столько продолжают культуру как нечто идущее к нам из мглы времен и из других стран, сколько видят в ней нечто такое, что заново рождается в них самих».

В Британской энциклопедии Роберт Музиль помещается между игроком в бейсбол Стеном Мьюзиелом и вождем итальянского народа Бенито Муссолини. Музилю отведено пять строк: имя, даты жизни, кто он такой и название главной книги. Статья о Мьюзиеле состоит из 28 строк. Статья, посвященная Муссолини, при крайней сжатости изложения занимает 480 строк. Место литературы в жизни общества, таким образом, описывается уравнением:

$$M=M(1):M(2),$$

где M(2) — Муссолини, а M(1) — Музиль.

Существует ли Бог? Похвала эссеизму

Der Mann ohne Eigenschaften, человек без ограничительных свойств, без «определяющих моментов» и определенных занятий, открытый для всех возможностей, тот, о котором идет речь в двухтысячестраничной, недописанной и, пожалуй, обреченной остаться недописанной книге,— двойник автора, но не в том смысле, что Ульрих присвоил себе некоторые черты из жизни д-ра Музиля, а потому, что он ведет себя в жизни так, как его создатель ведет себя в литературе; Ульрих олицетворяет парадигму эссеистической литературы.

Примерно две трети века тому назад завершилась литературная революция, итогом которой было исчезновение общеобязательной точки зрения, той высшей и внеположной повествованию точки, откуда обозревается все пространство романа. Анна Каренина не знает о существовании Толстого, зато Толстой знает об Анне все. Те, кто пришел после Толстого, уже не чувствуют себя так уверенно в созданном ими романном мире. Писатель больше не полководец, сидящий на барабане где-нибудь на холме, с подзорной трубой, и еще меньше — всеведущий бог, каким представлял себе романиста Флобер. В письмах автора «Госпожи Бовари» изложена целая теология объективной литературы: «Художник должен устроиться так, чтобы потомки думали, что он не существовал», «Художник в своем творении должен, подобно Богу в природе, быть незримым и всемогущим; его надо всюду чувствовать, но не видеть». Существует только одно прилагательное, адекватно описывающее предмет, и существует единственная, окончательная и непреложная истина о действительности; эту истину возвещает художник.

Флобер был ровесником Достоевского, оба умерли почти одновременно. Не странно ли, что «Бесы», роман с консервативной и православно-христианской тенденцией, в литературном смысле — с точки зрения поэтики — есть опровержение религиозной веры? Флобер же, который был скептиком и атеистом, в литературе предстает как апостол веры в истину.

Ультраконсерватизм идей сочетается с революционной поэтикой. Кто такой хроникер «Бесов», некто Г-в? Совершенно не важно, как его звать: Гаврилов, Григорьев? Всего три раза на протяжении весьма объемистого романа упомянуты его имя и отчество — Антон Гаврилович, и большинство читателей тотчас их забывает. Этот рассказчик не лицо, не персонаж и не Ich-Erzähler — авторское «я» в традиционном повествовании, а скорее некое «оно», персонифицированная молва, глуповатое общественное мнение, выродившийся хор античной трагедии.

Можно, правда, заметить, что в романе Достоевского есть отступление от этой новой поэтики — глава «Ночь» и ее продолжение, ночной визит князя Ставрогина на Богоявленскую улицу; очевидно, что Г-в не мог присутствовать при разговорах Николая Всеволодовича с Кириловым, Шатовым, капитаном Лебядкиным и его сестрой, не мог ничего знать об этих разговорах, как и о встречах с Федькой Каторжным. Но Ставрогин в некотором смысле выламывается из романа, стоит над действующими лицами, как неподвижная черная звезда. Его роль уже завершена. Ставрогин нарушает литературный этикет романа, подобно тому как он нарушает время от времени правила благопристойности в губернском городе. Возвращаясь к сказанному выше, мы можем повторить, что Толстой и Флобер все знали об Анне и об Эмме. Рассказчик «Бесов» и знает, и не знает, что происходит в городе, и вываливает на голову читателю целый короб сплетен, слухов, домыслов, предположений; в результате мы оказываемся в мире версий, а не данностей, в мире, где нет высшей инстанции, нет окончательной истины, нет Бога.

Существуют градации авторства и авторской ответственности; разные степени отдаления «реальной» действительности от той, которую литература то ли воссоздает, то ли пересоздает: писатель, сидящий за столом, не совсем то же самое, что ав-

тор в своей прозе, автор не то же, что повествователь, повествователь не то же, что персонаж. Марсель, который вспоминает, как однажды в зимний день мать позвала его к чаю, как он пил и макал в чай печенье и как одно это воспоминание потянуло за собой целую вереницу воспоминаний, развернувшихся в гигантскую, многотомную эпопею, не тот Марсель Пруст, который в 1913 году сидит и пишет свою прозу. Существует, таким образом, иерархия памяти: можно вспоминать свои воспоминания. Иерархия авторства создает эффект «Фальшивомонетчиков»: писатель Эдуард, обдумывающий роман под названием «Фальшивомонетчики», включен в действие собственной книги, следовательно, является персонажем романа, который пишет Андре Жид.

Новое зрение выражает новое мировоззрение. Или, лучше сказать, новое, изменившееся мироощущение. Зрение, которое можно назвать фасеточным, исключает единообразное видение, единый взгляд, кому бы он ни принадлежал: обезличенному хроникеру, вполне безличному автору или условному рассказчику. Писатель вынужден раздвигать индивидуальное сознание, соединив его с неким совокупным сознанием, принадлежащим всему составу участников: не столько менять ракурс, сколько совмещать противоположные и в обыкновенной жизни несовместимые ракурсы. Конечно, это означает размывание контуров героя, размывание всей концепции литературного персонажа. Неоднозначность точки зрения, молчаливая презумпция, что излагаемая в данный момент версия событий есть не более чем версия, что любая оценка — лишь одна из возможных, скользящее светлое пятно в темном поле возможностей, в конце концов и приводит к тому, что мы называем литературным эссеизмом. Понятно, что такая литература требует от читателя, воспитанного на традиционной прозе, существенного встречного усилия.

Поражение эссеизма

Гипотезы о том, почему не удавалось закончить «Человека без свойств», в свою очередь, образуют поле возможностей, аналогичное пространству самого романа. После Музиля, этого «короля в бумажном царстве», как назвал его Брох, остался гигантский ворох черновиков, вариантов, заметок, некоторые стоят целых трактатов.

Лежа в саду, Ульрих и Агата ведут нескончаемые разговоры, и больше ничего не происходит — роман застопорился. В декабре 1939 года Музиль прочел в газете о гастролях танцевального ансамбля с острова Бали. Под стук барабана плясуны впадают в транс. Они испускают хриплые крики; взгляд застывает; нижняя часть тела сотрясается в конвульсиях.

«Сходство с половым актом,— замечает Музиль,— выступает еще сильней, когда смотришь на выражение лиц... Транс принадлежит к области магии, магического воздействия на реальный мир. Коитус — то, что осталось у нас от транса. Понятно, что Агата и Ульрих не хотят коитуса...»

Западный человек не может примириться с потерей сознательного контроля. Иное Состояние (der Andere Zustand), к которому стремятся брат и сестра, не допускает утраты собственного «я». Снять извечное противоречие между рациональным и иррациональным! Личность не может быть принесена в жертву экстазу. Экстаз должен слиться с бодрствующим сознанием.

Что же происходит в конце концов? По некоторым предположениям, любовники должны были уехать на дальний остров, чтобы там погрузиться в Иное Состояние. Никаких следов реализации этого замысла в бумагах, оставшихся после Музиля, нет.

Зато есть такая запись:

«То, что в этих разговорах так много приходится распространяться о любви, имеет тот основной недостаток, что вторая жизненная опора, второй столп — злое, страстное начало, начало вожделения — проявляет себя так слабо и с таким запозданием! Просчет состоял в переоценке теории. Она не выдержала нагрузки; во всяком случае, оказалась не столь важной, какой представлялась до осуществления задуманного. Я давно уже это понял, теперь приходится расплачиваться. Вывод: не отождествляй себя с теорией. Отнесись к ней реалистически (повествовательно). Не изобретай теорию невозможного, но взирай на происходящее и не питай честолюбивой уверенности, будто ты владеешь всей полнотой познания».

«Теория» — это система внутрироманных оценок, сложный комментарий к «происходящему», внешне приписанный главному герою, но очевидным образом выходящий за его горизонт; ведь и сам он, в свою очередь, становится объектом рефлексии. Это и есть расползание героя, вследствие которого он превращается в сверхперсонаж и не-персонаж,— еще немного, и он возьмет на себя функции богоподобного автора традиционной прозы. Но при такой нагрузке герою некогда жить.

Вместо того чтобы любить, страдать и вожделеть, он без конца говорит о страсти и вожделении. Одно из объяснений, почему роман не окончен,— крах эссеизма. Комментаторы говорят о крушении утопии, о неосуществимости Иного Состояния, однако я полагаю, что странная неудача несостоявшихся любовников — скорее следствие несостоятельности самой концепции повествования, несостоятельности поэтики. Роман, как блуждающая река, затерялся в песках.

Мистика при свете дня

Но мы можем считать его и грандиозной победой. В романном пространстве все становится художеством. Герой и любит, и вожделеет, и рефлектирует. Или за него философствует сам автор; не важно. Важно то, что рано или поздно у автора возникает чувство, что роман сам диктует ему условия. Если есть ощущение, что автор, подобно своим героям, находится внутри романного пространства, значит, победило искусство. Если этого не произошло, роман разваливается.

«Отнесись к теории реалистически (повествовательно)». Это значит: не превращай ее в нечто привнесенное извне, нечто самодовлеющее. Не используй роман как средство для деклараций или выставку эрудиции. Не пытайся выдать свои размышления за безусловную истину, искусство — это истина, которая не знает о том, что она — истина. Не поучай читателя. «Теория» (видимый эссеистический компонент или скорее налет эссеистики) — это тоже «жизнь», заруби себе на носу: это часть повествования. Это тоже художество. Всего лишь художество; не больше и не меньше. Это тоже «искусство для искусства», потому что искусство подчиняет себе все — или уходит.

Итак, все в жизни Человека без свойств остается возможностью, пробой, экспериментом, в том числе самый грандиозный опыт — попытка достичь экстаза, не покидая царство разума: загадочное «иное состояние», taghelle Mystik, слияние с другой душой, нечто вроде бесконечно длящегося соития, но не в первобытно-варварском помрачении сознания и не в вагнеровской ночи, а под полуденным солнцем, при свете бодрствующего ума. Другая душа — сестра-близнец Агата, с которой Ульрих, оставив общественную деятельность, встречается в доме умершего отца, после того как много лет брат и сестра ничего не знали друг о друге. Но то, что должно произойти — инцест,— так и не происходит или, лучше сказать, растворяется в бесконечном незавершенном сближении, в разговорах, в томительном бездействии летнего дня: Atemzüge eines Sommertags.

Над этой главой — «Вздохи летнего дня» — Музиль сидел с утра 15 апреля 1942 года, в двадцать минут десятого зарегистрировал в тетрадке, заведенной по совету врача, первую сигарету, в одиннадцать часов — вторую. В час дня, собираясь принять ванну перед обедом, он умер.

Хочешь быть философом — пиши романы

Нас уверяли, что искусство отличается от умозрения тем, что оперирует образами, а не идеями; это чепуха. Проза есть царство мысли. Но отличие литературы от философии, от религии, от науки, от историографии, от делопроизводства и от чего угодно состоит в том, что литература безответственна. Ничто не противопоказано художественной словесности, «в любом литературном произведении присутствуют все науки», говорил когда-то во вступительной лекции в Коллеж де Франс Ролан Барт. Никакая область жизни и никакая область знания не чужды литературе: она может иметь дело с блатным миром, с высшим светом, а также с гностикой, астрологией, каббалой, семиотикой, глубинной психологией, с теорией, согласно которой мир представляет собой дрожание струн, и с теорией, по которой наше отечество указывает путь всем народам,— но суть литературы, я думаю, та, что любое «содержание» она превращает в материал и средство. Средство для чего? На этот вопрос ответить невозможно. Средство для себя самой. Средство самоосуществления литератора — человека, выжимающего сок своего мозга в банку, превращающего свое чувство и воображение в текст. «Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох» (Бродский). Вот, собственно, все исповедание писателя.

В этом смысле никаким декларациям и теоретизированиям, вложенным в уста героев или произносимым «от автора» — ибо и он всего лишь персонаж своей литературы, и его собственная жизнь и личность для него не более чем материал,— ничему и никому нельзя доверять; в этом состоит его принципиальная безответственность. Я полагаю, что это — качество, без которого нет настоящего романиста.

Писатель может воображать о себе все что угодно, может, как Гейне, назвать себя храбрым бойцом за освобождение человечества, может быть белым гвельфом,

как Данте, роялистом, как Бальзак, или шовинистом, как Достоевский, может быть христианином, иудеем, дзэн-буддистом, агностиком,— все это лишь до определенной черты, до момента, когда он остается один на один со своим ремеслом, с языком и искусством. И тогда оказывается, что искусство и есть его единственный бог. Нет, литература не чурается ни теорий, ни вероучений, художественная проза — давно уже не «мышление образами» только, а что-то гораздо более сложное; но и построения великих мыслителей, и концепции современной психологии, и заповеди учителей церкви — для нее лишь материал, ибо в отличие от науки, философии и религии литература не есть обретение истины.

Другими словами, истина, которую предлагает литература, не может быть общеобязательной, ее значение относительно. Ее власть бесспорна лишь внутри художественной структуры. Литература (переиначим слегка мысль Барта) — это такое обращение с «истиной», которое отнимает у нее ее авторитарные притязания. Не в этом ли заключается гуманизм литературы?

В царстве литературы любые «концепции» скорее обладают эстетической привлекательностью, нежели имеют достоинство философских истин, и то, что происходит с философией, когда она попадает в сети литературы, в глазах философа-профессионала, возможно, выглядит деградацией или по меньшей мере нечестной игрой. То, что литература проделывает с идеологией, объясняет, почему политика и партийность с опаской косятся на литературу. То, как литература обращается с проповедью, заставляет религию видеть в литературе грех. Литература безответственна. Литература живет мифотворчеством, и любое вероучение может представить для нее ценность как материал, пригодный для того, чтобы выкроить из него миф; но упаси Бог превратить миф в вероучение.

Следовало бы распрощаться раз навсегда с теорией художественного исследования действительности или по крайней мере заново выяснить, что это означает. Ибо «действительность», как уже сказано, не объект, а материал, и если можно говорить в самом общем смысле о задаче романа, то она состоит в сотворении мифа о жизни. В художественной прозе складывается некоторая автономная система координат, как бы ее сверхсюжет, внутри которого организуется и развивается сюжет, напоминающий историю «из жизни». В рамках литературной действительности миф преподносится как одна из версий действительности, как квазиистина; на самом деле это игра. Игра — это и есть истина. Истинный в художественном смысле миф освобожден от претензий на абсолютную — философскую или религиозную — истинность и, следовательно, обезврежен. Мы хорошо знаем, как опасно мифотворчество, когда его принимают всерьез. Вдобавок мы поняли, что смешивать искусство с жизнью — проявление дурного вкуса. Не в этом ли обыгрывании, не в этой ли *дез*-ответственности состоит терапевтическое действие искусства?

Нам внушали — и похоже, что такое воспитание все еще не выветрилось,— что художнику не положено размышлять. Может быть, это родовая особенность отечественной литературной критики: нелюбовь к отвлеченной мысли, невосприимчивость к общим проблемам. Отсутствие интереса к моделям мышления и отсутствие понимания того, что эти модели могут быть средством и материалом для искусства. Критик не задумывается и о принципах собственного мышления. Все эти вопросы для него попросту не существуют. Поэтика для него полностью вне философии; он никогда не интересовался философией; таким же он представляет себе и писателя; он полагает, что талант и жизненный опыт с лихвой возмещает писателю отсутствие философии; он свято и наивно верит в то, что мысль, рефлексия — нечто противоположное и противопоказанное искусству, и не догадывается о том, что они могут быть художественным средством, могут быть введены в художественную систему романа.

Если, однако, литература древних питалась языческой мифологией, а средневековая — христианской, то литература нашего столетия была утеплена философской мифологией. Классический пример — роман Пруста, огромная теплица под лампами Бергсона.

Заголовок этой главы — цитата из дневника Камю. Лучше, пожалуй, сказать наоборот: хочешь стать романистом — будь философом.

●

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

Хождение по жанрам

Штабик и пароль

Чему учиться у художника? Макбет накануне гибели выкрикивает: «The world is a tale, told by an idiot, full of sound and fury» («Мир — это россказни идиота, полные шума и ярости»). Шум — это астральная мгла и стынь, леденящие жилы. Ярость — это наши хрупкие, но теплые тела, это наши маленькие, как каштаны, сердца. Постижению шума и ярости и дóлжно учиться у художника тем, кто берется за перо, и всем тем, для кого жизнь не род занятий, а призвание. Мне кажется, у Пастернака была такая же тяга к Шекспиру, как у Шекспира к Пастернаку. Шекспир знал: не напиши он сам строк

Страна неузнаваема. Она
Уже не мать нам, но могила наша.
Улыбку встретишь только у блажных.
К слезам привыкли, их не замечают.
К мельканью частых ужасов и бурь
Относятся, как к рядовым явленьям.
Весь день звонят по ком-то, но никто
Не любопытствует, кого хоронят.
Здоровяки хиреют на глазах
Скорей, чем вянут их цветы на шляпах,
И умирают, даже не болев,

— это сделал бы Пастернак.

Занимаясь в Университете в середине шестидесятых, я мечтал написать пьесу «Гамлет-студент» с оглядкой на май 1968 года. На втором курсе куратор моей группы сказала: «Это ваши лучшие годы. Вы будете вспоминать о них всю жизнь!» Должно быть, нигде не ощущаешь так явственно духоты, как в Университете, ибо именно там ее не должно быть. Я и впрямь хочу, но не могу забыть эти серые — и потому кажущиеся отсыревшими — стены, эти мглистые коридорные закоулки, забитые трясущимися над конспектами студентами на одно лицо, этот сиротский воздух аудиторий, пропахший тряпкой для стирания мела, эту унизительную экзаменационную процедуру, бесконечную до одури. Мы сбегали с лекций в университетскую Библиотеку, на фильмы Вайды или Висконти, в пивную на улице 28 июня. На третьем курсе я просто переселился в Библиотеку. Ночевал в одном из бесчисленных ящичков, наполовину заполненном карточками, в комнате, где помещался каталог. Шуршал заказами. Шелестел страницами. Вынюхивал гениальные воспоминания Андрея Белого. Сдувал пыль с надежных, как мебель, довоенных томов Пруста. Там было еще несколько ребят — на весь Университет, на весь наш городок. Они тоже жили в Библиотеке. Тоже вечером прятались в ящички. Мы сталкивались ночью между стеллажами, насупленные, бормочущие, кто с фонариком, кто с шахтерской лампой, похожей на намордник. У нас был пароль: «"Интернациональная литература", 35-й год!» Кому надо, поймет наш пароль. Кто провел хоть одну ночь в узком ящичке, кто смог вогнать свое гигантское тело в пыльное, изъеденное шашелем квадратное гнездо, чтобы потом при свете фонаря «летучая мышь» умирать от счастья над строкой поэта, тот поймет наш пароль. Да, Джойс! Да, «Улисс»!

Пьеса «Гамлет-студент» должна была быть стремительной, искрящейся, как студенческая жизнь, которая не получилась у меня. Впрочем, пьеса тоже не получилась.

К полуторамиллионному удушению Дездемоны

Если верить театральной статистике, в конце декабря 1994 года генеральшу Дездемону удушили в миллионпятисоттысячный раз. На самом деле статистика эта занижена, ибо не учитывает спектаклей любительских, студенческих, домашних.

Кстати, согласно той же статистике за 390 лет со дня первой постановки трагедии не менее трех актрис, игравших «дьяволицу», «толстогубый черт» удушил на самом деле. Можно ли прервать эту бесконечную цепь рукотворных асфикций с последующим закалыванием («"Еще жива?/ Я — изувер, но все же милосерден/ И долго мучиться тебе не дам./ Так. Так". Закалывает ее».)? Прервать не столько из сострадания, сколько из брезгливости к жестокосердной публике... Почему бы не попробовать? Допустим, что... действующие лица в пьесе те же и расшитый земляничными цветами платок — тот же. Но Яго и вправду, как говорит Отелло, малый кристальной честности, а не испанский злодей. Сам же Отелло, губернатор Кипра, так поглощен делами этой военно-морской базы Венецианской республики, что его верная супруга начинает ненавидеть и мужнину славу, и коварных турок, и своих солдафонов. Она пытается вызвать ревность Отелло, флиртуя с лейтенантом Кассио. В конце концов Дездемона подбрасывает Кассио платок, свадебный подарок Отелло. Супруг, попавшись на удочку, приходит в бешенство. Поручик Яго пытается охладить его пыл, говорит добрые слова о генеральше, но Отелло лишь яростно вращает глазами и сравнивает Дездемону с турком-обрезанцем, которого он когда-то схватил за горло и заколол. Ворвавшись в семейную спальню, Отелло набрасывается на жену, жадно ищет ртом на ее губах осадка Кассиевых поцелуев и, наконец, перегрызает ей глотку. Судя по предсмертным стонам, Дездемона испытывает двойственные чувства: она счастлива, что любовь и страсть вернулись, но опечалена своим безвременным концом. На вопрос Эмилии, жены Яго, «Кто убийца?» Дездемона честно признается:

Никто. Сама. Пускай мой муж меня
Не поминает лихом. Будь здорова.

Другими словами, Дездемоне, как ни разворачивай фабулу и ни перекраивай характеры, предстоит хрипеть смертным хрипом еще не одно столетие. Говорят, секрет успеха драматургического произведения — в туго закрученном сюжете, живости диалогов, сценической динамике. Кто это оспорит? Но что может быть надежней и мощней, мощней и надежней древнегреческой пружины, пружины рока!

Первая глава

и последняя, в которой автор выходит на след литературоведческого открытия, но оно оставляет его с носом и запахом лилии

Ее называли миледи, и я влюбился в нее. Случилось это лет сорок тому, но первая любовь не забывается. Чтобы освободиться от навязчивых воспоминаний, отбрасывающих тень на мои отношения со слабым полом, я перечел «Трех мушкетеров», втайне надеясь набросать заметку о первой любви. Заметки не получилось. Вывод, к которому я пришел, оказался смертельно банален: кто не знает, что мужчинам в детстве нравятся вульгарные женщины? Кто не знает, что именно мальчики зачитывают до дыр порнографические журналы? Несмотря на неудачу, я не жалею, что вернулся к «Трем мушкетерам». Несколько мудрых мыслей я на ус намотал: чтобы сохранить нежную окраску и прозрачность ушных мочек, надо их время от времени пощипывать; руки женщины, чтобы остаться красивыми, должны быть праздными; женщина сотворена нам на погибель, и она источник всех наших бед. Жаль, что в детстве подобные бесценные наблюдения проходят стороной, иначе последующий опыт жизни мог бы быть не столь горек.

Отметил я и питейные обычаи Франции первой половины XVII века. За несколько дней заключения в трактирном погребе Атос выжрал не менее ста пятидесяти бутылок вина. Скромный юноша д'Артаньян не вставал вечером из-за стола, не опорожнив двух-трех бутылок бургундского. Бордоское вино мушкетеры тоже хлестали бутылками, хотя оно не пользовалось в те времена такой доброй славой, как теперь. Не брезговали они и испанским вином, хотя в ту пору оно было еще омерзительней, чем ныне.

Удивили меня и некоторые особенности интимных отношений в тогдашней Франции. Напомню, что жизнь Атоса вдребезги разбилась о скалу любви. В возрасте двадцати пяти лет он женился на шестнадцатилетней прелестной девушке, оказавшейся преступницей. Но помнит ли читатель, как Атос узнал о преступном прошлом супруги? Однажды на охоте она упала с лошади и лишилась чувств. Граф бросился на помощь и вспорол кинжалом платье, плотно облегавшее жену. И вот тогда-то на обнажившемся плече Атос впервые увидел выжженную лилию: знак, которым клеймили преступников. Но где же были графские глаза прежде? Или в добрые старые времена занимались любовью в платье? Не лобзали плеч, персей? Впоследствии д'Артаньян, проведший с миледи ночь в любовных утехах, только чудом заметил клеймо: «Д'Артаньян удержал ее за пеньюар из тонкого батиста, но она сделала попытку вырваться из его рук. При этом сильном и резком движении батист разорвался, обнажив ее плечи, и на одном прекрасном, белоснежном, круглом

плече д'Артаньян с невыразимым ужасом увидел цветок лилии». «Боже милосердный!» — только и смог простонать молодой обалдуй.

Но по-настоящему меня бросило в жар, в озноб, снова в жар, когда я прочел в главе «Анжуйское вино» записку, якобы написанную трактирщиком мушкетеров по имени Годо. «Неужели,— затрепетал я,— неужели пересмешник Беккет изобразил в лице своих бродяг современных мушкетеров? Какая наглая и при этом тонкая шутка, какая ироническая парабола!» Трепеща, я кинулся в соседнюю книжную лавку. Дрожащими руками нашел в оглавлении французского оригинала «Трех мушкетеров» главу «Анжуйское вино»... Ну, где же имя... как... как оно пишется?.. О Боги!.. Я не хотел верить своим глазам: Godeau... А у Беккета, увы, Godot!

Если судьба будет милостива ко мне, то спустя двадцать лет я вновь перечту «Трех мушкетеров». Любопытно, какие нечаянные приключения подстерегают меня в эпилоге жизни?

Шутка каламбуриста

По мнению пушкинистов, пьеса в стихах «Моцарт и Сальери» замышлялась как мистификация, поскольку рядом с названием поэт первоначально пометил «с немецкого». Действительно, почему с немецкого? И на каком языке, кстати, разговаривали венец Моцарт и итальянец Сальери? Моцарт знал итальянский, а Сальери с шестнадцати лет жил в Вене и был женат на венке. Так что скорее всего они плавно переходили с одного языка на другой. Но почему «с немецкого»? В начальном монологе Сальери восклицает: «Где ж правота, когда священный дар... озаряет голову безумца...» Второй раз слово «дар» появляется в конце первой сцены, появляется дважды: «Вот яд, последний дар моей Изоры» и «Теперь пора! Заветный дар любви, /Переходи сегодня в чашу дружбы». *Дар* по-английски *gift* (напр., to have a gift for music). В немецком языке слово *Gift* когда-то тоже означало *дар*, но уже в пушкинские времена чаще всего употреблялось в значении «яд» (напр., Giftbecher — кубок с ядом, а den Giftbecher leeren — выпить отравленный кубок: это вид казни). Вернемся к тем же цитатам из Пушкина: «Вот яд, последний дар моей Изоры». Неужели «яд» и «дар» оказались рядом случайно? И неужели в дьявольском замечании Сальери «Теперь пора! Заветный дар любви,/ Переходи сегодня в чашу дружбы» слова не играют и «чаша дружбы» это не «Giftbecher»? Как говорят в народе, что для англичанина дар, то для немца смерть. Конечно, каламбур — жанр низкий, самый низ юмора, но не с этого ли низа началась маленькая высокая трагедия?

Огонь — пожиратель книг

Что такое для нас сожжение книг? Это костры плюс инквизиторы, люди со свастикой, хунвейбины, это эпохи войн и одичания человечества. Но вот статистика современная: в результате террористической акции в Еврейском центре в Буэнос-Айресе погибли уникальные документы и книги по истории иудаизма и евреев; в библиотеке английского города Норвич из-за утечки газа сгорело сто тысяч ценнейших изданий; в последние дни Чаушеску в огне революции горела Государственная библиотека в Бухаресте; в 1988 году в Ленинграде сгорело 400 000 книг и пострадало не менее четырех миллионов изданий — этот пожар вошел в историю библиотек как «книжный Чернобыль»; незадолго до этого от зажигалки маньяка сгорели сотни тысяч книг Лос-Анджелесской библиотеки, одной из крупнейших в Америке; почти полностью сгорели библиотеки в Белфасте и в Сараеве. Так что если судить о цивилизованности человечества по количеству сжигаемых книг, то нашей эпохе гордиться нечем. Даже технический прогресс в пожарном деле мало чем помог: вода гасит пожар, но та же вода может полностью уничтожить старинные рукописи, ветхие летописи. В Древнем Риме пожарные команды создавались главным образом изготовителями войлока и фетра, поскольку эти ремесленники чаще всего страдали от пожаров, и они же чаще всего были виновниками пожаров. Отчаявшиеся библиотекари в наши дни тоже порой призывают организовывать свои пожарные команды.

Конечно, в сожжении книг в первую голову повинны люди. Классический пример — первый китайский император династии Цинь. Именно он в третьем веке до нашей эры распорядился сжечь все исторические хроники, дабы убедить себя и человечество, что история началась со времени его вступления на трон. Но, может быть, дело не только в злой человеческой воле? У книг и огня своя история отношений, и этой истории уже несколько тысяч лет. Они, книги и огонь, как бы тянутся друг к другу. Все знают, что огонь проглотил крупнейшую библиотеку античного мира в Александрии. Но не все помнят, что этот пожар, то затухая, то весело разгораясь, длился более четырехсот лет, словно огонь вначале читал папирусы и пергамент, а после уничтожал их. Мой коллега, поэт Алексей Цветков, рассуждая по «Свободе» о библиотеках, высказал потаенную мечту: да не пожалеет пламя мил-

лиардов современных книжонок массовой культуры. Мечта красивая, романтичная. Какому поэту она не по душе? Меня лично смущает лишь одно обстоятельство: у огня, этого ненасытного пожирателя книг, вкус почему-то не менее изысканный, чем у поэтов-романтиков.

Секрет нестарости

В очередной биографии Грэма Грина, где сказано много недобрых слов о внебрачных связях и гомосексуальных наклонностях писателя, мне бросилось в глаза замечание другого рода. Биограф считает, что в последние тридцать лет жизни Грин писал посредственно или плохо. По мнению биографа, этот регресс — следствие старения. Людей, которых принято называть творческими, пенсионный возраст скорее пугает. Действительно, с шахматистами, скажем, вроде бы все ясно: они с возрастом утрачивают форму. А писатели? Можно, конечно, привести много примеров творческого долголетия. Лев Толстой начал писать роман «Воскресение», когда ему было уже за шестьдесят. Гете, можно сказать, побил все рекорды литературной наглости: работу над первой частью «Фауста» он начал в 1773 году, в молодости, а второй частью занялся вплотную полвека спустя. И все же... Лет пятнадцать тому, воспользовавшись правом журналиста задавать неприятные вопросы, я спросил писателя Лоренса Дарелла, ныне уже покойного, не боится ли он списаться. На наших глазах, заметил я, хуже и хуже пишут Генрих Бёлль, Фридрих Дюрренмат, Грэм Грин. Дарелл ответил: «А что мне еще делать? Я взялся за этот гуж и буду тянуть его до конца».

У писателей, рано или сравнительно рано умерших, подобных проблем не было. Современная медицина смогла бы продлить жизнь Чехову, и он написал бы еще гору книг. Но выиграли бы от этого мы, читатели? Живи Пушкин на полвека позже, он избежал бы роковой дуэли (хотя едва ли избежал бы рока). А если бы избежал? Может быть, тогда бы мы великодушно похваливали его: «Какие свежие стихи! Просто потрясающе для человека на седьмом десятке!» Впрочем, с Пушкиным все не так просто. Мне кажется, что стареющий писатель способен преодолевать возраст хитростью и умом. Элиас Канетти, умерший в преклонном возрасте, хорошо писал всегда, но при этом всю жизнь менял жанры. Стоило ему добиться успеха в художественной прозе, как он принимался за драматургию, после за эссеистику, после за социологические исследования, после за мемуары. Философия писателя — это не его наивные суждения о судьбах мира и нации, а мучительный выбор слов, способа их сцепления, выбор жанра. Путешествуя по жанрам, писатель может избежать автоматизма, рутины, шаблона. Так что у Пушкина был шанс продержаться: все-таки он был неутомимым жанровым путешественником.

Саморазоблачение

«Все кончено. Ничего не поделаешь, — так утешают в Турции, отрубив голову по ошибке». Какой мудрец это сказал? Не Диккенс ли? А кто сформулировал вот такой закон: «Где нищета, там устрицы, и наоборот»? Неужели тот же Диккенс?

Не верьте моей вопросительной интонации и вообще не верьте в безграничную эрудицию журналистов. По крайней мере журналистов из Западной Европы и Америки. В библиотеке радио «Свобода», где я работаю, целая полка заставлена словарями цитат. Диккенса я цитировал по сборнику издательства «Пингвин». А есть еще оксфордская антология, антология известных цитат и антология необычных цитат, есть сборник латинских цитат, иностранных афоризмов, сборник высказываний о великих людях, есть антология выдающихся речей, антологии тематических цитат, например, целая книга цитат о любви или о гастрономии. Честно говоря, антология издательства «Пингвин», по которой я цитировал Диккенса, задела мои национально-патриотические чувства: Шекспиру в ней отдана дюжина страниц, а из Льва Толстого — всего три цитаты. Среди них, конечно же, о счастливых и несчастливых семьях. Зато в антологии политических цитат русско-советская тема представлена с размахом, хотя на обложке этой антологии — фотопортрет угандийского политика и людоеда Иди Амина. Тут же цитата из его выступления: «Я арестовал нескольких людей, которые собирались убить меня. Я съел их, чтобы они не съели меня».

Листая эту книгу, я собрал свою мини-антологию. Вот несколько щепоток из этих золотых россыпей. «Благодаря коммунизму Россия стала одним из самых могущественных государств в мире. Значит, что-то есть в этом коммунизме» (генералиссимус Франко). Или вот реакция английского премьер-министра Макмиллана на выступление Никиты Хрущева на Генеральной Ассамблее ООН в 1960 году (напомню, что Хрущев тогда разулся и в знак протеста колотил по столу туфлей): «Может быть, кто-нибудь переведет мне это выступление?» А вот как рекламировал Москву в качестве возможного устроителя Олимпийских игр мэр столицы Промыс-

лов: «Все двери будут открыты. Икра, водка, никаких проблем с визами». В 1925 году Лев Троцкий констатировал: «Англия наконец-то дозрела до революции». Еще один деятель международного коммунистического движения, Готвальд, так полемизирует с идейными оппонентами: «Вы спрашиваете, почему коммунистические лидеры так часто ездят в Москву? Я отвечу. Мы учимся, как получше сломать ваши капиталистические шеи». Среди политиков почему-то представлен поэт Геббельс: «Это все похоже на сказку» (о приходе к власти Гитлера). Другой поэт, Сталин, тоже не обойден вниманием: «Было бы ошибкой считать, что в нашей стране все в полном порядке» (1933 год).

Я листаю антологии цитат и отмечаю, что еще мне может пригодиться. Как не позариться на это богатство? Все-таки богатство приятней нищеты. Где нищета, там устрицы. Какой мудрец это сказал?

Читая палача

Последний британский палач Сид Дернли скончался года три назад. Я помню, что тогда британская пресса щедро писала о нем. У меня в архиве сохранилась даже газетная вырезка: интервью с вдовой. Но лучше всего о жизни Сида Дернли, на счету которого было двадцать пять повешенных, рассказал он сам в книге воспоминаний «История палача». Книга вышла в конце восьмидесятых, но попалась мне в руки только теперь.

Мечта стать палачом зародилась у Сида, когда ему стукнуло одиннадцать лет. На мальчика повлияла художественная литература: Сид зачитывался детективными романами Эдгара Уоллеса. Мечта осуществилась лишь отчасти: из-за гуманизации английского правосудия Дернли работал палачом только от случая к случаю, и волей-неволей ему пришлось овладеть профессией сварщика. Товарищи по работе не подозревали, куда и зачем Дернли время от времени отлучался. Нет, Дернли не был скрытным или замкнутым, просто он был обязан хранить в тайне свое призвание. Жена все же знала, чем он занимается. По ее словам, он никогда не вдавался в подробности, а обычно после казни на вопрос жены: «Ну как, все в порядке?» — отвечал: «Угу». Вообще, по словам жены, они были самой обыкновенной супружеской парой. Муж любил острое словцо, любил пропустить одну-другую пинту пива. С людьми был прост. Его все уважали. Все же у Дернли, судя по его воспоминаниям, были свои профессиональные амбиции. Он считал себя профессионалом высокого класса, так как путем усердных тренировок научился вешать в течение семи секунд. Это действительно был рекорд и своего рода прогресс: чем короче казнь, тем меньше мучается жертва. Дернли справедливо обижался, что Книга рекордов Гиннесса пренебрегла его достижением. Может быть, именно амбиции стали причиной разрыва между Дернли и его учителем, выдающимся британским палачом Албертом Пьерпоинтом. Последний смертельно обиделся на неуместную, как ему показалось, шутку подмастерья. Этой шутки Дернли не пересказал даже жене, так что мы ее уже никогда не узнаем. За каждую экзекуцию Дернли получал три гинеи. Среди тех двадцати пяти, кого Дернли повесил, один впоследствии был признан невиновным и посмертно оправдан. Но это была ошибка судопроизводства, а не палача. Сид Дернли умер от инфаркта в своей постели в своем доме в графстве Ноттингемшир.

Черные, жгучие, страстные

Очи на очи глядят, очи речи говорят. Какие речи? Роговица, зеница, яблоко, радужка, хрусталик — сколько выразительных, осязаемых слов окружают слово «глаз». Но вот само это слово, кажется, не так хрупко, не так сочно, не так ярко. В древнерусском оно означало «шарик»: «глазкы стекляныи» — «стеклянные шарики». Все-таки, согласитесь, стекло — не хрусталь. Поэтических рифм к глазам хватает, но не все они радуют. Краса — холодновата. Гроза — опасна. Лоза, как и сами глаза, с прозеленью, но к лозе льнет рифма «коза». А у козы глаза навыкат, у козы зоб, базедка. Роковое все же «з». У гоголевской ведьмы в «Вие» — «глаза», но стоит ведьме оборотиться панночкой, как на читателя глядят «очи». Эти очи на юге хранят в черном бархатном футляре ночи. А к ночи льнет рифма «дівочи».

Засіяли карі очі,
Зорі серед ночі...

Вы скажете, что эти шевченковские строки на грани кича. Да, на грани. Но как блестит, как играет эта грань! В малороссийской поэме Пушкина «Полтава» я насчитал всего две пары глаз. Зато очами поэма усеяна, как украинская ночь звездами.

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух.

Сколько все же эротики в этом «превозмочь», как переплелись в этом слове «очи» и «ночи»!

Кажется, лучше всего науку об очах преподавали в Нежине, в нежинской гимназии. Там учился Гоголь. Там же учился и Евген Гребенка, малороссийский переводчик пушкинской «Полтавы» и автор текста самого знаменитого русского романса «Очи черные, очи страстные». Вот это подарок! Вот это великодушие!

Ай да сукин сын

В начале мая 1826 года в московский особняк князя П. А. Вяземского было доставлено письмо из Михайловского от А. С. Пушкина. В письме к другу А. С. Пушкин писал о милой и доброй девушке, «...которую один из твоих друзей обрюхатил». (Первое лицо, замененное третьим,— несколько натужная шутка Пушкина.) Далее Пушкин просил друга: «Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино... При сем с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютки, если то будет мальчик... Милый мой, мне совестно ей-богу... но тут уж не до совести».

Пушкинисты, раскопав ревизии сельца Михайловского, доискались имени дворовой девки, «обрюхаченной» поэтом. Звали эту ревизскую душу Ольга, Ольга Михайловна, дочь Калашникова. В 1826 году ей было двадцать пять лет.

Во второй половине мая, не дождавшись ответа от П. А. Вяземского, Пушкин шлет еще одно послание другу: «Видел ли ты мою Эду?* вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли мила?» В том же послании Пушкин роняет фразу, которую так любят цитировать прозаики и критики: «Твои стихи к Мнимой Красавице (ах извини: Счастливице) слишком умны.— А поэзия, прости господи, должна быть глуповата».

Мне эта фраза о глуповатости поэзии кажется неискренней. Сравните ее, например, с лестным пушкинским отзывом о Е. А. Баратынском: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит»; или с другим пушкинским замечанием, на этот раз о французских поэтах: «Малгерб (Малерб по-нынешнему.— **И. П.**) ныне забыт подобно Ронсару... Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его, не зависящей от употребления». Да и самого Вяземского Пушкин от случая к случаю хвалит за ум («...я перед тобою дурак дураком»). В истории с дворовой девушкой Ольгой Пушкин и впрямь чувствует себя дураком, иначе он не обращался бы за помощью к другу. (Замечу в скобках, что Вяземский отказал Пушкину в помощи и посоветовал уладить дело через «блудного тестя», то есть отца Ольги.) Что до стихов к Мнимой Счастливице, то они — из самых пресных и неумных сочинений Вяземского:

Товарищи в земном плену житейских уз,
Друг другу чужды вы вне рокового круга:
Не промысл вас берег и прочил друг для друга,
Но света произвол вам наложил союз.

И т. д., до сведения скул.

Пушкинская фраза о «глуповатости поэзии» мне кажется вдвойне неискренней. В ней — косвенное признание, что наш поэт совершил глупость, попал впросак, и намек, снова-таки по касательной, дабы не обидеть друга, что «Мнимая Счастливица» — стихи бездарные, *а поэзия должна быть талантлива.*

Что же до Ольги, дочери Михайлы Калашникова, романтично прозванной пушкинистами «крепостной любовью» поэта, то родила она не дочь, не мышонка, не лягушку, не неведому зверюшку, а сына Павла. Прожил Павел Александрович ровно два с половиной месяца.

●

* Эда — героиня одноименной финляндской повести (в стихах) Е. А. Баратынского, простая финская девушка, обольщенная русским гусаром. (Прим. *автора.*)

Александр ВЕРНИКОВ

Тихий дон

ПОЧЕМУ КАРЛОС КАСТАНЕДА НЕ ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ

Каждая «великая» литература имеет — точнее, до последнего времени имела — свой «золотой век», который длится в среднем несколько десятилетий. Под «золотым веком» той или иной литературы (не вдаваясь здесь в социополитические, социокультурные, этногенетические, а тем паче астрономические причины подобного взрыва) я подразумеваю такой отрезок исторического времени, когда литература какой-то конкретной страны, какого-то конкретного языка является главенствующей, говоря на современный лад, на мировом рынке литературы. В этот период большинство писателей/читателей других стран/языков как бы равняются на эту, выдвинувшуюся вперед непременно целой плеядой имен литературу и сличают с ней свои собственные достижения, свой уровень; иначе говоря, это такой временной/временный период, когда литература некоей страны ощутимо увеличивает в мире «сферу своего влияния».

Для русской литературы это была приблизительно вторая половина XIX столетия с именами Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова, для американской — 20— 60-е годы века нынешнего: Фицджеральд, Томас Вулф, Хемингуэй, Дос Пассос, Стейнбек, Фолкнер и примкнувший к ним Уайлдер.

Особенности этого «тектонического» процесса таковы, что основное извержение, окончившись, оставляет по себе на близлежащей территории некоторое число дымящихся и потенциально грозных вулканов, но то место на Земле, где произойдет следующий сравнимый по мощности выброс, определить весьма трудно — возможно, просто потому, что литература, бывшая еще до недавнего времени весьма влиятельной силой в людском сообществе, все же не воспринимается власть в современном мире имущими, то есть политиками-учеными-банкирами, как сила, сравнимая с реальной сейсмической, политической или финансовой активностью, и потому прогнозированием новых литературных «землетрясений» никакой штат специалистов специально не занимается.

Однако, может быть, более точным для XX века формальным критерием «мирового господства» той или иной литературы было бы количество высших литературных премий — а именно Нобелевских,— присуждаемое ее представителям за сравнительно краткий (на глазах одного поколения) отрезок времени, скажем, за 10—15 лет.

После Северной Америки литературное «золото» перешло в страны Латинской Америки (воспринимаемые извне как более или менее единое пространство, определенное господством двух близко родственных языков — испанского и португальского). И такое движение может расцениваться как вполне мирное, поступательное перемещение на юг.

Борхес, Кортасар, Марио Варгас Льоса, Карпентьер, Маркес, Астуриас — эти имена были наиболее частыми на устах читающих интеллектуалов (по крайней мере русских), когда речь заходила о мировой литературе на всем протяжении 70—80-х годов. Чем, так сказать, взяла в свой оборот внимание читающей мировой общественности сия — на данный момент последняя во всех смыслах — литература? Позволю себе привести одну цитату из московского литературного альманаха «Волшебная гора» (1994, № 2). «И, видимо, ощущение этой «трещины между мирами» настолько привлекательно для человека, что уже три автора (Ригоберта Менчу, М. А. Астуриас и Г. Г. Маркес.— **А. В.**), обращавшихся к индейской традиции выхода в иное сознание, получили Нобелевскую премию».

Цитировавшийся отрывок взят из статьи специалиста по мезоамериканистике Г. Ершовой, а называется статья «Индейское учение дона Хуана». Надеюсь, нет необходимости пояснять, какой из бесчисленных в мировой литературной традиции донов Хуанов (Жуанов, или, говоря по-русски, по-чеховски, дядей Вань) имеется здесь в виду. Ясное дело, что в 80—90-е годы нашего века на мировой литературной арене действует и выступает куда как покруче любого Дэвида Копперфилда только один дон Хуан — герой книг североамериканского вроде бы по гражданству и латиноамериканского вроде бы по имени-фамилии автора Карлоса Кастанеды.

Поэт Вадим Месяц как-то передавал мне свой имевший место пару лет назад разговор с одним из жителей штата Техас, США. На вопрос: мол, знают ли они тут такого автора Кастанеду? — последовал ответ: «Да, знаем, конечно, но Маркес лучше». Этот ответ, кроме его явной переклички с вышеприведенной цитатой, видится мне исполненным большой важности в связи с тем вопросом, который я собираюсь поднять,— в таком ответе содержится подспудное, полуосознанное помещение обоих имен в один ряд, в одну парадигму — литературную,— на основе чего и выносится оценка.

Тот неведомый техасец, ни о роде занятий, ни об интеллектуальном уровне которого мне достоверно ничего не известно, без сомнений, рассматривает обоих авторов как литераторов на основании простого факта: оба пишут и выпускают книги, рассказывают в них «истории» и пользуются для этого буквами языка — литерами. А раз так, то оба, конечно, литераторы. Можно даже предположить, что тот техасец далек от профессионального общения с миром букв/текстов, и потому с его большого по отношению к ним удаления единство двух авторов так ясно видится и выглядит несомненным.

Не так обстоит дело со всевозможными специалистами в области литературы — с критиками, литературоведами, собственно литераторами, экспертами-номинаторами на премии и т. п. До сих пор мне лично не попадалось ни одного литературоведческого труда — будь то статья или монография,— где книги Кастанеды рассматривались бы именно как продукты литературного творчества, как так называемые произведения литературы — при том, например, что гораздо менее похожие на традиционные «тексты», на «литературу» и гораздо более «революционные» по форме «карточки» Льва Рубинштейна, считающегося поэтом-концептуалистом, или, скажем, «разрезки» Уильяма Берроуза, в этом качестве рассматриваются-таки.

Единственное, что мне довелось читать, по крайней мере на русском языке (я, увы, не имел случая ознакомиться с «книгой отзывов» на произведения Кастанеды, вышедшей отдельным томом, если не ошибаюсь, в 1986 году в США),— это абзац из маленького эссе В. Пелевина под названием «Икстлан — Петушки», опубликованного в самом конце того же альманаха «Волшебная гора»: «...Про этого человека написано очень многое, но никакой ясности ни у кого до сих пор нет. Одни считают, что Кастанеда открыл миру тайны древней культуры тольтеков. Другие полагают, что он просто ловкий компилятор, который собрал гербарий из цитат Людвига Витгенштейна и журнала Psychodelic Review, а потом перемешал их с подлинным антропологическим материалом. Но в любом случае книги Кастанеды — это прежде всего *первоклассная литература*, что признают даже самые яростные его критики» (курсив мой.— **А. В.**).

Однако несмотря на столь категоричный тон последней фразы или как раз исходя из этой категоричности В. Пелевин использует подобную фразу скорее как риторически-эмоциональную фигуру речи для волевого «пропихивания» его собственного отношения к Кастанеде, нежели констатирует некий консенсус.

Рассмотрим для начала положение Кастанеды-автора в контексте двух последних «золотых веков» мировой литературы, то есть североамериканской и латиноамериканской, а затем уже перейдем к постановке вопроса, почему же имеет место игнорирование на мировом литературном горизонте такого, говоря опять же по-русски, мирового парня, такой грандиозной фигуры, как Кастанеда, книги коего, выходившие во всем мире на протяжении двух последних десятилетий и продолжающие выходить миллионными тиражами (затыкающими за пояс, точно тыкву с «союзником», тиражи множества прочих литературных бестселлеров), читались и продолжают читаться с огромным вниманием и удовольствием самыми широкими аудиториями — от конторских служащих до представителей всех разновидностей интеллектуальной элиты. Итак, своим североамериканским подданством (о чем мы знаем из его книг) и своим латиноамериканским именем-происхождением (по сведениям опять же из его же книг) Кастанеда как бы сближает оба литературно мощнейших региона, сшивает их, черпая из их суммарной критической массы ядерную энергию для выдвижения на первый план мировой литературной (в самом широком

смысле слова) арены. Говоря иначе, подпитываясь у переживающей свой «золотой век» латиноамериканской литературы, Кастанеда таким образом возвращает литературе североамериканской ушедшие было первенство и силу и одновременно своим английским — самым «мировым» (хотя герои книг общались на испанском) — языком и подданством США, политически и экономически влиятельнейшей в мире державы, оцивилизовывает, что ли, диковатый латиноамериканский мир. Далее, перенося действие большинства книг в Северную Америку, в Аризонскую пустыню, Кастанеда и географически «проталкивает» или — иначе — учреждает единство и пограничную близость двух культур.

Здесь не место обсуждать, делает ли он это намеренно, с какой степенью расчета, равно как и то, реальны ли представленные в его книгах события или вымышленны. Я вообще не собираюсь затрагивать философско-мировоззренческие и «вероучительные» аспекты его книг, ибо именно они муссируются прежде и чаще всего, и я сам тоже высказывался по этому поводу (см. журнал «Урал», 1991, № 8, или послесловие к русскому переводу книги «Учение дона Хуана», Спб., библиотека «Звезды», 1991).

И вот теперь, наконец, основной вопрос: почему творчество Кастанеды до сих пор не рассматривается «специалистами» как явление литературы — по преимуществу прежде всего? На основании каких признаков или отсутствия оных?

1. По форме книги Кастанеды суть вполне традиционные повествования, с ограниченным набором самых распространенных стилистических приемов, и набор этот, как и сам язык книг, гораздо беднее и бесхитростнее того, что демонстрирует вся литература XX века. По сугубо жанровой литературной принадлежности эти книги ближе всего к дневниковой литературе, к отчету. Мировая литература насчитывает множество оформленных подобным образом текстов, вполне считающихся художественными. То же самое касается и повествования от первого лица: это давно принятый на вооружение и «прописанный» в мировой литературе прием, сугубая литературность которого ни у кого не вызывает ни возражений, ни тревог. Изобилие описательных пассажей у Кастанеды (пейзажи, портреты, сцены, эмоции, состояния и т. п.) и так называемых лирических отступлений также роднит его тексты с традиционной художественной литературой и не позволяет «запереть» его в рамках строго научной отчетности под рубрикой антропологии-этнографии-психологии. Возникновению подобного «запора» препятствует также очевидное литературное мастерство (дающее при чтении острое эстетическое удовольствие), которое Кастанеда проявляет в своих описательных пассажах (равно и в диалогах), мастерство, которое он — иначе говоря — тратит на них, без чего, казалось, можно было бы вполне обойтись, не ставь автор перед собой тех задач, которые иначе как художественно-эстетическими было бы определить весьма затруднительно.

2. Сериальность книг Кастанеды. Эта черта, как мы знаем, присуща современной литературе вообще и, видимо, остро востребована нынешним читающим сознанием. По этому признаку книги Кастанеды являются «прямыми преемниками» как романов Фенимора Купера, так и Фолкнера с его Йокнапатофой. Существенное отличие «лишь» в содержании или, вернее, в акцентах. Если в романах Фолкнера, а также Маркеса и Астуриаса так называемые провиденциальные, или «магические», силы мира присутствуют в виде намека или указания на них, в лучшем случае в виде всеопределяющего «задника», на фоне которого разыгрывается драма человеческих судеб, то Кастанеда тратит большую часть своего мастерства писателя и о-писателя на подробное изображение именно этих «внечеловеческих» сил. Именно «силы» становятся в его книгах главными героями — причем в этих силах при всей их «наглядности» очень мало антропоморфного, что можно рассматривать как необычайный писательский успех,— а люди отходят на задний план или, точнее, превращаются в живые стереоскопические фигуры на этом гигантском полотне. В отличие от всех прочих авторов-литераторов Кастанеда ставит перед собой — и выполняет! — головокружительную и труднейшую задачу тщательного, приковывающего читательский интерес описания фактуры экрана, на который проецируются «фильмы» людских жизней, и свойств «проектора», но отнюдь не созданием и не проецированием этих самых фильмов. «Создание» и «проецирование» происходят как бы автоматически, в силу того, что между проектором и экраном существует «разность потенциалов», порождающая напряжение и ток этих самых людских судеб. Новизна и дерзость такой литературы, по-моему, заслуживают тем большего внимания, чем сильнее она именно от этого, обычного нашего внимания и ускользает.

3. К самому, на мой взгляд, существенному попробую подойти от противного. В 1965 году, когда Карлос еще не выпустил ни одной книги, вышел в свет роман английского писателя Джона Фаулза под названием «The Magus» (в русском переводе — «Волхв») и получил очень высокую оценку читающей публики — в том числе интеллектуалов и литературных критиков,— притом, что то была первая публикация ранее никому не известного автора. Чем, спрашивается, был определен такой успех? Богатством «культурных пластов», задействованных в романе и поспособствовавших в свое время взлету Джойсова «Улисса»? Да, но не только. Более вероятно, успех был обусловлен тем, что на фоне современного цивилизованного мира Фаулз подробно показал настоящего живого «мага», хотя и весьма рафинированного и культурного. Кончис — так его звали — устраивает для своего ученика, переживающего кризис «европеизма» англичанина Николса, «чистку тоналя» (в терминах Кастанеды) на одном из островов в Эгейском море. Там шло в ход все: наркотические мистерии, сновидения, карнавалы, двойничество, суггестия и т. п. То же самое — и в гораздо больших объеме и деталях — вроде бы находим у Кастанеды. Успех еще более великий, но он не воспринимается и не рассматривается (и не оценивается) как успех литературный. Почему? Здесь, мне кажется, приоткрывается завеса тайны нашего восприятия того, что мы зовем «литературой».

Про Фаулза мы знаем, что он, может быть, гениальный писатель, но во всем остальном — такой же человек, как мы, и никакими особыми «силами», кроме своего писательского мастерства, не располагает. Ну, разве еще богатым воображением и эрудицией. Он не скрывает своего лица, своей личности, он как бы говорит: «Вот, смотрите, что и как Я сказал, что Я сотворил, что Я могу! Вот он какой — Я!» Странным образом наше знание о том, что автор самого фантастического произведения о нашей реальности реален и в принципе таков же, как мы, позволяет нам, с одной стороны, давать ему «добро» на писательство-сочинительство чего угодно, а с другой — вовсю восхищаться его творениями в нами же наложенных на эти творения категориальных рамках. Подвоха и угрозы для нашей идентичности и стабильности здесь нет, мы можем его и превознести до небес, а можем — в случае чего — и «за жабры взять», привлечь к ответу — как и любого автора с нестертой «личной историей» и неумаленным чувством «собственной значимости», говоря в терминах Кастанеды.

Художественный вымысел, таким образом, принимается нами в качестве, скажем, некой «тонкой» реальности только на фоне несомненной и «толстой» уверенности, что создатель ее не вымышлен и он — от мира сего, он «наш».

Кастанеда же, скрывая свое лицо от фоторепортеров, не выступая в печати, не давая интервью, не выставляя напоказ свою личность демонстративно, однако не скрываясь и не «затворяясь» тоже демонстративно и объясняя это целями того самого стирания личной истории и уменьшения чувства собственной важности (о чем мы знаем из его сочинений и только из них!), автоматически переворачивает всю ситуацию и вышибает из-под читателя его опору, его мягкое кресло или диван — бросает, используя его же образность, в «пропасть». Ибо получается, что, сводя до минимума (минимумом же средств!) свою личность автора как персоны и физически реального лица, присутствующего в том мире, где есть книги и читательские кресла, он тем самым лишает нас возможности воспринимать написанное им как сугубо художественный вымысел, расшатывает нашу стабильность и буквально колеблет/изменяет наши взгляды на реальность, заставляя серьезно и даже со смятением допускать, что он и впрямь обладает какими-то сверхъестественными силами, помимо литературного таланта! И всего этого он добивается единственно уменьшением своего авторского самолюбия, своих, говоря иначе, авторских прав — как мы понимаем их в современном мире. Он выдает потрясающий текст, приковывает к нему внимание всего мира (и содержанием, и своей авторской позицией) и при этом не требует награды и оценки, ибо знает, что его и так заметят,— не сообщает «обратного адреса».

Но почему, спрашивается, не рассматривать это как новаторский и сугубо литературный прием или «метаприем» на высшем уровне?! Да потому, что Кастанеда и тут подстилает соломки: он отнюдь не эпатирует читательскую аудиторию этим своим нестремлением к авторским лаврам. В своих книгах он милостиво и как бы заранее, опережая возможные вопросы, поясняет, что писал сии книги не по своей воле, а в русле выполнения задания по «магише», поставленной Учителем — мексиканским дядей Ваней. Он, выполняя это задание, видите ли, обязан был писать книги не как писатель, а как маг, причем делая это не в обычном состоянии, а в осо-

бом состоянии «сновидения». И мы, читая таковые слова, проглатываем их и киваем головой — мол, понятно, понятно, вот оно что!

А если все же посмотреть и на эти заявления как на внутрилитературный прием, где стереотип Музы повелевающей или Вдохновения посещающего весомо, грубо и зримо воплощается в двух безжалостно потешающихся над бедным писателем индейцах-магах?! Что мешает нам задаться вопросом, не является ли вся эта фигура разверткой, воплощением и буквализацией со стороны Кастанеды устойчивого выражения «магия слова», которое весьма часто — хотя преимущественно в символическом смысле — употребляется как синоним литературы и литературно-художественного творчества? Кто, говоря конкретнее, задавался вопросом, действительно ли обычным и не «сновидческим» ли является то состояние, в котором обычные писатели создают свои шедевры? Что мешает поставить вопрос, скажем, так: не давал ли кто и Джону Фаулзу задания писать роман «Маг» не как магу (коим он, допустим, являлся), а как обычному писателю? Тоже ведь, если вдуматься, задача не из плевых: попробуйте-ка, будучи Фолкнером, написать, как Майн Рид, или, будучи Набоковым, написать горьковский роман «Мать» или роман Чернышевского «Что делать?» вместо «Дара»!..

Теперь, мне кажется, пора сформулировать вывод: Кастанеда, почуяв, как никто прежде, всю остроту кризиса художественной литературы, сумел создать образ литературы «нового порядка», обнаружив и запустив в текстовое действие глубиннейшие механизмы читательского сознания/восприятия, скрытые от самих читателей. Он инкорпорировал читателя на «молекулярном» уровне в свой текст и незаметно для него самого сделал его активным участником, со-участником творческого процесса — не на словах, а на деле. Наделив слово действенностью, он максимально пробудил интерес читателя (который тому еще предстоит с изумлением обнаружить!) не к тому, *что* он читает, а к тому, *как* и *почему* он это делает. Без магии — хотя бы в виде словесных рассказов о ней, без магии, так сказать, на словах, то есть без буквальной магии слова, такое свершение не могло бы увенчаться столь широкомасштабным и длительным успехом. Расширение и просветление сознания читающего достигается, а за счет чего — «реальной магии» или магического умения организовывать слова,— не важно. То, что Кастанеда оживил слово, заставив как бы забыть о его давнишней «проклятости», о его буквализме-литературности, и есть именно триумф Слова, искусства Слова и Литературы с большой — *прописной* — буквы.

Благодаря столь глубокому пониманию кризиса литературы и столь фундаментальной ее «перестройке», благодаря, можно сказать, гениально простому изобретению нового «устройства» литературы Кастанеда обошелся без всех тех тотчас видимых глазу и смаргиваемых, принимаемых как неизбежная «у-словность» ухищрений/хитростей и «частных новшеств», которыми изобилует вся литература XX века, редко говорившая слово в простоте.

Очень огрубляя, можно сказать, что между творениями Кастанеды и литературой XX века те же соотношения, что между фильмами Питера Гринуэя (особенно «Книгами Просперо») и остальным кинематографом (кстати, Феллини «гонялся» за Кастанедой, мечтая снять фильм по его книгам, Тарковский был от него без ума и ставил едва ли не выше всех) или между компьютерными визуальными эффектами/виртуальной реальностью и громоздкими комбинированными съемками/монтажом.

Однако, так же как компьютерные технологии в кино «закрыли» эпоху монтажа, точно так же книги Кастанеды «закрывают» эпоху прежней мировой литературы со всеми ее «золотыми веками» и формальными изысками. Для достижения этого, видимо, невозможно было обойтись без предания себя «по-салажьи» в руки свирепого «деда» и «мага» дона Хуана.

Беспрецедентным по дерзости и масштабам, но безупречно подготовленным содержанием первых книг и потому воспринятым читателями практически без возражений стал металитературный прием передачи авторства. После девятой книги пишут женщины, «соратницы» Кастанеды по тем событиям, о которых мы узнали из его же книг! Новизна и дерзость такого приема не просто в том, что, допустим, Фолкнер передал бы перо, скажем, Айрис Мердок (хотя такое вряд ли возможно), а в том, что как бы Фолкнер передает перо как бы одному из героев своей Йокнапатофы, объявляя его/ее «реальным/реальной», как бы Толстой передает авторство и «авторские права» Наташе Ростовой. То есть на наших глазах герои литературного произведения — правда, по-особому поданного и после надлежащей подготовки-обработки читателя — буквально выходят из книг (как мы о том читали в дет-

стве в сказках и видели в «мультиках»), делаясь сначала авторами книг же, а затем «во плоти» снимаясь на видеокассеты в качестве руководителей «семинаров» по особому психотелесному практикуму «тольтеков», именуемому «тенсегрити», который мало чем отличается от комплексов движений у-шу и других «восточных» дисциплин.

Мало того, выходит в свет (1995) даже нечто наподобие «краткого курса истории тольтекской нагвалистической партии», написанного неким Кеном Орлиное Перо («кен» — от второго слога английского слова broken, означающего в переводе «сломанное»). Эта книга совершенно беспомощна и бездарна в литературном отношении и, демонстрируя своим появлением закономерность и неизбежность явлений эпигонства, одновременно призвана оттенить задним числом блеск и силу книг Кастанеды и женщин «его партии» и показать, сколь определяющей, если не сказать первостепенной, в мировом успехе книг Кастанеды была роль его писательского гения, его дар владеть воистину «орлиным», а не ломаным пером.

В связи со всем вышесказанным возникает вопрос: куда же смотрит Нобелевский комитет, озабоченный вроде бы присуждением премий за «достижения» в области литературы? Это ли, спрашивается, не достижение?! Причем именно мирового масштаба — даже если руководствоваться в оценке только цифрами тиражей и переизданий. Или за злостным, намеренным — иначе не скажешь — игнорированием Кастанеды как литератора кроется что-то существенное? Что там может крыться?

Во-первых, стереотип подспудной убежденности в том, что литература есть прежде всего «джентльменская игра по правилам», с соблюдением приличий и границ, играть в нарушение коих можно тоже только в определенных пределах. Литератором может быть и называться только тот, кто остается нормальным человеком, то есть не спутывает себя *сознательно* с героями собственных творений, а в литературе, в буквочках на бумаге, в так называемой магии слова стремится максимально реализоваться и даже «трансцендироваться» (несбыточное устремление битников), будучи уверен, что иных возможностей возвысить и расширить степень своей человеческой свободы у него нет.

Во-вторых, стирание «авторской личности» (Кастанеда как никто воплощает мечту постмодернизма об анонимном авторе, о «смерти автора» и о порождении просто «текстов»), видимо, воспринимается Нобелевским комитетом как неуважение, едва ли не как эпатаж.

В-третьих, боязнь попасть впросак: премию присудят, а лауреат на церемонию вручения не явится или явится в ином виде-теле, допустим, по теле-видению. Или явится не он, а просто достаточно дерзкий самозванец. Или явятся сразу несколько авторов/авторесс, которые станут на глазах мировой культурной элиты и Его Величества Короля сливаться воедино или, чего доброго, воспламенят в себе огонь изнутри, соединятся прямо на подиуме в пернатого огненного змея и исчезнут в свои миры иные, прихватив и чек, который столь преуспевающему писателю-миллионеру вряд ли и нужен.

Но в таком случае Нобелевская (да и любая иная) премия в области литературы начинает выглядеть не поощрением и признанием за достижения в этой самой области (которые, как видим, в случае Кастанеды более чем очевидны), а своего рода утешительным призом авторам, которые ничего иного не могут, кроме как колдовать с буквами и словами в плоскости бумаги, принципиально от этого не меняясь и не меняя читателей. Или иначе: такие премии начинают выглядеть как поощрение и «благодарность» за то, что авторы остаются верными правилам и этикету некоего закрытого пен-клуба — некоей масонской ложи, смысл существования которой выродился в отправление и соблюдение ритуалов.

И почему, спрашивается, в эпоху виртуальной реальности и компьютерных сетей не начать уже присуждать премии собственно произведениям, которые — как обстоит дело, например, с волшебными книгами Кастанеды — буквально живут своей жизнью? Причем можно ведь присуждать номинально, не тратя «живых» денег!

Вопрос этот на самом деле очень острый, актуальный, и само его возникновение еще раз указывает на то, что мы, продолжая себе жить в нашем мире, оказались «вдруг» (за каких-нибудь полстолетия, и то ли еще будет!) в совершенно измененной реальности, где стремительно теряет бывшую значимость и силу слово «кто» и в фокус внимания входят «что» и «как».

И в связи с этим нельзя не высказать относительно Кастанеды, относительно его и нашей реальности следующее предположение, которое, может быть, прозвучит как нечто диаметрально противоположное всему сказанному выше. Существует группа из 28 человек (где видное место занимает известный в 70—80-е годы американский писатель Джон Апдайк), и эта группа или — иначе — «партия» ежегодно устраивает так называемые «кастанедовские чтения», где члены обмениваются информацией, воспоминаниями о своих встречах с Карлосом (скажем, имевшими место в Калифорнийском университете или просто в Лос-Анджелесе), высказывают соображения относительно его творчества, обсуждают сферу влияния его книг, ведут учет числа, социальных и национальных характеристик его последователей в мире, дискутируют об истинной природе книг и опыта Кастанеды и т. п. Так вот, вполне допустимо и правомерно мнение, что эти 28 интеллектуалов и составляют вместе, и создают «Кастанеду» (28=2+8=1), делая это либо с ведома и согласия Нобелевского комитета, либо по заданию оного.

Как бы там ни было, и в этом повороте загадки Кастанеды нечто в связи с ним и литературой можно констатировать наверняка: кем бы или кеми бы «он» ни был, ему удалось то свершение, которого своими литературными силами и средствами тщились и не смогли достичь в великой русской литературе Лев Толстой, а в великой американской литературе четверо битников. Однако, несмотря на очевидный успех этого свершения, Кастанеда избежал и проклятия оказаться в одном ряду с такими влиятельнейшими практиками (и тоже в той или иной степени, несомненно, литераторами), как Ницше, Маркс, Фрейд и Гитлер.

●

Вячеслав КУРИЦЫН

Готовь сани летом, а телегу каждый день

Известно, что критик Страхов спросил в письме у Льва Толстого, о чем роман «Анна Каренина», а Толстой, не будь дурак, возразил, что для ответа следовало бы переписать весь текст романа. Про это любят рассказывать школьные и университетские преподаватели: вот, дескать, как форма неотрывна от содержания. Мой друг Костя Богомолов предположил, что Толстой, как граф добросовестный, тут же в письме весь роман целиком и воспроизвел: Страхов получил на нескольких подводах письмо Толстого, ворох бумаг, десять пудов — ответ на вопрос, о чем «Анна Каренина».

Если протрясти тексты вашего покорного слуги на «индекс цитации», выяснится, что на Костю Богомолова я ссылаюсь чаще, чем на своих любимых писателей Сорокина и Пелевина или своих любимых религиозных деятелей Кришну и Иисуса Христа.

Истории, которые придумывает Костя, кажутся мне подлинным украшением русской литературы. Только что не записаны на бумаге. Но литература, записанная на бумаге, существует меньше времени, чем устная литература. Когда-то письменности не было, а текстуальность уже была.

Историю про Страхова и Толстого я уже где-то цитировал. Несколько раз я пересказывал Костину басню о том, что американский кинематографист Дэвид Линч свой фильм «Твин Пикс» не сам придумал, а стянул у нас. Это римейк известного советского телесериала «И это все о нем». В начале фильма в маленьком населенном пункте происходит кровавое убийство. Потом ретроспективно восстанавливаются события, ему предшествовавшие. Граждане населенного пункта работают на лесопилке (у Линча) и лесоповале (у Женьки Столетова). Приезжает следователь, внедряющий весьма странные методы раскрытия тайны: Маклохан кидает камни в карту Тибета, Леонов прыгает с поезда. Всякие мистические мотивы: в фильме про Столетова есть слепой школьный учитель, который кожей чувствует разных людей и говорит, какого они цвета. Убийцы в обоих случаях как бы нет, а виновато мировое зло вкупе с выворачиваемой потихоньку атмосферой населенного пункта. И т. д. и т. п.

Вот свежее поступление от Кости: в шестидесятые годы советские ученые проводили, оказывается, смелый эксперимент — наш космонавт прилетел на Марс и там застрелился из пистолета. Решалась насущная проблема — «Есть ли смерть на Марсе?».

В некоторых изданиях даже бывали случаи, когда редакторы требовали выбрасывать упоминание Кости Богомолова — «слишком часто». А что делать, если очередная Костина история просто обязана была проиллюстрировать какой-нибудь скучный тезис? Редакторы советовали историю оставить, а ссылку убрать. Дескать, чего же, фольклор.

Не буду сейчас нудить о причинах, по которым устная литературная традиция ценится ниже письменной. И даже не то что ценится, а институализирована как-то иначе. Не буду поминать всуе Деррида и Ираклия Андроникова. Ограничусь двумя эмпирическими замечаниями.

Первое — устные литературные жанры, тяготеющие к формату дружеского диванного трепа, сплошь и рядом оказываются живее и интереснее литературы, из-

данной в журналах и книжках. На это, впрочем, можно возразить, что здесь не эмпирика никакая, а личное мнение автора.

Во втором замечании эмпирики больше. На улицах российских городов все чаще можно встретить американских граждан с ноутбуками и носовыми платочками в горошек, которые записывают «текущий фольклор»: устную литературу мегаполисов. А в самой Америке книжки «устных историй», записанного на диктофон и обработанного редактором трепа, давно стали вполне законным жанром словесности и соответствующего рынка.

Устные жанры тоже бывают разные. Всякий вспомнит заслуженные анекдоты и тосты.

Сегодняшняя наша публикация затеяна для пропаганды другого жанра: телеги. Слово «телега», наверное, хорошо памятно вам по Шукшину, вернее, по одной популярной театрально-телевизионной постановке, в которой герой-алкоголик Евгения Лебедева шумел на жену, что она накатала на него телегу в милицию. Здесь, как вы понимаете, под этим словом подразумевалась жалоба.

Достаточно часто телега закатывается в современные крутые боевики с криминальным оттенком. Или в социально близкие им масс-медиа (недавно я встретил ее в газете «Лимонка»). В этих случаях под выражением «прогнать телегу» имеется в виду обмануть или даже, простите, набрехать.

Но сама по себе необходимость отличать правду от вымысла связана с достаточно ограниченным кругом социальных, а тем более эстетических ситуаций. Эта проблема возникает, когда речь идет об истине (религия, так называемое «высокое искусство») или о собственности (криминал), но совершенно неактуальна, если речь идет о культурной деятельности, понятой как обмен знаками и настроениями. Или, еще проще, о культуре, понятой прежде всего как общение, а не как разборка (касается последняя вечных ценностей или раздела сфер влияния над коммерческими киосками). О культуре как повседневной практике, которую я по мере сил и возможностей пропагандирую в «Записках литературного человека».

В 1993-м или 1994 году в одном из номеров журнала «Забриски Rider», возникшего как «альманах дедов, отцов, детей и внуков власти настурций и мирового рок-н-ролла», но, к счастью, не зациклившегося на проблематике хиппи и рока, была опубликована примечательная «Телега о телеге». Маленькая заметка, подписанная «Т. Петрова, В. Шалабин (Питер)», очень внятно изъясняла сущность искомого жанра. Той телеги, что безразлична к вопросу о ложности и правдивости. Вот цитата из этой заметки:

«Итак, телега — некая устная история, притча, «быль», со странным, забавным или парадоксальным содержанием, услышанная, пережитая или придуманная рассказчиком (изобретенная разговаривающими совместно). Телегой может также именоваться неожиданная, оригинальная, парадоксальная (обычно не имеющая практической ценности) идея или теория».

Вот, скажем, свежеуслышанная мною «неожиданная, оригинальная, парадоксальная идея», явно «не имеющая практической ценности»: киновед Сергей Анашкин предположил после закрытия XX Московского кинофестиваля, что коли уж ради престижу сюда пытаются привозить всяческих кинозвезд и коли уж Москве все равно достаются звезды пенсионного возраста, которые в кино уже не снимаются, а только светятся по фестивалям, то почему не продлить возможность участия звезд за скорбный порог и не приглашать на праздник актеров прошлого, миновавших известную роковую черту, но способных подвергаться транспортировке при посредстве некоторых специфических материалов — например, хрусталя.

Последним абзацем я попытался продемонстрировать не только то, как может выглядеть телега, но и способ, каким она обычно вторгается в разговор: без видимой связи с его предшествующим и последующим течением.

Впрочем, продолжу прерванную цитацию: там мы довольно неожиданно обнаружим вполне классическую басенную «мораль». «Склонность к постоянному сочинению и рассказыванию телег («Готовь сани летом, а телегу каждый день» — поговорка), как, вообще-то говоря, и способность к их адекватному восприятию, свидетельствуют об определенной склонности к парадоксальному мышлению, разветвленных ассоциативных связях и способности к нетривиальным логическим ходам. Не будет преувеличением утверждать, что телеги обучают чему-то важному людей, в кругу которых распространена эта «устная народная традиция». Чему же? Нестандартному, нешаблонному взгляду на мир, объемному, многомерному восприятию людей и жизненных ситуаций...»

Грешен: я и сам люблю говорить о социально-терапевтических потенциях постмодернистской культуры, которая не требует от человека ответов на «проклятые вопросы», а просто обеспечивает пространство теплого и интересного общения. Это простительная слабость: человеку свойственно внушать миру свои представления о нем. Конечно, вряд ли следует говорить, что телеги (так же, как романы или драматические поэмы) способны чему-либо «обучать». Конечно, вряд ли стоит говорить о «многомерностях»: риторически это очень слабый ход, каждый следующий оппонент может заявить, что у него припасена еще парочка измерений, не учтенных другими...

Но так или иначе обществу, уставшему отвечать на проклятые вопросы, нужны сегодня опыты не-агрессивных культур. И потому мне кажется действительно *полезным* рассказать о жанре телеги.

Позже я познакомился и даже подружился с обоими авторами «Телеги о телеге», и, признаюсь, эта дружба оказалась для меня необычайно важна.

Из тех ценностей, которыми можно поделиться: у Татьяны Петровой я перенял такую непривычную для себя вещь, как жизненные принципы. А именно: существует на свете два смертных греха — наезд и загруз.

А Валерий Шалабин последнее время живет в Москве, и я регулярно имею возможность выслушивать от него уже не теоретические «телеги о телеге», а конкретные шедевры в этом жанре. Запись одного из них (признаюсь, у меня был единственный критерий отбора: отсутствие матерных слов и юридически сомнительных моментов) я и предлагаю вашему вниманию.

Валерий ШАЛАБИН

КАК ХУДОЖНИК ИГОРЬ ОРЛОВ САМУРАЙСКИМ КЛИНКОМ БАНДИТСКУЮ МАШИНУ ПОРУБАЛ

Эта история случилась летом 89-го года, когда большая группа питерских художников въехала в капремонтный дом на Пушкинской, 10, который позже стал широко известен как своего рода художественно-музыкальный центр. Поначалу же его просто сквотировали всякие творческие люди. Мне эта затея показалась сомнительной, я подозревал, что среди художников сразу начнутся бардак и пьянка, что в общем-то и подтвердилось.

В те дни приехали ко мне гостить два художника из Еревана, выпили мы в джазовом клубе изрядно коньячку. А наутро звонит мне мой друг, живописец Игорь Орлов, и сообщает буквальным образом следующий текст: «Валера, тут у нас гастролеры, я их машину-то саблей порубил, менты меня сейчас придут забирать, в общем, я иду вешаться».

Надо сказать, что я даже не очень удивился сообщенному, поскольку характер Игоря Орлова знал неплохо. И клинок-то у него как раз был. Один тоже, так сказать, художник, впоследствии совсем уж повредившийся в уме, подарил Игорю японскую катану, самурайский парадный палаш, извлеченный из могилы маньчжурского офицера на Дальнем Востоке. Игорь к этому клинку всячески прикалывался, совершая с ним упражнения перед своими холстами для повышения их энергетичности. Не хватало на клинке только рукоятки, которую он заказал в реставрационной мастерской музея этнографии. Но ко времени, когда рукоятка была готова, саблю уже давно изъяли менты...

Просыпаюсь я, стало быть, от такого сообщения после коньяка джазклубовского и говорю: подожди, не вешайся, я сейчас приеду, посмотрю, что происходит. Тачка, как всегда в срочных случаях, не ловилась, поэтому битых часа полтора добирался с Охты до Пушкинской. В то время Пушкинская улица была отгорожена от Невского каким-то овощным лотком и транспорт там не ходил. Иду, народу никого, жарко, на размягченном от солнца асфальте, воткнув в него саблю, сидит Игорь Орлов, весь из себя в черном, и саблю ремешком каким-то старательно обматывает. Я к нему подхожу, присаживаюсь, закуриваю, спрашиваю: а что ты тут делаешь? Да вот, говорит, саблю от ментов прячу. Я говорю: а давай мы пойдем ее прятать к тебе в мастерскую. Он отвечает: и то дело.

Поднимаемся мы к нему в мастерскую на пятый или шестой этаж, а там удивительная картина: вся комната заставлена бутылками со столовым вином, причем

одни из них пустые, другие открыты, но недопитые, а третьи и вовсе полные. Оказывается, накануне художник Орлов, как и все остальные обитатели дома, пятнадцатый день праздновал новоселье. И смотрит: во двор приехала машина с какими-то бритыми ребятами в кожаных куртках и спортивных штанах. Ходят по двору, выясняют, а кто тут живет, да за сколько арендуют помещение, все такое.

Игорю тут же спьяну пригрезилось, что это бандиты приехали с художников дань собирать и рэкет свой устанавливать. Неизвестно, так ли дело было или просто какие-то люди искали себе помещение под фирму... Орлов к ним подходит и говорит типа: ну-ка брысь на фиг, и в наши дела не лезьте.

На что они ему отвечают: а ты вали отсюда, доходяга.

На доходягу-то художник Орлов обиделся, он вообще парень крепкий. Спрашивает: доходяга? Это ваше последнее слово?

Да, да, говорят, мол, иди.

Поднялся он на свой этаж, завязал волосы сзади в узел, и в узел этот воткнул свою катану на манер как самураи носили, потому как когда из узла ее выхватываешь, то и размах делать не надо, сразу бьешь.

Спускается вниз и говорит этим браткам: ну что, доходяга?

Они ему говорят: ну что пристал? Проваливай отсюда. Доходяга.

Тут раздался в воздухе свист, и катана обрушилась на лобовое стекло, которое от такого удара раскололось. Братки в кожаных куртках, глядя на такое сумасшедшее дело, не говоря худого слова, сели в тачку и уехали. А Игорь остался стоять, качаясь, с дымящейся саблей в руках посреди двора. И в голове его роятся всякие пьяные мысли: так, они сейчас поехали за подмогой, приедут — всех нас тут перебьют-перестреляют. Надо корешиться с местной урлой. Это у него такой архетип всплыл в памяти, поскольку он в подростковые годы был на проспекте Обуховской обороны лихим парнем, на танцах там махаться и так далее.

И побежал он на знаменитый тогда в Питере Пьяный угол (Кузнечного и Пушкинской). Там стоят какие-то мужики местные урловые, вином торгуют. Он им начинает объяснять: ребята, мы, мол, свои, местные, тут бандиты-гастролеры наехали, надо вам, мол, нам помочь и держаться всем заодно. Ну, мужички-то сообразили, что человек пьян совсем, говорят: ага, мы сейчас тебе поможем, пойдем к тебе да выпьем чего-нибудь. Чем-то его напоили, он быстро отрубился. Утром просыпается, смотрит: сперли у него кожаную куртку, рубашку джинсовую и 90 рублей — большие по тем временам деньги.

Ну, что делать? Выручай меня, моя верная сабля.

Хватает он клинок — и бежать на этот Пьяный угол, вращая клинком над головой, а там из мужичков вчерашних только один стоит. И в руках у него две сумки тяжелые со столовым вином, принесенным на продажу. Видит, что бежит такое, понимает, что товар уже не спасти. Сумки бросил — и наутек. Игорь взял сумки в виде контрибуции, притащил их в мастерскую и давай пить. Тут на него все и навалилось: что менты его за машину порубанную заберут, бандиты мстить будут, и вообще все плохо. Но дело как-то само собой рассосалось.

Но катана Игорю и дальше спокойно жить не давала. Кончилось все дело тем, что поймали его на улице, размахивающего саблей, опять-таки неподалеку от Пушкинской, 10. И он стал объяснять ментам, что саблю нашел и нес сдавать ее в милицию. Но никто не мог объяснить, почему сдавать саблю в милицию его сопровождал один человек с дубиной и один с велосипедной цепью. Куда ребята направлялись, так и осталось невыясненным. Но клинки такие до добра не доводят. Не надо было из могилы вытаскивать.

●

Павел БАСИНСКИЙ

Писатель и его собака

«Есть две культуры в каждой национальной культуре». Сказал это не самый хороший, но и не самый глупый человек. Притом взял это не из собственной головы, но — из всего опыта русской классической литературы и ее критики. Конечно, прежде всего он имел в виду, что в каждой национальной культуре есть культура элитарная, аристократическая («верхних десяти тысяч») и культура народная, демократическая.

И это правда — но не вся.

В сущности, эта формула — «два в одном» — приложима, например, к русской литературе на самых разных, порой самых неожиданных уровнях.

Такой подход можно назвать «методом забавных оппозиций». Скажем, есть в мировом искусстве такая ветвь — «анималистика» (изображение животных). И все, например, писатели условно делятся на тех, кто *способен* изображать животных, и тех, кто животных изображать *не способен.* Не то чтобы не хотел или считал ниже своего эстетического достоинства, а просто не мог и не может. Своего рода импотенция — в пределах данного художественного акта. Нельзя за это писателя винить, но всегда имеет смысл задуматься: почему? Что мешает?

Результаты будут весьма любопытные — заверяю вас! Были и есть очень даровитые писатели, способные мастерски передавать тончайшие оттенки человеческой психологии и — совершенно беспомощные там, где речь заходит о животных.

Например, о собаках.

Признанный *певец русской природы* Иван Бунин. О-о — да! Но однажды, перечитывая его «Сны Чанга», я был поражен, с какой безответственной жестокостью он, великий психолог, рисует образ пса, *спаиваемого* хозяином, бывшим капитаном дальнего плавания. Пес-то *пьет!* Натурально: и водку, и все, что ему наливает капитан в ресторанах. Больше того: пес *опохмеляется* ранним утром и (sic!) «медленно вплывает в то блаженное состояние, которое всегда дает водка». Собственно *сны Чанга* — это результат ежедневного алкогольного отравления, от которого несчастное животное, не обладающее ни малейшим наследственным иммунитетом против пьянства (вряд ли его китайских предков регулярно поили рисовой водкой — китайцы не так богаты и не такие сволочи), должно сдохнуть довольно быстро, по крайней мере гораздо скорей своего хозяина. Между тем хозяин помирает раньше. И это понятно: для Бунина чрезвычайно важен этот найденный угол зрения, этот собачий взгляд из-за камина, из-под ресторанного столика, из загадочных собачьих снов. Это действительно художественная находка: через пьяный бред собаки показать историю несчастной любви капитана.

Оставляю в стороне вопрос этический: я не Бриджит Бардо, чтобы кликушествовать о жестоком обращении человека с животными и требовать на сей счет каких-то гражданских законов. Но обратите внимание: как жестоко наказала Бунина-художника, Бунина — непререкаемого эстета бездарнейшая (на мой взгляд) попытка использовать собачью психологию в качестве *средства* для создания образа неразделенной любви.

Итак, хозяин помер — то ли от водки, то ли от тяжелых воспоминаний. Тело несчастного отпевают в костеле, и — *«ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина: перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на*

черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины,— точно две сестры разных возрастов,— а надо всем этим — гул, громы, клир звонко вопиящих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие — и все собой покрывающие неземные песнопения».

Заметьте: накануне пес не принял ни грамма алкоголя — некому было подать. Все его больное естество должно жаждать только одного, без чего безнадежно загубленное животное с его в этом смысле несложной психикой должно мучиться, мучиться, мучиться... Вместо этого Чанг с чисто бунинским эстетическим наслаждением вновь галлюцинирует: тут тебе и «готический чертог», и «красные (при черно-белом-то зрении! — **П. Б.**) звезды огней», и «целый лес тропических растений», и — о Господи! — «две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины»! Скажете, я придираюсь? Скажете, здесь угол зрения изменился и мы видим и слышим все это не глазами и ушами Чанга? Позвольте! *«И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением».* Не на авторе же она встала дыбом! Чанга это видение.

Я не Бог весть какой кинолог, но собак все-таки наблюдал. Во-первых, ни от боли, ни от восторга они шерстью не дыбятся. Это признак испуга либо агрессии. Во-вторых, поймайте пса и заставьте *одновременно* испытать боль и восторг — потом расскажите, как этого добились. В-третьих, *вся* шерсть дыбом, не только на загривке — это уже что-то серьезное! Не иначе Чанг собирался кого-то растерзать; но собака вроде была смирная.

Впрочем, готов допустить, что из-за нежданного для данной собачьей психики отсутствия алкоголя в крови Чанг пришел в страшное и непредсказуемое возбуждение. Но это уже клиника. «Ангелы», «звезды», «чертоги» тут категорически неуместны! И не «неземные песнопения» должны над этим звучать, а жуткий вой или скулеж обманутого человеком доверчивого существа, с которым он обошелся, как... Нехорошо, словом!

Чанга забрал к себе приятель капитана, художник. И вот Чанг лежит возле камина и видит сны. Для Бунина очень важно, *как* закончить рассказ; и он завершает его на философической ноте:

«Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан; в том безначальном и бесконечном мире, что не доступен Смерти. В мире этом должна быть только одна правда,— третья,— а какая она,— про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться и Чанг».

Слов нет, какие это мощные строки! И понимаешь наконец, что капитан — это не капитан, а Бог, и что Чанг — это не Чанг, а сам Бунин. И готов простить все, приняв этот последний и окончательный угол зрения, с которого все видится совсем иначе, чем сначала. Но что-то мешает. Я долго не мог понять: *что?* И, лишь еще раз перечитав рассказ, понял. Бунин переборщил с камином! Как раз возле камина старый хозяин и наливал собаке водочки — после собственной, естественно, поправки здоровья: *«Капитан пьет прямо из горлышка и, слегка задохнувшись и отдуваясь в усы, направляется к камину, изливает в плошку, стоящую возле него, водки и для Чанга. Чанг начинает жадно лакать».*

Как полагаете: что переживает Чанг после непостижимого для него воздержания, страдающий от того, чему на собачьем языке и соответствующих понятий-то не найти, оказавшись опять рядом с камином?

Этот камин! Ясно, откуда он:

Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила — и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

Вдруг приходит в голову нелепейшая замена: «Хорошо бы собаку *споить*...» Глупо, конечно!

«Одиночество» (1903) — одно из лучших, одно из самых пронзительных и самых известных стихотворений Ивана Бунина! Именно его он читает старческим, но сильным и молодым голосом на редкой звуковой записи. В последней строке, быть может, точнее, чем где бы то ни было, отражена бездомовная судьба писателя, вечного странника, чьим единственным имуществом стал «чемодан», о котором он писал в письме М. Горькому. Завести собаку — значит — завести свой дом, чего (Бунин это знал!) он не сделал бы ни за что! Собака — не кошечка. С ней не отправишься на Ближний Восток, в Египет, Африку, Индию и дальше...

И неожиданно, сопоставив «Одиночество» и «Сны Чанга», более отчетливо понимаешь природу бунинского творчества. Дело, конечно, не в том, что в этом творчестве *не было места для собаки.* Все эти гончие и борзые, звонко травящие зверя на осенних полях и в лесах, где *«грибы сошли, но крепко пахнет в оврагах сыростью грибной»*,— не собаки, но только свора, только вихрь мимолетный, исчезающий из памяти значительно быстрее, чем запах грибов и антоновских яблок в помещичьем саду...

Дело в том, что в творчестве Бунина не было места для собаки из-за того, что бунинский *лиризм* все же сильнее его *реализма*. Это писатель высочайшей лирической (то есть *индивидуалистической*) культуры. Он ни разу не отпустил свою Музу пожить на волюшке и свить свое собственное гнездо в этом мире. Он так и возил ее в своем «чемодане» вместе с дорогой памятью о *своем* детстве, *своей* деревне, *своей* первой любви. И она была покорна ему, как Чанг своему капитану, жестоко терзаемый морской качкой, но никогда не замысливший бежать с корабля. Она легко и любовно подчинялась его художественным капризам, в общем-то понимая, что результат будет всегда восхитительный и что лучше не спорить с таким мудрым Хозяином. Но собственных капризов она не имела... Она не могла неожиданно «удрать штуку», как пушкинская Татьяна. Она была *рабой свободного человека.*

Я не раз замечал, что писательские собаки в чем-то сродни творческой природе писателя. Например, в доме Куприна (в Гатчине) собаки *роились.* Их было много — от запечатленного на фотографиях Сапсана до никому не ведомых сук и кобелей. Можно вообразить, что за кавардак стоял в доме! И столь же безалаберной, без начала и конца, без четкого образа *пути*, была творческая судьба Куприна, которая, на мой взгляд, *вольнее* дышит эстетической свободой, чем судьба Бунина. Поразительная деталь: в эмиграции угасающий Куприн живет как бы без собак. Может, и были, но в воспоминаниях не зафиксировались. Из эмиграции в Россию умирающий Куприн вез с собой *кошечку*, ту самую, которую ему милостиво разрешили взять советские чиновники из посольства.

В доме Буниных в Грасе, насколько мне известно, не было собак. Да и нельзя представить себе, чтобы этот олимпиец терпел возле себя существо, способное щенком нагадить возле письменного стола, изгрызть любимое перо, испачкать мокрой лапой рукопись «Чистого понедельника».

Его Муза не терпела запаха псины...

Но, быть может, здесь и лежит объяснение преимущества Куприна перед Буниным — неизъяснимого, неразгаданного, но все-таки ощущаемого как раз теми, для кого творчество обоих писателей в равной мере ценно. Куприн беднее как художник, но и наивнее, щедрее. Его «Белый пудель» был, есть и будет во всех порядочных детских хрестоматиях вроде «Живых страниц». Но что можно включить туда из Бунина, кроме природных описаний — удивительных, замечательных, но едва ли сердечно интересных для любопытного детского глаза? Куприна *можно* перечитывать, а можно и не перечитывать. Просто помнить о его героях, сюжетах, пересказывая их друзьям как бы между делом. Бунина перечитывать *надо.* Пересказывать его невозможно.

Не было здесь собаки!

Давно и с интересом отмечаю для себя, кто из писателей моего поколения имеет собак, а кто нет. И — каких собак? Например, у Сергея Гандлевского, чьи стихи отличаются жестким, но и щегольским поэтическим рисунком,— белый боксер. У прозаика Владислава Отрошенко, природного казака, временами впадающего в эстетство и постоянно балансирующего на грани между почвенничеством и постмодернизмом,— доберман и, разумеется, сука — существо нервное, эгоистическое и малопредсказуемое. У Олега Павлова, чья планида играть роль Писателя Земли Русской,— а-агромадный черный водолаз. У Вячеслава Курицына собаки нет и быть не может. Почему ее нет у очень русского и очень православного Алексея Варламова, не знаю — надо бы обмозговать.

У меня — собака живет.

Дворняга. По кличке Буян.

●

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ. ВОТ СТОЮ Я ПЕРЕД ВАМИ, СЛОВНО ГОЛЕНЬКИЙ... Песни и поэмы. Спб., Издательский дом «Пенаты», 1997. 20 000 экз.

К настоящему моменту сборников Галича выпущено достаточно, чтобы каждый следующий составитель не перевирал канонические тексты. Однако стихотворные строчки кое-где исковерканы, пропали многие посвящения и некоторые рефрены. Также следует напомнить, что песенка «Слава героям» («У лошади была грудная жаба») написана вместе с Геннадием Шпаликовым. И все-таки причина пересмотреть (а не испортить) устоявшиеся тексты есть, ведь известные песни иногда исполнялись автором иначе. Например, песня «Я в путь собирался всегда налегке...» на магнитофонной пленке имеет еще две строфы.

Пусть маршалы учат науку свою.

Тут следует плохо разбираемая строка с военной терминологией, которая и мешает восстановить текст. Далее же — такие простые и щемящие строки:

А нас, рядовых, убивают в бою,
А там уж как Бог порешит.

И другое пропущенное четверостишие:

Я ветром осенних ночлегов пропах,
Увенчан весенней листвой.
До старости лет — молоко на губах,
До тьмы гробовой — рядовой.

Строфы пропущены во всех российских изданиях Галича. А что до нынешнего, небрежность не искупают ни краткая хроника жизни и творчества поэта, ни начало прежде не публиковавшегося романа «Еще раз о черте».

АНТИМИР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. ЯЗЫК. ФОЛЬКЛОР. ЛИТЕРАТУРА. М., Научно-издательский центр «Ладомир», 1996. 2000 экз.

Сборник включает статьи, посвященные «низким» жанрам фольклора, обсцентной лексике, русской неподцензурной и нецензурной литературе, в частности, теперь уже классическую работу Б. Успенского «Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии». Впрочем, именно высокий научный уровень представленных материалов предполагает возможность для полемики либо дополнений. По моему мнению, в статье об анекдотах про «Вовочку» мифологическому аспекту отождествления героя с Лениным уделено слишком мало внимания. Ведь не зря прежде героем анекдотической саги был не Вовочка, а Петечка. Значимость обоих имен для российской культуры (второго и в форме отчества) очевидна.

РОБЕРТ ВАН ГУЛИК. СОЧИНЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ. М., «Терра», 1996. Тираж не указан.

Удачливый дипломат, голландец по национальности, автор уникальных исследований «Сексуальная жизнь в Древнем Китае» и «Эротические гравюры эпохи Мин», он писал многочисленные детективные романы из древней китайской жизни на английском языке, украшая собственноручными стилизациями под старые китайские гравюры. Герой романов судья Ди — лицо реальное, о нем упоминается в хрониках, но романист не слишком придерживается фактов. И романный судья Ди существует на равных со своим историческим прототипом. Судья раскрывает самые загадочные преступления, умело выходит из лабиринтов усложненного и прекрасно разработанного свода китайских законов, а оказываясь лицом к лицу с противником, аккуратно подвязывает бороду и вступает в поединок. Кажется, в образе судьи Ди романист воплотил такую знакомую современным европейцам мечту о деятельной и действенной справедливости. Недаром он стал сочинять эти детективы через несколько лет после окончания второй мировой войны.

МАРИНА МОСКВИНА. МОЯ СОБАКА ЛЮБИТ ДЖАЗ. М., «Олимпионик», 1997. 20 000 экз.

Уже авторские посвящения — Дине Рубиной, Сергею Седову, Гале Демыкиной, Лёне Тишкову — показывают, что это вовсе не книга детских рассказов, а собрание текстов, принадлежащих определенной субкультуре, со своей довольно скучной эстетикой, своими художественными канонами, не Бог весть какими оригинальными, и своими привычными шутками, вызывающими смех лишь в своем кругу. Из того же круга, по всей видимости, и художник, оформивший книгу рисун-

ками, чем-то напоминающими графику упомянутого Л. Тишкова. Но это не подражание, а определенный канон.

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ, ШУТЛИВАЯ И ЭРОТИЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА. Спб., Гуманитарное агентство «Академический проект», MCMXCVII. 5000 экз.

В книге представлены прежде непереводившиеся (по причине безнравственности) эпиграммы из Палатинской антологии. Изредка попадаются почти внятные переводы, вроде стихотворения о невоспитанном юноше:

«Здравствуй!» — ему говорят, а вместо ответа молчанье.
Так же прекрасный Дамон «здравствуй» забыл мне сказать.
Время возмездья настанет! Когда обрастешь ты щетиной:
«Здравствуй!» — ты скажешь тогда, но не ответят тебе.

Сотни страниц посвящены доказательству того, что самосознание людей и человеческие характеры необратимо меняются в процессе исторического развития, но, судя по таким стихам, мы ничуть не отличаемся от древних греков.

АННА РАДЛОВА. БОГОРОДИЦЫН КОРАБЛЬ. КРЫЛАТЫЙ ГОСТЬ. ПОВЕСТЬ О ТАТАРИНОВОЙ. М., «ИЦ-Гарант», 1997. 1200 экз.

Любопытно, существует ли произведение, если читателю неведома его символика? Можно ли прочитать произведение как таковое? Вопросы не праздные, ибо и представленная в сборнике драма, и стихи из книги «Крылатый гость» используют мотивы скопческих легенд и песнопений, а повесть посвящена хлыстовской богородице. Но вот стихи, звучащие и вне принудительной семантики:

То не душа от тела улетает,
А тело от тоски своей летит
И на лету земную кровь сжигает
И, легкое, бескровное, парит.

С прозой сложнее — сюжет остается сюжетом, ему нужней толкования (сборнику предпослана обширная статья А. Эткинда, он и автор подробных примечаний).

О. А. СУДЛЕНКОВА, Л. П. КОРТЕС. 100 ПИСАТЕЛЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. Минск, «Вышэйшая школа», 1997. 10 000 экз.

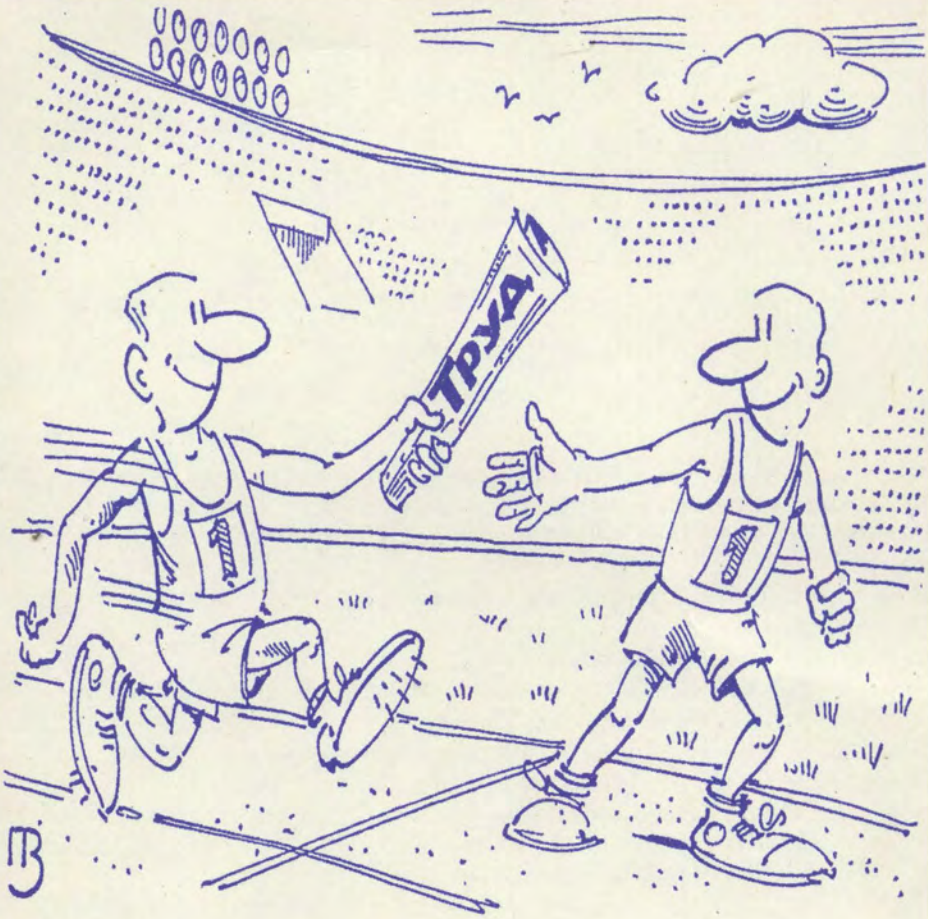
Составленный с большим тактом, словарь объединяет короткие справки о писателях, обильные сведения как о произведениях того или иного автора, так и об основных переводах их на русский и белорусский языки и отлично иллюстрирован. К сожалению, разнобой с датами заставляет сомневаться в правильности всех датировок. Не упомянуты и некоторые переводы, но тут составителей винить трудно: при нынешнем хаотическом книгопечатании за всем попросту не уследить.

К. КЛАУЗЕВИЦ. О ВОЙНЕ. М., Издательская корпорация «Логос», Международная академическая издательская компания «Наука», [Б. г.]. Тираж не указан.

За сказанным кроются смыслы, разгадывать которые приятно, а разгадка приносит радость. Автор уподобляет созданный им текст мощному зданию: «Логические построения, содержащиеся в этой книге, опираются небольшими сводами присущей им необходимости на внешние точки опоры: опыт или понятие сущности войны; таким образом, построения эти не лишены устоев»,— так в готическом соборе давление свода переносится на контрфорсы. И, словно каменные блоки, опираются друг на друга четкие афоризмы: «Для победителя бой никогда не заканчивается слишком быстро, для побежденного он никогда не длится слишком долго». Опубликованный впервые в 1936 году издательством Наркомата обороны СССР, перевод ничуть не устарел, а затверженная в качестве учебного пособия книга военного теоретика и практика, скончавшегося более столетия назад, таила предсказания и предупреждения, смысл каковых сделался ясен во время мировых войн, следовавших одна за одной: «Незаметные, едва достойные упоминания ограничения, которые оно само на себя налагает в виде обычаев международного права, сопровождают насилие, не ослабляя сущности его эффекта».

Б. ФИЛЕВСКИЙ

●



Хочешь стать первым - будь с нами!

Индексы для подписчиков Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской и Ленинградской областей:
32428 - ежедневный "Труд" (включая выпуск "Труд-7"),
34265 - только пятничный выпуск "Труд-7". Для остальных регионов:
50130 - ежедневный выпуск и 32068 - выпуск "Труд-7".
Тел. для справок: (095) 299-39-06. Отдел рекламы: (095) 200-03-38,
299-48-40, 200-03-24, 200-01-65, 200-03-63, 299-60-64,
факс: (095) 200-01-24, 200-05-38.

15500 руб. Индекс 73293

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До конца этого года и в 1998 году «Октябрь» предполагает опубликовать новые произведения известных авторов. Среди них:

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.
Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.
Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**
Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года.
Даниил ГРАНИН. **Повесть.**
Вяч. Вс. ИВАНОВ. **Воспоминания. Бродский. Пастернак.**
Владимир КАНТОР. **Соседи.** Повесть.
Юрий КАРЯКИН. **Дневник русского читателя.**
Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.
Анатолий КИМ. **Мое прошлое.** Автобиографическая повесть.
Юнна МОРИЦ. **Рассказы. Стихи.**
Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**
Владислав ОТРОШЕНКО. **Приложение к фотоальбому.** Роман.
Олег ПАВЛОВ. **Повесть. Записки из-под сапога.** Рассказы.
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы и сказки.**
Валерий ПИСИГИН. **Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург.** Документальное повествование.
Михаил ПРИШВИН. **Дневник 1939 года.**
Михаил РОЩИН. **Рассказы.**
Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.
Уильям САРОЯН. **Рассказы.**
Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.
Геннадий ШПАЛИКОВ. **Дневники. Стихи.**
Военный дневник великого князя Андрея Владимировича РОМАНОВА.
А также **новые произведения** Юрия БУЙДЫ, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Юрия ДАВЫДОВА, Григория КАНОВИЧА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Натальи СУХАНОВОЙ, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Бориса ХАЗАНОВА, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Следите за нашей рекламой!

ISSN 0132–0637. Октябрь. 1997. № 10. 1—192.